

ВАН ГОГ

ПИСЬМА К БРАТУ ТЕО



Книга художника

ВАН ГОГ

ПИСЬМА К БРАТУ ТЕО

«Я — горячий человек, который способен и обречен делать более или менее нелепые вещи, в коих потом мне приходится часто раскаиваться. Мне случается говорить и действовать несколько торопливо, в то время как было бы лучше выдержать с большим терпением. Полагаю, что и другим людям случается делать подобные глупости. Однако что же при таких условиях делать — нужно ли считать себя опасным и ни к чему не пригодным человеком? Не думаю. Дело идет о том, чтобы попытаться всеми средствами самому извлечь пользу из своих страстей».

*Книга
художника*

ВАН ГОГ

ПИСЬМА
К БРАТУ
ТЕО

ВАН ГОГ

ПИСЬМА К БРАТУ ТЕО

Книга удивительная

Том I

1878–1883 гг.

Издательство АСТ
Москва

УДК 75:929 Ван Гог В.

ББК 85.143(3)-8 Ван Гог В.

B17

Художественное оформление серии *Андрея Фереца*

Дизайн макета *Анна Якунина*

Обработка иллюстраций *Виталий Ларин*

Ведущий редактор *Маргарита Гумская*

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons. Ван Гог, Винсент.

Текст печатается с орфографией и пунктуацией переводчика по изданию

Винсент Ван-Гог Письма в двух томах / Винсент Ван-Гог ;

пер., ст. и коммент. Н.М. Щекотова. – Москва-Ленинград : Academia, 1935.

Переводы недостающих фрагментов писем выполнен с английского В. О. Федосенко

B17

Письма к брату Тео. Раритетное издание с эскизами и иллюстрациями. / Винсент Ван Гог ; пер., ст. и коммент. Н. М. Щекотова. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 320 с. : ил. — (Мост через бездну. Книга художника).

ISBN 978-5-17-101020-1

Ставшие настоящим эпистолярным наследием, письма Винсента Ван Гога к его брату Тео до глубины души потрясают своей искренностью. За сто с лишним лет переписка двух братьев, которая длилась целых пятнадцать лет, стала не менее популярной, чем знаменитые подсолнухи художника, и была переведена на все европейские языки.

Меж тем мало кто знает, что эти бесконечные, пронзительные письма пестрили многочисленными рисунками предметов, которые видел перед собой Ван Гог. Используя оригинальные эскизы и наброски из писем, мы попытались воспроизвести то, как выглядели письма художника, который рисовал все, на что падал его гениальный взгляд. Перед вами уникальное издание, каждая страница которого пронизана атмосферой, в которой жил и трудился Ван Гог. Из нее становится понятнее, каким на самом деле видел мир человек, создававший столь красочные и яркие картины.

УДК 75:929 Ван Гог В.

ББК 85.143(3)-8 Ван Гог В.

ISBN 978-5-17-101020-1

© ООО «Издательство АСТ», 2018



ПУТЬ ХУДОЖНИКА

Голландский и бельгийский период

(отрывок из статьи Н. Щекотова)

Ван-Гог начал не с искусства. Он пришел к художественному творчеству сложным путем, через ряд потрясений. Один из первых чрезвычайно острых и тяжелых кризисов был испытан ван-Гогом в самом начале его жизни. После пяти лет примерной работы в качестве служащего в большом антикварном деле его дяди, ван-Гог обнаруживает внутреннюю неудовлетворенность своей едва только начавшейся самостоятельной трудовой жизнью. Он пытается ее перестроить.

«Чтобы действовать в этом мире, надо умереть для самого себя; народ, обращающийся в проводника религиозной мысли, не имеет другого отечества, кроме этой мысли. Человек в этой жизни не только для того, чтобы быть счастливым. Он живет, чтобы осуществить великие вещи через общество, чтобы достигнуть благородства души и подняться над мещанством, в котором пресмыкается существование почти всех индивидуумов (Ренан)», – пишет он в одном из своих юношеских писем.

Первоначальное воспитание ван-Гог получил в мелкобуржуазной семье, где еще были крепки устои бюргерской морали. Фамилия ван-Гог была до некоторой степени родовитой; корни ее можно проследить вплоть до эпохи войн Нидерландов за освобождение от испанского владычества. Один из отдаленных предков ван-Гога, Ян Якобсон, жил в XVI веке в Утрехте, где торговал «вином и книгами», и был начальником гражданского ополчения. И в дальнейшем члены этой фамилии занимали различные, иногда довольно высокие общественные должности. Мало того, в течение трех с половиной веков, отделяющих художника Винсента ван-Гога от его предка Яна Якобсона, можно заметить среди членов фамилии ван-Гогов некоторую традицию в выборе профессий. Одни из них были богословами, другие работали в области искусства.

Отец художника, закончив свое богословское образование в том же Утрехте, в котором некогда жил дальний предок Винсента, стал пастором в деревушке Грост-Зундерт, в то время как дядя имел большое дело по торговле художественными произведениями и пользовался весом в кругах, интересующихся искусством.

Винсенту ван-Гогу пришлось с первых же шагов своей трудовой жизни испробовать обе профессии, традиционно свойственные его семье: сперва торговлю художественными произведениями, потом деятельность протестантского проповедника. Обе профессии наложили отпечаток на его жизнь, от которого ему в общем не удалось освободиться до самой смерти.

Первоначальное моральное воздействие, которое испытывал Винсент ван-Гог в патриархальном и, в своем роде, добродетельном доме своего отца-пастора, еще усилилось после пребывания в Лондоне. Письма его в то

время наполнены оценкой слышанных им проповедей, библейскими цитатами, нравоучительными правилами, обнаруживающими его религиозное настроение и зачастую даже имеющими привкус ханжества.

При переходе ван-Гога на службу в Париж в 1875 году в картинный салон Гупиль это настроение еще укрепилось и выросло: шумная, сложная и чуждая ему жизнь Парижа вызвала противодействие со стороны юноши, проведшего свое детство в сельском окружении.

Все свое развитие, как и развитие своего брата, он пытается сковать законами религиозно окрашенной морали. «Ты так же, как и я, восхищался стихотворениями Гейне и Уланда, — пишет он своему брату Тео, — но берегись, мой мальчик, это довольно опасные вещи. Иллюзия недолго длится, не отдавайся ей».

Даже то, что уже тогда Винсент ван-Гог любил до чрезвычайности, — что так или иначе было связано с избранной им профессией, — изобразительное искусство, не избегло тех же самых сомнений, с которыми он приглядывался к литературе.

«Чувство, чистое чувство красоты в природе, — пишет он брату в это время, — не одно и то же, что чувство, соединенное с верой; хотя, мне думается, и то, и другое почти находится между собой в связи... То же самое и с любовью нашей к искусству. Не предавайся ей чрезмерно». Одновременно с этим Винсент начинает впадать в наивный аскетизм, избегает общения с людьми, и стесняет себя в пище. «Разнообразная пища вызывает аппетит. Вообще же мы должны прежде всего заботиться о том, чтобы есть простую пищу. Недаром сказано: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»

Эта душевная настроенность делала его непохожим на обыкновенного старательного приказчика в модном художественном магазине. Исходя из тех же моральных предпосылок, он считал торговлю узаконенным воровством, принимать участие в котором ему было не вмоготу. Раздор, происшедший у него на этой почве с заведующим магазином, привел к его увольнению. Карьера продавца художественных произведений, к немалому огорчению его малообеспеченной и многочисленной семьи, была, таким образом, кончена. Он пытается итти по другой, традиционной для его

семьи дороге, дороге проповедника. Мы снова видим его в Англии, где он получает место проповедника-методиста в школе. Одна из его сестер писала про него в это время: «Он становится тупоумным от благочестия». Другая: «Он думает, что представляет собой нечто большее, чем обыкновенный человек, я же думаю, что было бы много лучше, если бы он считал себя простым смертным». Он в самом деле не смог ужиться и в Англии, и должен был вернуться в Амстердам.

Семейный совет решил, наконец, помочь ему итти по второй профессиональной линии семьи, — по дороге богословия. Ван-Гог готовится к экзаменам для поступления в университет, где ему предстоит пробыть семь лет. Но подготовка эта через полгода обрывается. Впоследствии он называет эту пору «худшим временем своей жизни». Еще бы! Именно в этот момент перед ним раскрылась вся искусственность, вся ложь того мира благоустроенной и схоластически обоснованной добродетели, в которую он собирался погрузиться, пройдя ступень за ступенью всю лестницу богословских истин.

«Сижу с головой в работе, так как мне ясно, что я должен знать то, что знают те, которым я охотно хотел бы следовать, и то, чем они были одушевлены. Сказано не зря: «изучай писание», это — хорошее указание, и я очень хотел бы стать таким знатоком писания, который из своей сокровищницы знания мог бы извлечь и старые, и новые вещи».

«Учить латынь и греческий тяжело, мой мальчик, но я все же чувствую себя счастливым и занимаюсь вещами, к которым я стремился. Я не должен сидеть по вечерам так долго, дядя мне это строжайше запретил, но под гравюрой Рембрандта стоят слова: «В полночь свет распространяет свою силу», и я забочусь о том, чтобы всю ночь оставалась гореть маленькая газовая лампа, и часто лежу, глядя на нее, обдумывая мой план работы на наступающий день, лежу в мыслях о том, как бы мне лучше продвинуть мое учение».

Эти отрывки из ранних писем Винсента ван-Гога к его брату Тео дают ясную картину тех интересов, которыми была заполнена его амстердамская жизнь в 1877–1878 годах.



Одновременно с тем, как росла напряженность его моральных исканий, росло и оформлялось также и его восприятие жизни и природы.

В тех же письмах, из которых мы только что приводили выписки, находятся, например, такие места: «Начинает темнеть, и вид из окна рядом — на верфь, с маленькой аллеей тополей, стройные формы которых и тонкие ветви так рисуются в сером вечернем воздухе, неопишимо прекрасны. А там старое здание складов у воды, тихой, как воды старого пруда, о котором говорится в книге Исайи. Стены склада у воды позеленели и выветрились. Затем внизу садик, и вокруг изгородь с кустами роз, и прежде всего на верфи маленькие черные фигуры рабочих и собачка. Только что я видел дядю Яна с длинными седыми волосами; вероятно, он как раз в это время делал свой «обход». Вдали — мачты судов в доне, у старых кораблей совершенно черные, и серые и красные мониторы. Кое-где зажигаются фонари. Ударил колокол, и целый поток рабочих направляется к воротам; является фонарщик, чтобы зажечь фонарь на площади за домом».

Это невольное отображение бытовой картинки старой Голландии предсказывает точностью своего рисунка будущие произведения ван-Гога. Крайняя внимательность к природе и быту, умение взять главное, напряженность

при восприятии, дар проникновенной и острой наблюдательности при способности видеть и компоновать наблюдение по-своему, – все эти особенности, обнаруженные Винсентом с юношеских лет, являются предвестниками его будущих художественных концепций. При такой наблюдательности, с одной стороны, и при постоянном соприкосновении с произведениями искусства – с другой, вполне естественно, что Винсент ван-Гог уже рано делает попытки набросать рисунок той или другой чем-нибудь заинтересовавшей его местности. В письмах из Лондона 1876 года мы, например, видим несколько очень острых, в особенности для непрофессионального художника, набросков.

«Я в вечном беспокойстве, – пишет его мать, – что Винсент, – куда бы он ни попал, или за что бы он ни взялся, – из-за своих странных и чуждых воззрений и восприятий жизни, везде должен будет сорваться». И Винсент, действительно, всю свою жизнь «срывался» и вечно начинал заново.

Так, сорвавшись на попытке поступить в университет, ван-Гог все же не хочет верить, что при его преданности моральному долгу ему останутся закрытыми пути к служению «униженным и оскорбленным». Он поступает в миссионерскую школу в Брюсселе. Но и здесь он чувствует себя, по собственным словам, «как кошка в чужом амбаре». Странности его манер и небрежность его костюма вызывают насмешки. Главным его недостатком, по мнению лиц, имевших с ним тогда дело, было то, что «он не желал знать подчинения».

После трехмесячного обучения, когда он должен был, согласно уставу школы, получить соответствующую должность, ему в этой должности отказывают. В конце концов, при помощи связей, которые были у его отца в среде духовенства, его направляют в Боринаж. Обязанности его здесь заключаются в чтении библии местному населению и в посещении и утешении больных. Он, наконец, доволен. Цель как будто бы достигнута; желанная деятельность открыта перед ним. «В свое время еще в Англии я хотел получить место миссионера среди горняков и на угольных копях, – пишет он Тео в 1878 году, – но тогда на мои желания не обратили внимания и сказали, что надо для этого иметь по крайней мере двадцать пять лет... На юге Бель-

гии, приблизительно от Монса до французской границы и даже несколько дальше за ней, лежит местность, называемая Боринаж, где живет своеобразное население из рабочих, которые работают в многочисленных каменно-угольных копях. Вот что я нашел, между прочим, в одной географической книжечке: «Углекоп — особый тип в Боринаже. Дня для него не существует, и, за исключением воскресенья, он едва ли пользуется солнечными лучами. Он тяжело работает при бледном, рассеянном свете лампочки, горящей под сводом тесной галлерей; с согнутым телом, зачастую вынужденный ползти, работает он, чтобы вырвать из земных недр тот минерал, полезность которого мы все знаем; работает среди постоянных опасностей.

Но бельгийский горняк обладает счастливым характером, он привык к такой жизни, и когда он спускается в шахту, с маленькой лампочкой на шляпе, ведущей его во мраке, он вверяет себя богу, который видит его труд и защищает его, его жену и детей».

Нельзя не отметить здесь эту типическую по своему ханжеству и в то же время столь характерную для таких популярных книжечек, издаваемых буржуазией, концовку о счастье бельгийского горняка, в которой забота о нем и о его семье перелagается на господа бога.

Винсент вскоре на своем собственном опыте должен был испытать, чего стоит и счастье бельгийского горняка, и помощь, оказываемая ему со стороны небесного покровителя.

Вот несколько отрывков из описаний Винсента, посланных им в письме к Тео из местности Вам, в Боринаже (1878—1879 годы). В одном письме он говорит о своем посещении одной из самых опасных в Боринаже копей, под названием Маркасс: «Она пользуется плохой славой, так как в ней, при спуске и подъеме, вследствие удушливых газов, подпочвенных вод или вследствие обвала старых ходов многие погибают. Это — мрачное место и, на первый взгляд, все в окрестности носит на себе печать какой-то печали и смерти. Рабочие тут, большей частью, изнурены лихорадкой, бледные и выглядят утомленными, выветренными и преждевременно состарившимися; женщины, в общем, вялые и отцветшие. Кроме того, здесь много болезненных и прикованных к постели людей, истощенных, слабых и несчастных.

В одном доме все больны лихорадкой, и у них мало или даже вовсе нет никакой помощи... «Здесь «больной ходит за больным» и «бедняк друг бедняку», — сказала одна из женщин этого дома».

Вот какие существенные дополнения и поправки вынужден был внести сам Винсент в свою географическую книжечку. Его первоначальная выдержанность и даже ровность скоро сменились свойственной ему нервностью, экзальтацией и аскетическими крайностями. Для такой сменны были налицо еще и другие побудительные причины: к эпидемии тифа присоединилось большое несчастье в копиях. Чаша терпения переполнилась, — началось восстание рабочих. К сожалению, не осталось писем ван-Гога, относящихся к этому моменту, или, возможно, их просто скрыли. Во всяком случае отношения ван-Гога с духовным начальством становятся к этому времени невыносимыми для обеих сторон. «Он не подчиняется желаниям своего начальника; он, кажется, остается глухим к тем увещаниям, с которыми к нему обращаются», — пишет его мать. Наконец, и начальство отказывается дальше держать его миссионером. Миссионерство его можно считать конченным.

2

Но умерев как миссионер, ван-Гог родился как художник.

Каждый раз, когда он с особенным напряжением предавался своей миссионерской, официальной, так сказать, деятельности, в нем одновременно усиливалось, пока еще подпольно, и тяготение к искусству.

Искусство становилось постоянным противовесом проповедничеству. Это стремление зачастую выражалось у него в очень резких переходах от тяжелых житейских впечатлений к умиротворяющим вопросам искусства. В том же письме, где он описывает невероятные страдания рабочих в мрачных копиях Маркасс, тотчас же, без всякого перехода, у него начинается фраза: «Видал ли ты за последнее время что-нибудь прекрасное? Много ли работал Израэльс, а также Морис и Мауве?...»

Такой внезапный переход в устах серьезного и глубоко отзывчивого к людским страданиям человека, каким был Винсент, был бы почти чудовищ-

ным по своей резкости и сухости, если бы искусство не служило для него своего рода бальзамом, смягчающим боль ран, нанесенных жизнью.

Искусство действовало целительно на его психику. Сравнительно с действительностью, жизнь в искусстве, в его глазах, была более мягкой, более упорядоченной.

В его письмах впервые проявляется эта роль искусства. Словами и образами он изливает свои переживания. Он создает уже как бы программы картин.

«Я нацарапал рисунок горняков (забойщики и забойщицы), – пишет он брату, – идущих утром в снегу вдоль терновой заросли по тропинке в шахту. Проходящие кажутся тенями, еле различимыми в утреннем сумраке, на заднем плане расплывчато поднимаются большие строения копей... Я шлю тебе набросок, чтобы ты мог себе это представить».

Одновременно ван-Гог изучает по учебникам анатомию и перспективу, а по учебнику рисования и приложенным к нему упражнениям учится рисовать углем. С особенным интересом он относится к собиранию гравюр по дереву, в частности к произведениям Милле, которого он ставит очень высоко.

Художественные симпатии Винсента ван-Гога были направлены прежде всего в сторону барбизонской школы, которая, между прочим, сильно повлияла на ряд голландских художников, живших и уже известных в его время. Барбизонцы вообще объединяли тогда передовые художественные вкусы Франции, Англии, Голландии и Бельгии. За год до того письма, в котором он посылал брату свой набросок углекопов, идущих на работу, Винсент посетил пешком некоторые места, по характеру своему близкие барбизонцам.

«Хотя это путешествие меня почти свалило с ног, и я возвратился истощенный от усталости и в довольно меланхолическом состоянии, я все же не жалею, так как я видел интересные вещи; учишься видеть другими глазами в тяжких испытаниях нищеты.

Кое-где в дороге я зарабатывал себе кусок хлеба в обмен на рисунки, имевшиеся в моей путевой сумке. Но когда у меня вышли последние десять франков, я должен был проводить последние ночи в открытом поле,

раз даже в пустой повозке, утром побеленной инеем. – И все же, как раз в этой отчаянной нищете я чувствовал, как ко мне возвращается моя энергия... Я видел и еще нечто другое во время этой вылазки, именно: деревни ткачей. Горняки и ткачи, – это особенный от других рабочих и ремесленников род человеческий; я чувствую к ним большую симпатию и считал бы себя счастливым, если бы мог в один прекрасный день их нарисовать, чтобы вывести на свет эти еще неизвестные или почти неизвестные типы. Рабочий угольных копей – это человек из глубины пропасти, ткач же имеет мечтательный вид, почти задумчивый, почти сомнамбулистический».

Этот отрывок не нуждается в комментариях: из него ясно, что интересует и волнует Винсента на его новой дороге, дороге художника.

Боринаж, жизнь среди пролетарских масс дала, наконец, более конкретное содержание его художественным устремлениям. Жизнь в Боринаже дала ему художественные образы, во имя которых, он чувствовал, стоило жить и трудиться художнику. Это один из важнейших моментов в его жизни. «Я не могу тебе сказать, – пишет он в том же письме, – каким счастливым я себя чувствую, что опять взялся за рисование, хотя ежедневно появляются все новые затруднения и будут появляться и дальше... Пока для меня дело идет о том, чтобы учиться хорошо рисовать, стать господином своего карандаша, угля, кисти; достигнув этого, я всюду смогу делать хорошие вещи, и Боринаж так же живописен, как Бретань, Нормандия, Пикардия или Брие».

Обращение Винсента к искусству произошло приблизительно в 1880 году, т. е. когда ему было двадцать семь лет. Юношеские годы прошли, началась зрелость. А между тем ему приходилось делать то, что свойственно юношеству – учиться. Учение его к тому же должно было начинаться с самых азов, а до конца жизни ему осталось всего десять лет, он умер в 1890 году. Как трагически мал оказался срок для развертывания деятельности такого сложного человека и серьезного живописца, каким он был.

Положение ван-Гога с того момента, как он серьезно принялся за свою учебу, оказалось чрезвычайно унижительным для него: это было положение взрослого человека, испортившего «неизвестно почему» свою карьеру и вынужденного, как говорится, сидеть на шее своих родных, тех, от кого

он ушел, кого он оскорбил и продолжал оскорблять своими странными по-
вадками, своими воззрениями, столь противоречившими патриархальной
морали пасторских кругов, даже своим наружным видом, роднившим его с
представителями люмпен-пролетариата.

Создавшиеся у него отношения с родными, на средства которых он вы-
нужден был учиться, рисуются в его письме 1881 года, посланном им из
Брюсселя, куда он приехал из Боринажа, считая этот переезд необходимым
для учения. С какой униженностью, с одной стороны, и болью за «ограбляе-
мых» им родителей – с другой, наносил он на почтовую бумагу оправдания
своих грошевых трат и набрасывал обманчивые перспективы своих буду-
щих и, увы, никогда не достигнутых им заработков.

Чтобы облегчить и ускорить процесс учения, Винсент делает даже по-
пытки примириться как-нибудь с теми, кого восстановил против себя во
время своего столь неудачливого миссионерства. Через брата он принимает
меры к тому, чтобы связаться с меценатами, любителями и торговцами ху-
дожественных произведений, надеясь в этом кругу найти хоть какое-нибудь
сочувствие своему делу. Собираясь ехать для всех этих примирительных
процедур в отчий дом, он пишет брату: «Лучше всего, конечно, если бы я
провел это лето в Эттене, – там достаточно материала для работы, ты мо-
жешь написать отцу, что я готов и в одежде, и во всем прочем все устроить
так, как им хочется... и в семье, я вне ее всячески обо мне судят и рьят, и
вечно слышишь при этом самые противоположные мнения. Я этого никому
не ставлю в вину, так как сравнительно мало кто знает, почему художник дей-
ствует так, а не иначе».

Одновременно ван-Гог всячески старается связаться с передовыми ху-
дожниками своего времени, в частности со своим родственником Мауве,
одобряющим его рисунки и советующим ему заниматься живописью; но
Винсент считает это еще преждевременным и продолжает заниматься ри-
сованием по учебнику, отвлекаясь от него только для рисования с натуры.

От времени его пребывания в родительском доме, в 1881 году, дошел ряд
набросков, сделанных в письмах к брату. Как и раньше, внимание его направ-
лено почти исключительно на передачу поз и движений рабочих, вызванных

каким-нибудь трудовым процессом. В данном случае – это сельскохозяйственная работа, поскольку только ее он и мог наблюдать в Эттене. Между прочим, он продолжает копировать те же произведения Милле, над которыми работал еще в Боринаже.

В этот первоначальный момент его серьезного и практического отношения к делу художника обращает на себя внимание то, что, несмотря на пользование учебниками рисования, несмотря на изучение, – конечно, кустарное, – анатомии и перспективы, Винсент уже проявляет свежесть и остроту восприятия натуры. Вместе с тем и по тематике своей, по тому вниманию, которое Винсент уделяет процессам труда и выбору рабочего типажа, рисунки свидетельствуют о довольно отчетливом представлении начинающего художника о том, чему его искусство должно служить в будущем. Наконец, знаменательно и то, что ван-Гог, несмотря на большую любовь к старинной живописи и знание ее, предпочитает все же опираться на современных ему мастеров. В это время в его письмах место старых голландцев, Рембрандта, Делаакруа, Домье занимают имена Мауве, Израэльса, Боутона и других современных ему, тогда еще передовых мастеров Голландии, Бельгии и Англии.

Так началась художественная деятельность ван-Гога.

3

Но уже в самом начале он, по обыкновению, «срывается» и снова переживает тяжелый внутренний кризис. Кризис этот, приведший Винсента к такой изоляции от общества, которая превзошла все бывшее с ним до сих пор, связан с двумя женщинами, которых он любил. Одна из них принадлежала к тому социальному слою, с которым он боролся, а другая – к люмпен-пролетариату.

Если в ранних конфликтах со средою он затронул два важнейших устоя буржуазного существования, – усомнился в законности и моральной правильности права собственности и, во-вторых, раскрыл ханжескую, хищническую подоплеку религии и мелкобуржуазной, бюргерской морали, то теперь ему пришлось больно для себя и для других затронуть и еще один

из основных устоев буржуазного общества – семью, положение женщины в этом обществе.

Конфликт начался в доме отца Винсента в Эттене и завершился катастрофой в Гааге.

Среди посетителей пасторской семьи в 1881 году была некая К., молодая вдова с сынишкой, недавно потерявшая мужа. Она заинтересовала Винсента. «Любовь – это нечто положительное, нечто сильное, – писал он брату, – так что для каждого, кто любит, нет возможности сопротивляться этому чувству. Моя жизнь и любовь – одно. Пусть, кто хочет, будет меланхоликом, для меня этого довольно, я не желаю больше ничего, кроме той радости, которой полон жаворонок весной!..»

Не верится, что его любовь была так же беззаботна и проста, как песнь жаворонка. Не поверила ей и К... Она покинула вскоре Эттен, не без воздействия родных и пасторского дома, обеспокоенных увлечением Винсента. Какое возмущение вызвало поведение ван-Гога в Эттене, можно судить по письмам его к Тео за это время: «Я работаю здесь с мая, я начинаю знать и понимать мои модели, моя работа идет вперед, но все это далось мне не без труда... И вот, когда я в пути, отец мне говорит: «Так как ты пишешь письма К... и между нами возникают неприятности... я тебя выставляю за дверь!..» Что бы она сказала, если бы знала, что произошло сегодня утром, – она так добра и приветлива, что ей доставляет сердечную боль вымолвить хоть одно неприятное слово; но когда эти столь сладкие, столь деликатные, столь любвеобильные люди, когда они поднимаются затронутые за живое, – горе тем, против кого они восстают».

Тяжелая борьба закончилась, как и следовало ожидать, взрывом ярости с той и другой стороны: «Я сунул мой палец в пламя лампы» – вспоминал потом Винсент один из моментов этого взрыва, – и сказал: «Дайте мне поглядеть с ней на то хотя бы время, сколько я выдержу руку в пламени»... Но они задули, кажется, лампу и ответили: «Ты ее не увидишь». И Винсент в самом деле никогда больше не видал К...

Но это было не все. Как за срывом на поприще теологии последовал Бороинаж, так за отвергнутой любовью Винсента к К... наступила позднее

его глубокая и трагическая привязанность к несчастной, изуродованной жизнью женщине из «подонков» общества, привязанность, окончившаяся тяжким моральным и физическим кризисом, повергшим Винсента в отчаяние. Спасаясь от меланхолии, начинавшей овладевать им после бурного столкновения с «господами жизни», ван-Гог поехал в Гаарлем, потом в Гаагу к своему родственнику, художнику Мауве. Очень характерны те строчки, которые Винсент посвящает своей попытке поучиться у этого тогда уже признанного мастера. Именно такого рода попытками, в самом начале которых уже обнаруживается строптивость характера Винсента и его скептицизм по отношению к учителям, почти что и ограничивалась вся учеба его у современных ему мастеров. Ван-Гог всегда был и оставался прежде всего самоучкой в лучшем и трудном смысле этого слова.

Винсент описывает свою встречу с Мауве, или, вернее сказать, свою атаку на этого художника, так:

«И тогда спросил Мауве: «Есть у тебя особое что-нибудь?» — «Да, — вот два этюда». И вот он сказал мне много хорошего про них, слишком много, и несколько критических замечаний, слишком мало. На следующий день мы поставили мертвую натуру, и он начал при этом поучать меня: «Так ты должен держать свою палитру». После того написал я несколько этюдов и две акварели». В кратком описании встречи с Мауве Винсент проявляет едкую иронию к учителю, не понявшему, что перед ним не новичок, а человек, глубоко продумавший вопросы, связанные с работой художника, и глубоко захваченный этой работой.

Свидание с Мауве и работа с ним не только не успокоили взволнованные чувства Винсента и не избавили его от мучительного одиночества, но скорее еще больше подчеркнули последнее. Тогда-то он сделал шаг, который рондит его с некоторыми наиболее трагическими героями Достоевского.

«Все время у меня в мозгу и в теле оставалось ощущение голода, именно в мозгу и в существе моей души, вследствие той воображаемой или действительно существующей церковной стены (он говорит здесь про ту стену, посредством которой от него отгораживалось общество. — Н. Щ.). «Но я не хочу подчиниться этому фатальному настроению», — сказал я себе. И по-

думал про себя: «Я должен быть с женщиной, я не могу жить без любви... Я не дал бы и гроша за жизнь, если бы не было в ней чего-нибудь бесконечного, глубокого, истинного».

На улицах города он встречается с женщиной, отношения к которой как бы предсказывают наступление другой, более крепкой и трагической связи, возникшей несколько позднее в том же городе.

«Я нашел женщину, — пишет Винсент, — далеко не молодую, далеко не красивую, не отличающуюся, если хочешь знать, ничем особенным... Она была довольно большая, сильно сложенная. У нее, может быть, и не было дамских ручек, как у К... но руки, как у тех, кто много работает. Впрочем, она не была грубой и пошлой, но имела в себе нечто очень женственное. В ней было нечто от фигуры Шардэна или Фрере или, может быть, от Ян Стэна. Одним словом, это было то, что французы называют «работницей»... ах, ничего выдающегося, исключительного, ничего необыкновенного... Тео, для меня это, — я не знаю, как выразиться, — нечто отцветшее, нечто, по чему прошла жизнь, имеет бесконечно много прелести...»

Я, в сущности, чувствую любовь к таким женщинам, любовь, которая старше, чем любовь к К... Когда мне иногда приходилось в полном душевном одиночестве, смертельно скучая, полубольным, в нищете, без гроша денег в кармане ходить по улицам; тогда я смотрел им вслед, завидуя тем, которые могли быть с ними, у меня было чувство, эти девушки — мои сестры».

В протесте против буржуазного жизнеустройства, в ненависти по отношению к защитникам и носителям этого жизнеустройства Винсент срысывается к люмпен-пролетариату, — здесь он находит новые связи с людьми, презируемыми попами и благовоспитанными бюргерами, здесь ищет личной жизни и здесь же раскрывается перед ним родина его художественных образов, новая красота, красота обыкновенных, ничем не замечательных, кроме своих постоянных страданий и непрестанных забот о куске хлеба, героев и героинь, которые дают ему силы для выполнения новой миссии, — его деятельности художника.

1935 г.

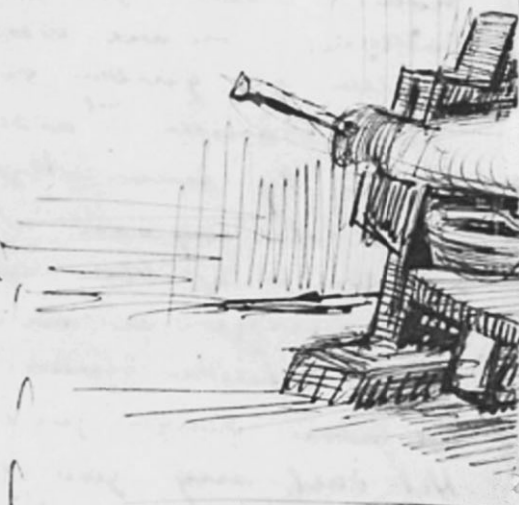
Just ook omdat gy in een volk toch altijd bent,
maer zyn.

Het gaat my hier in Brabant nog al mee
'en minste ik vond de natuur hier erg
opwekkend.

Wen heb ik deze laatste weken 4 aquarellen
gemaakt van Wevers. In nog een paar
anderen van een Wolvenkoppeling een
kennershuis met een noesterke en een
tuinman allen aquarellen. Hierby een
paar Krabbeles en van.

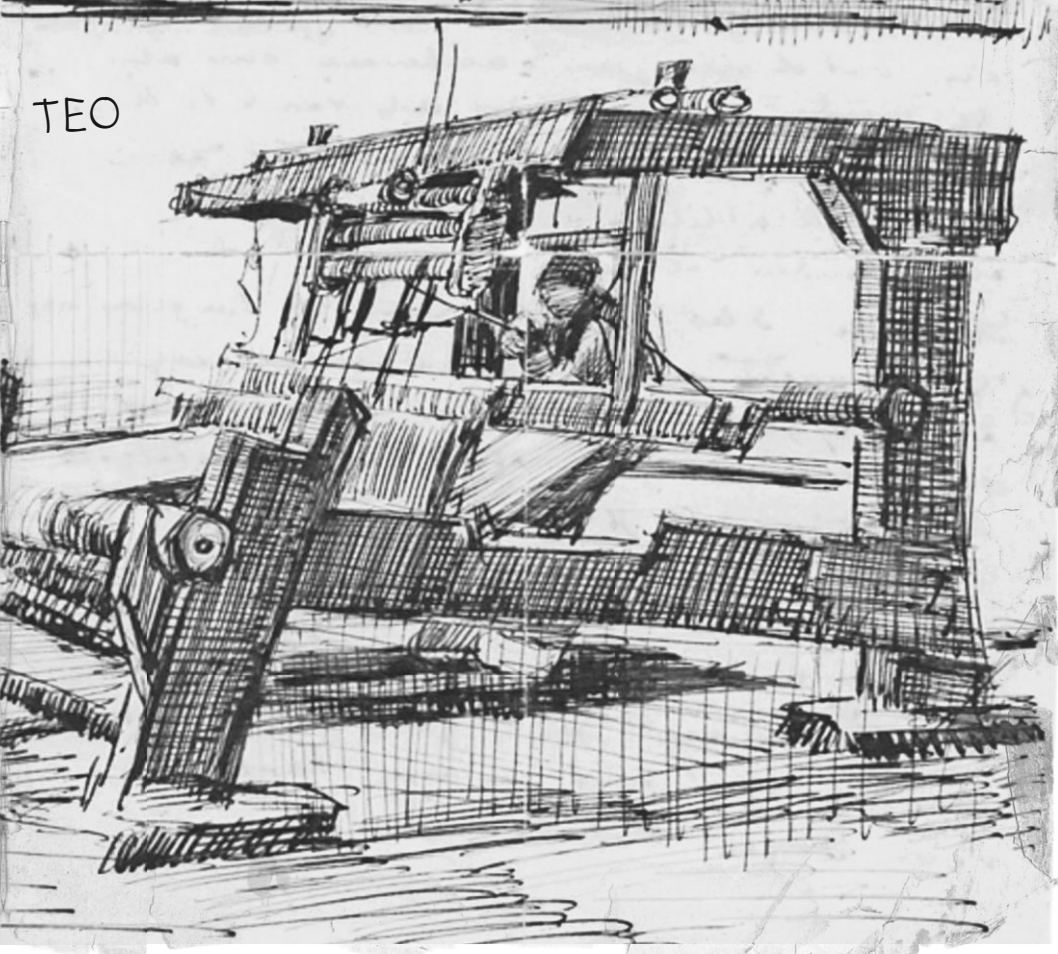


ПИСЬМА К БРАТУ
1873-1883 гг.





TEO





Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в семье пастора протестантской церкви в провинциальном городке Зюндерт на юге Нидерландов. С 1869 года Винсент занимался торговлей картин в «Гупиль и К^о» – фирме по продаже произведений искусства, принадлежавшей его дядюшкам: Винсенту Ван Гогу старшему (в честь которого был назван будущий великий художник) – в письмах он «Дядя Сент», Хендрику Винсенту – в письмах «Дядя Хейн» и Корнелису Маринусу Ван Гогу – в письмах «Дядя Кор». В шестнадцать лет он был переведен в Гаагу. Именно там, в 1872 году начинается его обширная переписка с домашними и младшим братом – Теодором Ван Гогом, которому он впоследствии напишет около 650 писем.

1

Гаага, 24 марта 1873 г.¹

Дорогой Тео! Не посмотришь ли ты, нет ли еще в Брюсселе картины Шотеля? Ее отсюда передали 6 мая 1870 на комиссию, но возможно, что дядя послал ее обратно в Париж. Если, однако, это не так, позаботься, чтобы ее сейчас же отослать сюда; у нас имеются все данные ее продать; дело спешное...

Кланяйся от меня дяде и тете и господам Шмидту и Эдуарду... До свидания. Будь здоров.

Vincent

¹ Письмо было написано на фирменном бланке. В шапке листа стояло «Эстампы и современные картины старинной фирмы Винсент ван-Гог. Поставщик собраний их величеств короля и королевы. Площадь № 14. Гаага. Преемник Гупиль и Ко».

Лондон на гравюре Гюстава Доре в иллюстрированной книге
Уильяма Бланишар Джерролда «Лондон, паломничество», 1872 г.



Винсент Ван Гог приезжает в Лондон в 1873 году, когда за хорошую работу его переводят в лондонский филиал. Именно в Лондоне Ван Гог влюбляется в Евгению Луайе – дочь хозяйки пансиона, в котором живет.

Более года окрыленный Винсент не говорит ни слова о своих чувствах, а когда все же решается объясниться в любви, узнает, что Евгения давно помолвлена с предыдущим постояльцем. После отказа Евгении страстный по своей натуре Винсент пытается найти утешение и с головой уходит в религию. Со временем он начинает хуже работать. Пытаясь спасти ситуацию и отвлечь племянника, дядя Сент переводит его сперва лишь на несколько месяцев – с октября 1874 г. по январь 1875 г. – в Париж. В январе Винсент снова вернется в Лондон, но ненадолго, через несколько месяцев его снова переведут в Париж, но уже окончательно.

2

Лондон, январь 1874 г.

Дорогой Тео! Большое спасибо за твое письмо. От всего сердца поздравляю тебя с новым годом. Знаю, что в фирме у тебя идет все хорошо, так как я слышал об этом от господина Терстига. Из твоего письма я увидал, что у тебя есть склонность к искусству, а это хорошо, мой дорогой. Я рад, что ты высоко ставишь Милле, Жака, Шрейера, Ламбине, Франца Хальса и др., ибо, как говорит Мауве: «Это настоящее». Да, картина Милле «Вечерний звон»¹, это – настоящее, это поэзия, это богатство. С какой бы охотой я снова поговорил с тобою об искусстве; мы должны с тобой об этом переписываться. Хвали, сколько можешь, большинство не находит вообще ничего хорошего.

¹ Официально картина называется – «Анжелюс» (фр. L'Angélus) – по первым словам молитвы Angelus Domini, что означает «Ангел Господень». Возможно, переводчик использовал более поэтичное выражение, чтобы отразить сюжет картины. Запечатленные – крестьянин и крестьянка – стоят со склоненными головами, слушая церковный колокол, призывающий к вечерней молитве. Много позже, в 1880 году Винсент создаст свою версию картины, вдохновленную Милле. (Прим. Ред.)



«Анжелюс» после Милле, рисунок Винсента Ван Гога 1880 года.

Называю имена художников, которых я особенно высоко ценю: Шефер, Деларош, Гебер, Гамон, Лейс, Тиссо, Лаг, Боутон, Миллес, Тис Марис, де-Гру, де-Брекелер-младший, Милле, Жюль Бретон, Фейен-Перрен, Эжен Фейен, Брион Жюно, Георг Сааль, Израэльс, Кнаус, Вотье, Журдан, Рокуссен, Мейссонье, Мадраццо, Зием, Будэн, Жером, Фромантэн, Декан, Боннингтон, Диаз, Т. Руссо, Тройон, Дюпре, Коро, Поль Гюэ, Жак, Добиньи, Бернье, Эмиль Бретон, Шэна, Цезарь де-Кок, М-ль Коллар, Бодмер, Коккок, Шельфгоут, Вейсенбрух, Марис и Мауве.

Я мог бы таким образом продолжать, бог весть как долго, а потом пойдут еще все старые мастера; и притом я убежден, что еще пропустил кого-нибудь из лучших новых художников.

Продолжай много гулять и любить природу, это настоящее средство для того, чтобы все больше и больше понимать искусство. Художники понимают природу, любят ее и учат нас видеть.

А кроме того, есть такие художники, которые вообще делают одно только хорошее, которые не могут делать ничего плохого, точно так же, как есть среди обыкновенных людей такие люди, у которых, что бы они ни делали, все хорошо.

Мне здесь отлично; у меня прекрасное жилье, и мне доставляет большое удовольствие, наблюдать Лондон, английскую манеру жить и самих англичан, а затем – природа, искусство, поэзия, и если этого недостаточно, то чего же еще надо! А все-таки я не забываю ни Голландию, ни, в особенности, Гаагу и Брабант.

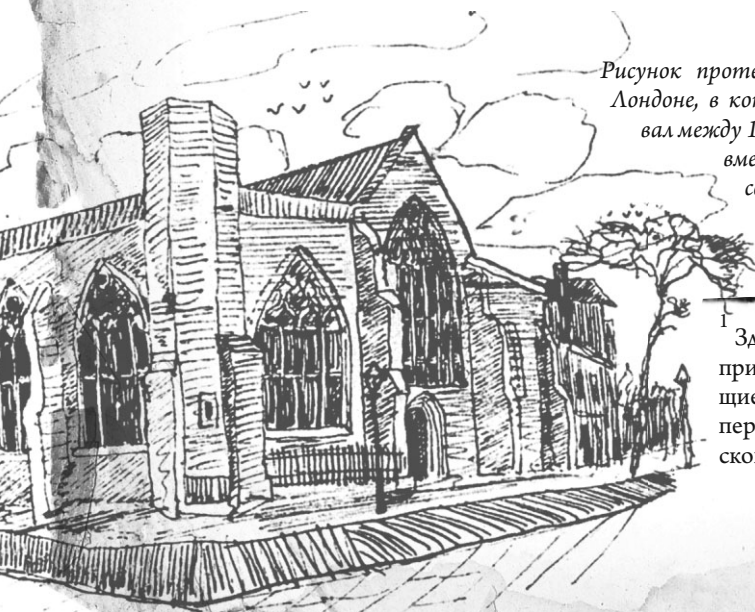
Работы у нас очень много. Мы заняты инвентарем, который, однако, через 5 дней будет кончен. Дела, как видишь, у нас идут быстрее, чем у вас в Гааге.

<Надеюсь, ты, как и я, хорошо отметил рождество. Что ж, мой дорогой, будь здоров и пиши мне. Я писал первое, что придет в голову, надеюсь, ты поймешь. Адье, передавай всем привет от меня в галерее и тем, кто обо мне спрашивал, в частности Тете Фи и Хаанебикам.

Прилагаю к сему пару строк для мистера Руса.>

Vincent

Рисунок протестантской церкви в Лондоне, в которой Винсент побывал между 1873 и 1874 гг. Рисунок вместе с подписью был сделан на открытке и отправлен сестре Анне Ван Гог.



Здесь и далее в скобках приводятся недостающие фрагменты писем, переведенные с английского В.О. Федосенко.

На открытке под рисунком была следующая надпись:
«Эта маленькая церквушка – то, что осталось от старинного монастыря, принадлежавшего братству августинцев (Остин Фраерс), берущего свое начало по меньшей мере в 1354 году, если не на 100 лет раньше. Голландская конгрегация начала свои службы с 1550 благодаря пожертвованию, сделанному королем Эдуардом VI».

3

Лондон, апрель 1875 г.

Дорогой Тео! При сем шлю тебе маленький рисунок. Я его сделал в прошлое воскресенье, утром, когда у моей хозяйки умерла дочурка (тринадцати лет)¹.

Это вид на Streatham common, большое, поросшее травой место с дубами и дроком. Ночью шел дождь, почва кое-где болотиста, а молодая трава свежа и зелена.

То, что ты видишь, нацарапано на титульном листе "Poésies d'Edmond Roche"².

Среди них есть очень красивые, серьезные и печальные стихотворения и, между прочим, одно, которое начинается и кончается так:

*J'ai gravi triste et seul la dune triste et nue,
Où la mer fait gémir sa plainte continue,
La dune, ou vient mourir la vague aux larges plis
Monoton sentier aux tortueux replis³.*

Vincent

¹ Набросок Ван Гога, нарисованный на титульном листе поэзии барона Эдмонда Берка Роше.

² «Стихотворения Эдмонда Роше» (англ.)

³ Печальный и одинокий я шел по печальной и нагой дюне,
Где стонет море в непрерывной своей жалобе, —
По дюне, у которой умирает широко лежащая волна
Однообразной тропой с извилистыми изгибами. (франц.)



«Пруд и лодочник» Жана-Батиста Камиля Коро

Далее в переводе пропущено стихотворение Эдмонда Роше «Пруд», которое переписал Ван Гог. В издании, с которого Винсент взял стихотворение была иллюстрация – Гравюра Жана-Батиста Камиля Кора «Пруд и лодочник». Винсент копирует иллюстрацию в конце письма.

«Пруд и лодочник» Винсента Ван Гога



4

Лондон, 8 мая 1875 г.

Дорогой Тео!

<Спасибо за последнее письмо. Как дела у больной? ¹ Знал от отца о ее болезни, но не думал, что все так серьезно>.

Напиши мне скорей об этом. Да, дружище, ничего тут не попишешь!

К. М.² и господин Терстиг были здесь и в прошлую субботу уехали. По моему мнению, они больно уж много посещали «Кристал Пэлс» и другие места, где им нечего было делать. Могли бы, мне кажется, и ко мне зайти, посмотреть, как я живу...

<Ты спрашиваешь об Анне ³, но теперь уж обсудим это в другой раз.

Я верю и надеюсь, что я не то, что многие видят во мне сегодняшнем, время покажет. Быть может, и о тебе через пару лет скажут также; по крайней мере, если ты останешься тем, кто ты есть для меня сейчас: моим кровным и духовным братом>⁴.

«Чтобы действовать в этом мире, надо умереть для самого себя. Для народа, становящегося миссионером религиозной идеи, нет другого отечества, кроме этой идеи. Человек здесь, в этом мире, не только для того, чтобы быть счастливым; он здесь для того, чтобы творить через посредство общества великие дела, чтобы достичь благородства и превзойти ту пошлость, в которой проходит существование почти всех индивидуумов. Ренан».

Кланяюсь тебе, передай мой поклон больной! Жму тебе руку.

Vincent

¹ Речь идет о дальней родственнице семьи Ван Гога Аннет Корнелии Хаанебик. По одной из версий, брат Ван Гога Тео был влюблен в Аннет Хаанебик. В то время, как сам художник испытывал нежные чувства к ее сестре – Каролине Хаанебик.

² Дядя художника Корнелиус Маринус.

³ Сестра Ван Гога.

⁴ Этот отрывок, возможно, является отсылкой к неразделенным чувствам двух братьев по отношению к сестрам Хаанебик.

5

Париж, 31 марта 1875 г.

Дорогой Тео!

...Вчера я видел выставку Коро. Среди других была там и картина «Масличная гора»¹; я рад, что он ее написал.

Направо – группа оливковых деревьев, темных, на фоне сумеречного синего неба; на заднем плане – холмы и несколько больших деревьев, над ними вечерняя звезда...

<В Салоне представлено три невероятно красивые работы Коро. Самая замечательная из них, написанная им незадолго до смерти, «Женщины, заготавливающие древесину», вероятно, появится в виде гравюры в «L'Illustration» или в «Le Monde Illustré».

Как ты мог уже представить, я также посетил Лувр и Люксембургский музей.>

Рейсдали в Лувре превосходны, в особенности «Куст», «Плотина» и «Солнечный луч».

Я хотел бы, чтобы ты когда-нибудь посмотрел маленького Рембрандта «Апостолов в Эммаусе»² и парных «Философов».

Недавно я видел Жюль Бретона с женой и двумя дочерьми. Его фигура напоминает Ю. Мариса, но у него темные волосы.

Когда выдастся возможность, вышлю тебе его книгу «Поля и море», в которой имеются все его стихи.

<В Салоне есть его прекрасная картина «Праздник Святого Иоанна». Крестьянки танцуют вокруг священного костра, на заднем плане виднеется деревушка с церковью, а над ней луна.>³

¹ Картина, упомянутая Ван Гогом, – «Христос на Масличной горе», 1849.

² Имеется в виду ранняя картина Рембрандта «Ужин в Эммаусе» или «Апостолы в Эммаусе» (1628–29 гг.)

³ Здесь пропущено четверостишие из поэмы Бретона «Святой Иоанн», 1875.

Сейчас у него уже три картины в Люксембургском музее: «Процессия во ржи», «Собирательницы колосьев» и «Одинокая»¹.

Адье.

Vincent



COUPLIL & C^{TE}

Editeurs Imprimeurs

ESTAMPES FRANÇAISES & ÉTRANGÈRES

Cablcainx Modcrrincs

RUE CHAPTAL, 9, PARIS.

Succursales à la Haye, Londres, Berlin, New-York.

В мае 1875 г. Ван Гог окончательно переводят в Парижский филиал, где он последний год в своей жизни работает торговцем картинами.

Имея шанс реабилитироваться в глазах возлагавшего на него надежды дядюшки, Винсент, тем не менее, вместо того,

¹

В письме говорится о картинах «Благословение пшеницы, Артуа», 1857; «Сбор собирательниц пшеницы», 1859; «Вечер», 1860.

чтобы продавать посетителям дорогие картины, критикует их вкус и вместо салонных пошлостей пытается продавать красивые пейзажи. Одной из понравившихся ему в то время картин была картина Джузеппе де Ниттиса, которая позже была продана в салоне. На картине изображен вид на Лондон в дождливую погоду. О ней Ван Гог упоминает в письме от 24 июля 1875 года. В шапке письма, которое написано на фирменном бланке «Гупель и К^о», Винсент копирует сюжет картины де Ниттиса и рисует набережную Виктории. Впоследствии художник часто отображает то, в чем живет, что видит на гравюрах, картинах и набросках. Эта зарисовка – его способ признаться в любви городу: «Когда я вижу эту картину, я думаю о том, как сильно я люблю Лондон».



«Набережная Виктории, Лондон», Джузеппе де Ниттис, 1875 г.

Париж, 17 сентября 1875 г.

Дорогой Тео!

Чувство, даже тонкое чувство красоты природы, не то же самое, что чувство веры, хотя, я думаю, они стоят друг с другом в ближайшей связи. То же и с нашим чувством к искусству. Не предавайся ему чересчур...

Почти у каждого есть чувство природы, у одного больше, у другого меньше, но мало кто чувствует: бог — это дух, и тот, кто поклоняется ему, должен поклоняться в духе и истине.

<Отец один из немногих, кто чувствует; то же и мать, и дядя Винсент, как мне видится. Ты знаешь, что в писании сказано: «И мир проходит, и похоть его»¹, но сказано еще о «благой части, которая не отнимется»², об «источнике воды, текущей в жизнь вечную»³. Давай помолимся за то, чтобы мы богатели в Боге.⁴ Но не думай о таких вещах слишком серьезно. Это придет к тебе со временем, просто делай то, что я всегда советовал тебе. Давай молиться о доле нашей в Царствии Небесном. Мы пока не заслужили этого, ибо часто не чувствуем бревна в глазе своем; давай же молиться, чтобы око наше было чисто, тогда и сами мы будем чисты⁵.

Мое почтение Русам и всем, кто спрашивал обо мне.

Твой любящий брат

Vincent

¹ Евангелие от Иоанна, 2:17

² Евангелие от Луки, 10:42

³ Евангелие от Иоанна, 4:14

⁴ Евангелие от Луки, 12:21

⁵ Отсылки к Евангелию от Матфея, 6:22; от Луки, 11:34

Париж, 11 октября 1875 г.

Дорогой Тео!

Благодарю за твое письмо сегодня утром. На этот раз собираюсь тебе написать так, как я не часто делаю: хочу тебе, наконец, подробно описать, как я живу.

Как ты знаешь, живу я на Монмартре¹. Здесь живет также молодой англичанин, служащий фирмы, восемнадцати лет, сын торговца произведениями искусства в Лондоне. Впоследствии он, впрочем, перейдет в дело своего отца...

...Над ним много насмехались, вначале и я сам. Несмотря на это, я почувствовал к нему симпатию и, уверяю тебя, теперь ужасно рад, что провожу с ним время по вечерам. У него совершенно наивное и неиспорченное сердце, и он здорово работает в фирме. Каждый вечер мы отправляемся вместе домой, едим что-нибудь в моей комнате, а под конец вечера я читаю вслух, в большинстве случаев, библию. Собираемся ее прочесть всю. Утром он обычно приходит меня будить между 5 и 6 часами, затем мы завтракаем в моей комнате, а в 8 часов отправляемся в галерею. За последнее время он стал более умеренным в еде; он начал собирать гравюры, в чем я ему помогаю.

Вчера мы с ним вместе ходили в Люксембург, я показывал ему картины, которые меня больше всего привлекают, и воистину простые люди знают многое из того, чего не знают понимающие.

В галерею я делаю все, что мне ни попадется под руки, такова наша задача во всю нашу жизнь, мой дорогой. Я бы хотел ее выполнить изо всех сил.

¹ В Париже Винсент снимает комнату на Монмартре, по одной из версий холм несет свое имя от латинского "Mons Marturium" — «Гора Мучеников» и отсылает к мученической смерти троих святых, которые были обезглавлены на этом холме в 250 г. н.э. С холма Монмартр открывается красивая панорама Парижа, почему он и является столь притягательным для многих писателей и художников.

Сделал ли ты то, что я тебе советовал, избавился ли ты от книг Ренана, Мишле и пр.? Думаю, этим ты бы обрел мир. Место из Мишле о женском портрете Филиппа де-Шампань ты, конечно, не забудешь, не забывай также и Ренана, но тем не менее убери их. «Когда ты обрел мед, смотри, не ешь от него чрезмерно, дабы он не опротивел тебе» — так или в этом роде стоит в «Притчах Соломоновых».

Знаешь ли ты Эркмана-Шатриана: «Новобранец», «Ватерлоо» и, в особенности, «Друг Фриц» и «Мадам Тереза»? Прочти его как-нибудь, если тебе удастся его достать.

Разнообразная пища располагает к еде. Вообще мы должны стараться прежде всего есть простую пищу. Не даром сказано: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Лук не может быть натянут все время. <Думаю, ты поймешь меня правильно. Я знаю, что у тебя всегда голова на плечах. Не считай, что все вокруг есть добро и учись сам различать благое дело ото зла; и пусть это чутье укажет тебе верный путь с божьей помощью, потому что важнее всего, мой мальчик, что Бог располагает. Жду твоего скорого ответа с подробностями, кланяясь от меня знакомым, в особенности господину Терстигу и его семье, и всего хорошего.

Адье.

Твой преданный и любящий брат

Vincent

8

Париж, 13 декабря 1875 г.

<Дорогой Тео,

Я жаждал твоего письма этим утром и счастлив слышать, что ты поправляешься. Посылка тебе была отправлена только сегодня. В ней — небольшой сборник Жюля Бретона.¹

¹ Винсент обещал отправить Тео книгу «Поля и море» Жюля Бретона, письмо 5.

С нетерпением жду Рождества, чтобы увидеться с тобой, мой мальчик, уже совсем скоро. Вероятно, я отправлюсь в четверг вечером.

Сделай все возможное, чтобы продлить этот праздник.>

Вот и еще кое-о чем, только не обижайся за это на меня: тебе, как и мне, понравились стихотворения Гейне и Уланда, но мой мальчик, смотри, это довольно опасное приобретение – иллюзии недолговечны, не предавайся же им... Впоследствии книги Гейне и Уланда еще попадут в твои руки, и тогда ты прочтешь их с другим чувством и со спокойным сердцем... Возьми хотя бы образ нашего отца и нашей матери, возьми «Прощанье» Бриона и с этими тремя впечатлениями перед глазами перечти Гейне, тогда ты увидишь, что я имею в виду...

Vincent

9

Париж, 10 января 1876 г.

Дорогой Тео!

С того времени, как мы с тобой видались, я еще тебе не писал, а за последнее время случилось нечто, что не было, однако, для меня неожиданностью.

Когда я встретился с господином Буссо¹, я спросил его, считает ли он желательным, чтобы я оставался в фирме и в этом году, и нет ли у него чего-нибудь серьезного против меня.

Как раз это и оказалось. Он меня форменно поймал на слове и сказал, что с 1 апреля я могу уходить, благодаря господ, за то, чему я научился в их фирме.

Когда яблоко созрело, легкий ветерок срывает его с дерева, так и тут: я действительно совершил вещи, которые, в известном отношении, были недопустимы, и поэтому мне мало что остается возразить.

Так вот, мой мальчик, что мне теперь делать? Для меня все темно! Постараемся, однако, сохранять надежду и бодрость.

¹ Один из руководителей фирмы Гупиль и К°.

Будь так добр, дай это прочесть господину Терстеху, но будет лучше, если в данный момент ты об этом больше никому не скажешь и сделаешь такой вид, будто вообще ничего не происходит.

Пиши поскорей.

Твой преданный и любящий брат

Vincent

10

Париж, 19 февраля 1876 г.

...На этих днях я прочел прекрасную книгу Элиот¹, три рассказа: «Сцены из клерикальной жизни».

Особенно тронул меня последний рассказ «Исповедь Джэнет» – это жизнь проповедника, мирно обитавшего среди жителей грязных улиц в своем городе. Его кабинет выходил на сады с капустными кочерыжками и проч., на красные крыши и дымящиеся трубы бедняцких домов. На обед он обычно получал плохо сваренную баранину с водянистым картофелем. В возрасте тридцати четырех лет он умер, и за время его продолжительной болезни за ним ходила женщина, которая до этого была предана пьянству, но, благодаря его словам и, так сказать, опираясь на него, превозмогла самое себя и нашла мир своей душе. При его погребении был прочитан текст, в котором стояло: «Я воскресение и жизнь, верующий в меня будет жить, даже если умрет»...

Vincent

С мая 1876 года, после разрыва с фирмой дядюшек, у Винсента начинается период поисков и мытарств. В апреле он принимает предложение приподобного мистера Стоукса стать учителем в Рамсгейтской частной школе в Англии за

¹ Джордж Элиот (настоящее имя Мэри Энн Эванс) – английская писательница XIX века.

еду и содержание. Однако мистер Стоукс оказывается неблагонадежным, вскоре школа закрывается и Винсент едет в Айлворт, где решает воплотить в жизнь идею, которая крутится в его голове последние месяцы и становится помощником пастора. Решимость его такова, что несмотря на юный возраст (Винсенту было 23 года на тот момент), он ведет церковные службы и даже читает первую в своей жизни проповедь на английском языке.

11

Эттен, 4 апреля 1876 г.

Дорогой Тео!

Утром в день моего отъезда из Парижа я получил письмо от одного учителя из Рамсгейта¹ с предложением побыть там месяц (без жалования), чтобы по прошествии этого времени посмотреть, может ли он меня использовать.

Ты можешь себе представить, как я рад, найдя кое-что. Помещение и еду я получаю, во всяком случае, даром.

<Вчера мы ездили с отцом в Брюссель, и нашли дядю Хейна очень больным.

В поезде мы много рассуждали с отцом о живописи, в том числе о картинах Рембрандта в Лувре и о портрете Бургомистра Сикса,² но в особенности о Мишеле...³

...Я так счастлив, что увижусь с тобой, а также с Лиз⁴, до моего отъезда!>

¹ Прибрежный город на юго-востоке Англии.

² «Портрет Яна Сикса», Рембрандт, 1654.

³ Жорж Мишель – крупный французский художник-пейзажист (1763–1843).

⁴ Сестра Ван Гога Элизабет Губерта.

Рамсгейт – это, как тебе известно, курорт с 12 000 жителей, так прочел я в одной книге, но больше я о нем ничего не знаю.

Ну, а теперь – до субботы. Удачной поездки.

Всегда твой любящий брат

Vincent

12

Рамсгейт, 17 апреля 1876 г.

Дорогие отец и мать!

Нет сомнения, что телеграмму вы уже получили¹, но вам, вероятно, хотелось бы узнать больше подробностей...

Из Лондона спустя два часа мы отправились в поезде в Рамсгейт. Это приблизительно 4 1/2 часа езды. Красивая дорога. Между прочим, мы проезжали по холмистой местности. Внизу холмы поросли скудной травой, а наверху – дубовой зарослью что очень напоминает наши дюны... Мы проезжали также мимо Кэнтербюри, город, который еще много сохранил из своих средневековых построек. В особенности, там есть великолепная церковь, окруженная вязами.

Я не раз видал на картинах нечто вроде такого города.

Вы, конечно, себе можете представить, что я все время сидел у окна и ждал Рамсгейт. Около часа дня я прибыл к мистеру Стоуксу (Mr. Stokes). Его не было дома, но сегодня вечером он уже возвратился. Здесь двадцать четыре мальчика от десяти до четырнадцати лет. Школа, таким образом, не велика, окна выходят на море...

¹ По приезду в Рамсгейт Винсент направил короткую телеграмму родителям: «Благополучно добрался. Пансион, 24 мальчика. Думаю, что все удачно. Мое почтение». Отец Ван Гог сразу же выслал письмо Тео, в котором выразил беспокойство о том, как сложатся дела Винсента и как он управится с двадцатью четырьмя воспитанниками пансиона, подчеркивая, тем не менее, что такая практика и работа с жизнерадостными мальчишками пойдут сыну на пользу.

Вечером мы ходили с мальчиками в церковь... В восемь мальчики ложатся спать, в шесть встают. Есть еще один учитель семнадцати лет. Он, я и шесть мальчиков спим в другом доме, тут же рядом, где у меня есть маленькая комната. Между прочим, в ней бы хватило места и для нескольких гравюр по стенам.

Но довольно на сегодня. Какие чудные дни мы прожили! Благодарю, благодарю за все!

Поклон всем, с мыслью о вас жму руку.

Ваш любящий сын

Vincent

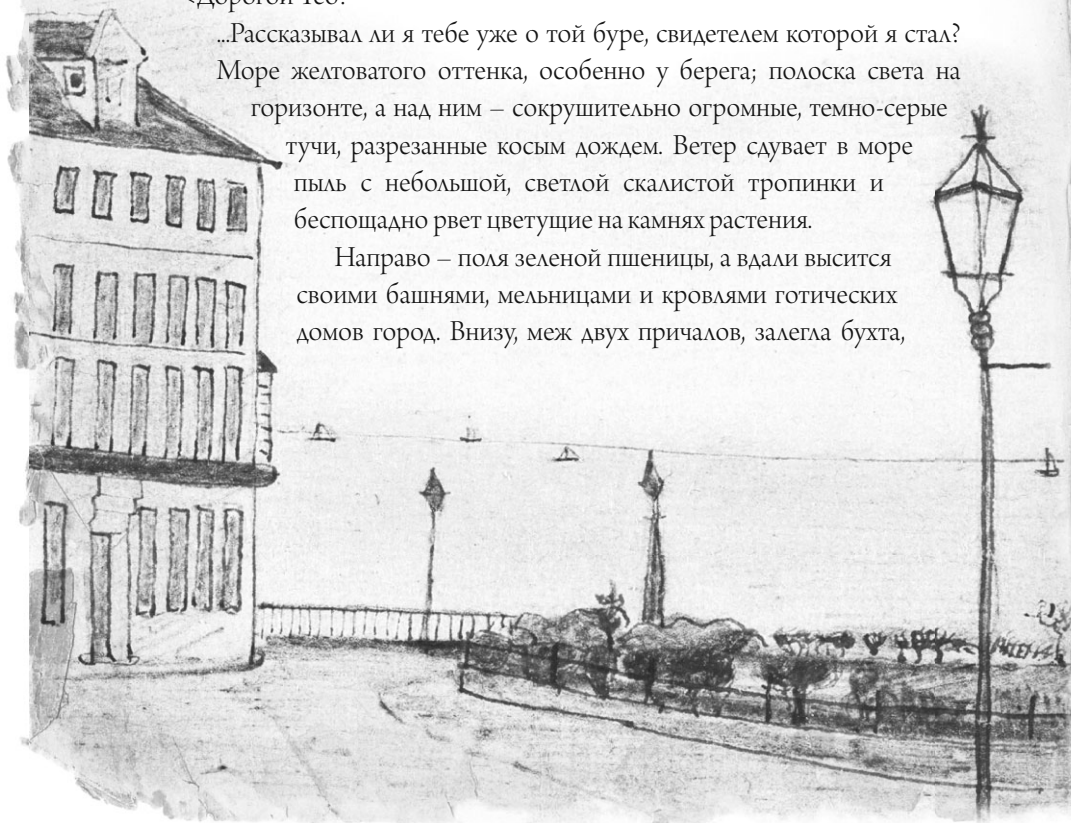
13

Рамсгейт, 31 мая 1876 г.

<Дорогой Тео!

...Рассказывал ли я тебе уже о той буре, свидетелем которой я стал? Море желтоватого оттенка, особенно у берега; полоска света на горизонте, а над ним – сокрушительно огромные, темно-серые тучи, разрезанные косым дождем. Ветер сдувает в море пыль с небольшой, светлой скалистой тропинки и беспощадно рвет цветущие на камнях растения.

Направо – поля зеленой пшеницы, а вдали высятся своими башнями, мельницами и кровлями готических домов город. Внизу, меж двух причалов, залегла бухта,



выходящая в море – выглядит как города с гравюр Альбрехта Дюрера.¹ Прошлой воскресной ночью я тоже видел море. Кругом было темно-серо, но день уже загорался на горизонте. Хотя и было совсем еще рано, жаворонок уже начал свою песню. Соловьи в прибрежных садах вторили ему. Вдалеке – свет маяка, сторожевое судно и пр.

В эту же ночь я взглянул через окно своей комнаты на крыши домов и верхушки вязов, темных на фоне ночного неба. Над этими крышами была единственная звезда, но такая светлая и добрая. И я подумал обо всех нас, и я подумал о годах своей жизни, что уже прошли, и о нашем доме, и вот такие слова и чувства посетили меня: «Убереги меня от пути бесчестия², дай мне Свое благословение не потому, что я заслужил его, а во здравие Матери моей. Ибо Любовь все переносит³. Без благословения Твоего, мы есть ничто». >

При сем маленький рисунок с видом из окна школы, через которое мальчики могут видеть своих родителей и провожают их взглядом, когда те приходят их посетить и затем отправляются обратно на станцию. Многие мальчики никогда не забудут этого вида. Ты бы посмотрел на него на этой неделе во время дождливых дней, особенно в сумерки, когда зажигаются фонари и свет от них отражается на мокрых улицах.

В эти дни г-н Стокс иногда бывает не в настроении, и когда мальчики, по его мнению, уж чересчур шумят, то, случается, не получают вечером ни хлеба, ни чаю. Поглядел бы ты на них, когда они выглядывают из окна; в этом есть что-то меланхолическое. У них почти ничего нет, кроме еды и питья, на что бы они могли надеяться и что помогало бы им жить изо дня в день. Ах, если б ты видал, как они идут к столу по темной лестнице через маленький проход. Затем, однако, солнце снова светит весело.

Другое оригинальное место, это – комната с прогнившим полом, куда приходят по шесть мальчиков умываться и где на умывальник падает слабый

¹ Альбрехт Дюрер – немецкий живописец и график (1471–1528).

² Отсылка к библейским притчам 10:5, 17:2, 19:26.

³ Новый Завет, первое послание к Коринфянам, глава 13:7.

свет из разбитых оконных стекол. Это тоже более или менее меланхолический вид. <Как бы мне хотелось провести зиму с ними, чтобы понять, каково это.

Мальчишки оставили масляное пятно на твоём рисунке, но ты прости им...¹

Твой любящий

Vincent

14

Айлворт, 4 июля 1876 г.

...У меня сейчас такое настроение, когда кажется, что не существует никакого другого призвания на свете, кроме дела учителя или проповедника со всем тем, что с этим связано, как например, — звание миссионера, Лондонское миссионерство и проч.

Лондонское миссионерство — это, мне кажется, особенное дело: нужно ходить среди рабочих и бедняков, распространять слово божье и, когда приобретешь некоторый опыт, — беседовать с ними; разыскивать иностранцев, ищущих работы, и других лиц, находящихся в каком-либо затруднении, и стараться им помочь и т.д. и т.п. На прошлой неделе я был раза два в Лондоне, стараясь разузнать, нет ли возможности заняться этим. Поскольку я говорю на разных языках, и особенно в Париже и Лондоне довольно много вращался среди людей бедного класса и иностранцев, да и сам я иностранец, — то я бы годился на это.

Но для этого надо быть, по крайней мере, двадцати четырех лет, а мне, во всяком случае, до этого остается еще целый год.

Г-н Сток определенно говорит, что не может мне платить жалованья, потому что за стол и помещение может на мое место получить достаточно других лиц. В самом деле, так это и есть. <Но долго ли это будет продолжаться? Боюсь, что нет. Все решится достаточно скоро.

¹ Внизу рисунка было масляное пятно.

Но, дорогой мой, как бы дело ни разрешилось, я снова могу сказать тебе, что все радости и горести, через которые я прошел за несколько месяцев здесь, так сильно привязали меня к такой деятельности, как учительствование или священнослужение, что я уже не сверну с этого пути...

...На прошлой неделе я посетил Хэмптон-Корт¹, чтобы полюбоваться роскошными садами и длинными каштановыми и липовыми аллеями, где вороны и грачи строят свои гнезда, и изучить дворец и картины. Среди прочих, там много портретов Гольбейна, которые очень хороши, а также два замечательных Рембрандта (портрет его жены и портрет раввина) и прекрасные итальянские портреты Беллини, Тициана, картина Леонардо да Винчи, этюды Мантеньи, полотно Рейсдала, «Фрукты» Кейпа² и так далее.

Я очень желал, чтобы ты побывал там тоже. Было настоящим наслаждением снова увидеть картины...>

Vincent

15

Айлворт, 3 октября 1876 г.

...В субботу, неделю назад, я предпринял длинное путешествие в Лондон, где по слухам есть место, которое могло бы пригодиться для моего будущего. Проповедники в приморских городах, например, в Ливерпуле и Халле, зачастую нуждаются в помощниках, которые могли бы говорить на разных языках и в состоянии были бы, тем самым, работать среди моряков и иностранцев, а также посещать больных. К тому же, такое место могло бы оплачиваться.

¹ Построенный в начале XVI века дворец на берегу Темзы; до 1760 г. – королевская резиденция.

² «Фрукты» и еще несколько картин в то время приписывались авторству Якоба Герритса Кейпа. В наше время упомянутый натюрморт подписан как «Неизвестный: XVII век. В стиле Виллема Кальфа».

<Я выехал рано утром, в четыре. В ту ночь в здешнем парке было прекрасно: темные аллеи вязов, среди которых пролегает мокрая тропа, а над всем этим – серое, дождливое небо, и гроза где-то вдалеке. Когда светало, я уже был в Гайд-парке, где листья начали опадать с деревьев, а дикий виноград горел восхитительно-красным на фоне домов. Стоял туман. В семь часов я прибыл на Кеннингтон-роуд и немного передохнул в церкви, которую так много посещал по воскресеньям¹.>

В Лондоне я навестил пару человек и зашел в галерею господ Гупиля и Ко, и там видал рисунки, привезенные Ван Итерсоном. Большое было наслаждение снова увидеть таким образом голландские города и дуга. <Та картина Артца², мельница на берегу канала, действительно очень красива, как по мне...

...Вернулся ли уже Ван Итерсон? Я был счастлив увидеться с ним снова, он привезет тебе «Широкий, широкий мир»³. Почитай это как-нибудь на днях. Особенно хороши первые главы и так воистину просты. Почитай также и Лонгфелло, например:

*I see the lights of the village
Gleam through the rain and the mist.
And a feeling of sadness comes o'er me,
That my soul cannot resist⁴...*

...Итак, мой дорогой, жму мысленно руку тебе и дяде Яну...⁵

Vincent

¹ Воспоминания, о которых пишет Ван Гог, относятся к периоду, когда он был постояльцем дома 395 на Кеннингтон-роуд, с августа по октябрь 1874 и с декабря 1874 г. по май 1875 г.

² Неизвестно, о какой картине Давида Адольфа Констана Артца идет речь.

³ Роман Элизабет Уэзерелл (Сьюзан Уорнер), 1895 г.

⁴ Отрывок из стихотворения Генри Уодсворта Лонгфелло «Затерянный»:

*Там я вижу – огни вдоль деревни
Сквозь туман и сквозь дождик горят,
И томительным чувством печали,
Против воли, я властно объят. (Пер. с англ. К.Д. Бальмонта.)*

⁵ Ян Ван Гог – дядя Винсента, директор Амстердамской морской верфи.

Рождественские каникулы 1876 года Винсент проводит в родительском доме в Гааге, где на семейном совете принимают решение о его возвращении в Нидерланды. Благодаря стараниям дядюшки, Винсенту находят место бухгалтера в книжной лавке в Дордрехте. Однако вместо того, чтобы работать, чудак Винсент рисует деревья, читает и даже придумывает себе очень интересное занятие: разделив лист на четыре колонки, он пишет перевод Библии сразу на четыре языка: французский, английский, немецкий и голландский. В итоге будущий художник твердо решает больше никогда не заниматься торговлей и объявляет о своем намерении стать пастором. В мае 1877 года семья посылает Винсента в Амстердам к дяде Яну Ван Гогу, где под надзором другого родственника – дяди Стриккера, который был тогда священником протестантской церкви, он усердно занимается перед поступлением на теологический факультет.

Рисунок Ван Гога в письме от 25 ноября 1876 года. Винсент возвращался из школы в Тернем-Грин и шел по грязной улице к деревне Питершам, стоящей на Темзе, когда его настиг ранний закат и он едва не заблудился. Винсент почти ничего не видел, когда наткнулся на огонек в церкви, благодаря которому он нашел верную дорогу.



Маленькие церквушки в районе Питершам в Лондоне и в деревце Тернем-Грин в пригороде Лондона.

Дордрехт, 23 марта 1877 г.

Дорогой Тео,

«Хотел убедиться, что мое письмо тебя достигнет в пути. Какой прекрасный день мы провели вместе в Амстердаме, я так и остался стоять и смотреть на уходящий вместе с тобой поезд до тех пор, пока он окончательно не исчез из виду. Мы ведь старые добрые друзья, не так ли? Сколько раз мы с тобой гуляли, вглядываясь в темные поля с молодой пшеницей в Зюндерте, где к этому времени года мы вместе с Па обычно слышали жаворонков.

Утром мы с дядей Кором пошли повидать дядюшку Стриккера. У них был длинный разговор сам знаешь о чем. Вечером, где-то в полседьмого, дядя Кор отвел меня к станции, вечер был красивый и, казалось, что все вокруг о чем-то говорит, погода была спокойной, на улицах была легкая туманность, такая обычно бывает в Лондоне. На следующее утро у дяди разболелись зубы, но, к счастью, это длилось недолго и мы пошли в цветочный магазин. Зайдя туда мы сразу увидели сосновые ветки, плющ и живую изгородь из боярышника, как хорошо любить цветы. Написал родителям о том, как мы провели время в Амстердаме, о чем говорили. Прийдя домой, обнаружил письмо от Райкена. Отец был не в состоянии провести проповедь в прошлое воскресенье, поэтому его заменил Жан Кам – я знаю, «горело в нем сердце его»¹, знаю, что произойди что-нибудь, я мог бы посвятить служению Ему всего себя без остатка, Па всегда этого хотел. Пусть так и будет, пусть Господь благословит меня на это. Те слова, что написаны на той бумаге, которую ты передал мне «небо и земля прейдут, но слова Мои не

¹ Отсылка к Евангелию от Луки 24:32: «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»

прейдут»¹ и портрет Отто Герхарда Хелдринга² уже висят на стене в моей комнате, хорошо, что ты дал их мне, они дарят мне надежду.

Я пишу тебе о своих планах не задумываясь, и пока пишу, идея становится все более четкой и ясной. Сейчас я думаю о словах «Удали от меня пути лжи и закон Твой даруй мне»³, я страстно жажду познакомиться с богатством священного писания, преданно изучать все эти старинные предания до основания, и особенно изучить все, что известно о Христе. Ведь наша семья – поистине христианская, в самом прямом значении этого слова: из поколения в поколение в ней можно было наблюдать слуг священного писания. Так почему этот голос не должен быть услышан в этом и последующих поколениях? Почему член этой самой семьи не должен сейчас слышать зов, не должен задуматься как следует о том, чтобы посвятить себя этой цели?>

...Моя молитва и внутреннее желание сейчас направлены на то, чтобы дух моего отца и дяди почил на мне и чтобы и мне было дано стать христианином и работником во Христе, и да будет моя жизнь чем дальше, тем больше подобна ему; мне очень бы хотелось, чтобы большая и напряженная работа, нужная для того, чтобы стать служителем Христа, была уже позади меня... <Их Бог станет моим Богом, их народ станет моим народом⁴, и такова моя участь: познать Иисуса Христа и цену Воскресения Его, и да объемлет Его любовь меня⁵. А что есть любовь, хорошо выражено в словах «нас огорчают, а мы всегда радуемся»⁶ и в XIII главе Первого послания к Коринфянам⁷: она все покрывает, всему ве-

¹ Евангелие от Матфея 24:36.

² Отто Герхард Хелдринг (1804–1876 гг.) – нидерландский проповедник, создатель нескольких благотворительных организаций.

³ Отсылка к Псалму 119:29.

⁴ Отсылка к Книге Руфи, Глава 1:16-17.

⁵ Отсылка ко Второму посланию к Коринфянам 5:14.

⁶ Второе послание к Коринфянам 6:10.

⁷ «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий».

рит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. Теперь мое сердце – это слова тех паломников, идущих в Эммаус, которые удержали Его, говоря: останься с нами¹, когда приближался вечер и смеркалось.

Тебе понравится это «нас огорчают, а мы радуемся», запомни это, потому как все, что тебе нужно в шторме жизни – это правильные слова и хороший плащ, держи это в уме особенно сейчас, когда ты столько всего пережил. И будь аккуратен, потому как даже если то, что ты пережил, кажется тебе несерьезным, если я прав, то есть нечто большее, и ты вспомнишь слова Господа²: «любовью вечною Я возлюбил тебя»³, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас»⁴ и «дам Вам другое утешение, Дух истины»⁵ и «я заключу новый завет»⁶ «отделитесь и не прикасайтесь к нечистому»⁷ и «буду вам Богом, а вы будете Моим народом»⁸ и «буду вам Отцом и будете Моими сынами и дочерьми»⁹.

Желаю тебе удачи в пути и мысленно жму тебе руку, адье, и верь мне..

Твой любящий брат,

Vincent

17

Дордрехт, апрель 1877 г.

...Между прочим, на этих днях я при помощи маленького катехизиса дяди Стриккера еще раз проработал всю историю Христа и сделал выписки.

¹ Отсылка к Евангелию от Луки 24:29.

² Отсылка к Евангелию от Луки 24:8-11: «И вспомнили слова Его; и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим.

³ Книга пророка Иереми 31:3.

⁴ Книга пророка Исаии 66:13.

⁵ Евангелие от Иоанна 14:16-17.

⁶ Книга пророка Иереми 31:31.

⁷ Второе послание к Коринфянам 6:17.

⁸ Книга пророка Иереми 31:33.

⁹ Второе послание к Коринфянам 6:18.

Сколько картин Рембрандта и других художников при этом вспомнилось мне! – Я верю и надеюсь, мне не придется раскаиваться в том выборе, который я сделал, именно – стать христианином и работником во Христе. Да, все вещи прошлых времен могут споспешествовать добру. Благодаря знакомству с такими городами, как Лондон, Париж, жизнью в торговых домах, так же, как в школах Рамсгейта и Айлворта, меня сильнее влекут к себе и приковывают разные вещи и книги из библии, хотя бы, например, Деяния апостолов. Также и знакомство с людьми вроде Жюля Бретона, Милле, Жака, Рембрандта, Босбоома и многими другими, равно и любовь к их произведениям к жизни может стать источником мыслей.

Сколько сходства между делом и жизнью отца и таких людей; но дело отца я ценю еще выше! Помогай нам Бог, мой мальчик. Прими мысленно мое рукопожатие и еще раз сердечное поздравление от любящего тебя брата.

Vincent

Увлекаясь глубоким изучением Библии, Винсент иногда делает наброски библейских сюжетов. Так, в письме от 28 мая 1877 г. он рисует Пещеру Махпела (ныне «Пещера Патриархов – Прим. Ред.) о чем пишет брату: «На прошлой неделе я дошел до 23 главы «Книги Бытия», до места, где Авраам хоронит Сарру в пещере Махпела, и я не удержался от искушения сделать небольшой набросок, где я представил, как могло выглядеть это место, в нем нет ничего особенного, но я все равно его прилагаю».

«После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской.

Так досталось Аврааму от сынов хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственности для погребения. (Книга Бытия 23:19-20.)»



18

Амстердам, 30 октября 1877 г.

...Изучать латынь и греческий тяжело, мой мальчик, очень тяжело, но я все же чувствую себя очень счастливым и занимаюсь вещами, к которым стремился. Вечером я не могу сидеть поздно. Дядя мне это строго запретил, но слово, стоящее под гравюрой Рембрандта, остается у меня в памяти: *In medio noctis vim suam lux exerit* («Среди полуночи свет являет силу свою»), – и я смотрю, чтобы всю ночь горело маленькое газовое пламя, и лежу часто, *in medio noctis*, на него глядя и обдумывая план моей работы на следующий день, и соображаю, как бы мне лучше выполнить мое ученье. Зимой, по утрам, надеюсь, буду рано зажигать огонь; в зимнем утре есть что-то своеобразное, как это написал Фрер в своем рабочем в «Бондаре», – гравюра, кажется, висит в твоей комнате...

Vincent

19

Амстердам, 4 декабря 1877 г.

...<Что ж, вот уже подходит к концу еще один год, и многое произошло со мной, на что я оглядываюсь с благодарностью.> Если б я, мой мальчик, в будущее рождество уже был бы в университете и уже одолел бы первоначальные трудности так же, как теперь одолел первые трудности латинского и греческого, – как бы я был рад!

...Уже начинает смеркаться, и вид из окна рядом на верфь, с маленькой аллеей тополей, стройные формы которых и тонкие ветки так изящно рисуются в вечернем воздухе, неописуемо прекрасен. А там старое здание складов у воды, тихой, как вода старого пруда, о котором говорится в книге Исайи. Стены склада у воды позеленели и выветрились. Затем, внизу –

садик, а вокруг него изгородь с розовыми кустами, и, на верфи, – маленькие черные фигурки рабочих и собачка. Только что видел фигуру дяди Яна, с его длинными седыми волосами; вероятно, он как раз делал свой «обход». Вдали мачты кораблей в доке, у старых судов совсем черные, а затем – серые и красные мониторы. Кое-где начинают зажигать фонари.

Вот зазвонил колокол, и целый поток рабочих направляется к воротам, одновременно является и фонарщик, чтобы зажечь фонарь на площади за домом...

<Вероятно, ты будешь нынче очень занят, но если выдастся минутка, пиши мне. И самое главное, как только ты решишься ехать в Эттен – обязательно дай знать. Сделается ли возможным отправиться снова вдвоем в Дордрехт перед рождеством? Нужно наслаждаться каждым путешествием, отведенным нам. Да будут благословенны все твои начинания и получи, по возможности, хорошее лакомство от Св. Николаса.¹ Самые теплые слова домочадцам и всему семейству Терстех, Хаанебикам и ван Стокумам, если тебе случится их повидать...

Адье, Тео. Если не выйдет написать до того, как свидимся, будучи в здравии, тогда до свидания. Мысленно сердечно жму руку.

Твой преданный и любящий брат>

Vincent

¹ Перевод письма с англ.: «...and, if possible, receive good St Nicholas letters». Скорее всего, речь идет о традиционных рождественских буквах, которые дети получают в дар от Синтерклааса (Св. Николас) в Нидерландах. До начала XX века такие буквы выпекались из теста. Их изображения можно обнаружить на натюрмортах тех лет. Сегодня лакомство производится из шоколада (Прим. переводчика).

Желание быть полезным простым людям направило Винсента в Протестантскую миссионерскую школу пастора Бокмы в Лакене под Брюсселем, где он проходит трехмесячный курс проповеди. Однако, после прохождения курса его не берут на службу. Несмотря на это, он мог заниматься миссионерством и его направили читать проповеди в городок угольных копей под названием Боринаж. В письме, написанном в ноябре 1878 года, Винсент так описывает то, что ему удалось узнать о шахтерах: «В свое время еще в Англии я хотел получить место миссионера среди горняков и на угольных копиях, но тогда на мои желания не обратили внимания и сказали, что надо для этого иметь по крайней мере двадцать пять лет... На юге Бельгии, приблизительно от Монса до французской границы и даже несколько дальше за ней, лежит местность, называемая Боринаж, где живет своеобразное население из рабочих, которые работают в многочисленных каменноугольных копиях. Вот что я нашел, между прочим, в одной географической книжечке: «Углекоп – особый тип в Боринаже. Дня для него не существует, и, за исключением воскресенья, он едва ли пользуется солнечными лучами. Он тяжело работает при бледном, рассеянном свете лампочки, горячей под сводом тесной галереи; с согнутым телом, зачастую вынужденный ползти, работает он, чтобы вырвать из земных недр тот минерал, полезность которого мы все знаем; работает среди постоянных опасностей.

Но бельгийский горняк обладает счастливым характером, он привык к такой жизни, и когда он спускается в шахту, с маленькой лампочкой на шляпе, ведущей его во мраке, он ввергает себя Богу, который видит его труд и защищает его, его жену и детей». Прибыв в качестве миссионера в Боринаж, Винсент, однако, ужасается увиденному: в шахтах работают женщины, дети, по узким туннелям ходят несчастные клячи. Вместо того, чтобы читать Библию и подавать пример рудокопам, он решает разделить с ними все тяготы нищей жизни. Со временем он перестает мыться и начинает отдавать шахтерам свою одежду и пищу.



У кафе «На шахте», Лакен 1878

Рисунок «У кафе «На шахте» из письма, написанного в ноябре 1878 года. Рядом с кафе нарисован сарай, в котором, судя по вывеске, продавались кокс и уголь. В самом письме к брату

Винсент так прокомментирует сделанный им набросок: «Мне очень хотелось бы делать беглые наброски с бесчисленных предметов, которые я встречаю на моем пути, но это отвлекло бы меня от основного занятия, так что лучше уж и не начинать. Вернувшись домой, я сразу засел за проповедь о бесплодной смоковнице¹».

20

Вам, апрель 1879 г.

...Недавно я стал участником очень интересной экскурсии. Я пробыл шесть часов в руднике и притом в одной из старейших и опаснейших из местных шахт, называемой «Маркасс». Она пользуется очень дурной славой, так как в ней погибло множество народа, кто при спуске и подъеме, кто от душливого газа при взрывах, от подпочвенных вод или при обвале обветшалых галлерей. Это – мрачное место, и на первый взгляд все вокруг кажется печальным и мертвым.

Рабочие здесь в большинстве случаев бледные, измученные лихорадкой люди и выглядят утомленными, чахлыми, обветренными и преждевременно состарившимися; женщины, как правило, – поблекшими и увядшими. Кругом рудника убогие жилища горняков, с несколькими засохшими, черными от копоти деревьями, колючие изгороди, кучи навоза и шлака, горы непригодного каменного угля и проч. и т. п. Марис из этого создал бы замечательную картину. Потом как-нибудь я попытаюсь сделать набросок, чтобы дать тебе обо всем этом представление.

¹ Евангелия от Луки 13:6-9:

«Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: “вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?” Но он сказал ему в ответ: “господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее”».

У меня был хороший проводник, человек проработавший здесь тридцать три года, приветливый и терпеливый, объяснявший все очень хорошо и старавшийся все сделать понятным. Таким образом, спустились мы вместе с ним на этот раз на глубину семисот метров и добрались до сокровеннейших уголков этого подземного мира... Шахта состоит из пяти этажей, три верхних использованы и брошены, в них уже не работают, так как там нет угля. Если бы кто-нибудь попытался написать картину таких штолен, это было бы нечто совершенно новое, нечто неслыханное, или, лучше сказать, нечто совершенно невиданное. <Представь ряд камер в достаточно узком и низком проходе, укрепленном толстыми деревянными балками. В каждой такой камере трудится углекоп в грубом брезентовой форме, грязный и покрытый сажей, как трубочист, в тусклом свете маленькой лампы откалывая кусочки угля. В некоторых камерах рабочие стоят в полный рост, в других – полностью лежат на земле.

Все пространство похоже на соты в ульях, или на темные, мрачные лазы в подземной тюрьме, или на ряд небольших ткацких станков, а вообще-то, больше всего это похоже на большие крестьянские печи или отдельные могилы в склепе. Сами штреки похожи на крупные дымовые трубы в домах брабантских крестьян. В некоторых из них отовсюду просачивается вода, и свет от рабочей лампы создает особенный эффект и отражается как в сталактитовой пещере. Одни углекопы работают в забоях, другие грузят добытый уголь в маленькие вагонетки, которые катятся по рельсам, напоминая конки. В основном, на такой работе заняты дети: и мальчики, и девочки. На глубине семиста метров есть и конюшня с примерно семью старыми лошадьми, таскающими больше угля на, так называемый, рудничный склад, откуда его поднимают на поверхность. Другие рабочие заняты тем, что восстанавливают старые проходы, не позволяя им обрушиться, или прокладывают новые. Так же как моряки на суше тоскуют по морю, углекопы, несмотря на всю опасность и лишения, предпочитают находиться под землей, а не на ней.>

Селения здесь имеют вид чего-то заброшенного, безмолвного и вымершего, так как жизнь проходит под землей, вместо того, чтобы разыгрывать-

ся на ней. Здесь можно пробыть года, но не побывав внизу, в шахтах, нельзя себе еще составить настоящего представления о сущности вещей.

Люди здесь чрезвычайно неразвиты и невежественны, большинство не умеет читать, но вместе с тем в своей тяжелой работе очень понятливы и находчивы, смелы и вольны. Ростом они малы, но кряжисты в плечах. Глаза у них мрачные, глубоко впавшие. Они искусны во многих вещах, работают удивительно много и обладают очень нервной, что не значит слабой, но тонко воспринимающей организацией. У них прирожденная, въевшаяся в них ненависть и внутреннее недоверие ко всякому, кто захотел бы перед ними разыгрывать барина. Среди углекопов нужно иметь обычаи и характер углекопа и никаких претензий, никакой гордыни, никаких попыток к муштре, иначе с ними не сговоришься и никогда не завоеешь их доверия.

Я, кажется, как-то сообщал тебе об одном горняке, получившем при взрыве газа ужасные ожоги? Ну, теперь, слава богу, он поправился, выходит, руки у него еще слабы, и пройдет еще много времени, прежде чем он окажется способным ими пользоваться для работы; как бы то ни было, он спасен. С тех пор, однако, был еще ряд случаев тифа и злокачественной лихорадки, называемой здесь *la hotte fièvre* («газовая лихорадка»), при которой люди видят жуткие сны, бредят и переживают ужасные кошмары. Таким образом, опять появилось множество болезненных людей, слабых, убогих, лежащих и чахнувших на своих постелях.

В одном доме все больны лихорадкой, и у них очень мало, или, лучше сказать, вовсе нет никакой помощи, так что больные ходят за больными. «Здесь больные ухаживают за больными, — сказала одна женщина, — или, иначе, бедняк бедняку друг».

Видал ли ты за последнее время что-нибудь хорошее? Очень хотелось бы получить от тебя письмо. Много ли работал за последнее время Израэльс, а Марис и Мауэ?

Несколько дней тому назад у нас здесь в хлеву родился жеребенок, маленькое милое животное, которое скоро уже стояло крепко на своих ногах. Рабочие здесь держат много коз, и повсюду в домах видишь козлят и кроликов, которых, между прочим, здесь держат вообще в жилищах горняков.

Ну, мне нужно отправляться к больным, приходится кончать; сообщи мне поскорей о себе, хоть какой-то признак жизни, если у тебя есть на то время...

Vincent

21

Вам, июнь 1879 г.

<Дорогой Тео,

Уже достаточно поздно, почти полночь, но я все равно хочу успеть написать тебе сегодня пару строк. Прежде всего, потому что я так давно не писал тебе, но, дорогой мой, о чем я могу рассказать? Меня захлестнула здешняя работа настолько, что дни могут проходить один за другим, и часто не хватает времени даже подумать о тех вещах, или заняться теми вещами, что занимали раньше. Но что в особенности заставило меня написать, — это новости из дома, а именно предложение отправить тебя в Париж на 6 недель. Если ты поедешь туда, то будешь проезжать Бориная. Рассмотрю ли ты возможность провести здесь день или больше? Мне бы так хотелось, чтобы ты узнал эту страну! В ней так много уникальных вещей, которые сможет отметить только очень внимательный человек... >

Несколько дней тому назад у нас была часов в 11 вечера гроза. Совсем близко отсюда есть место, откуда можно видеть под собой большую часть Бориная. Трубы, горы каменного угля, малые жилища горняков и, целый день напролет, движение черных фигурок, как на муравьиной куче. Совсем вдали — темные еловые леса, перед ними белые домики рабочих, и вдали на горизонте кое-где церковные колокольни и старая мельница. Обычно надо всем этим стоит нечто вроде тумана. Тени проходящих облаков производят своеобразные эффекты света и тени, напоминающие картины Рембрандта, Мишеля или Рейсдаля. Во время грозы, среди абсолютно черной ночи, когда при свете молнии время от времени на мгновение все становилось видным, получалось замечательное

впечатление. Совсем близко, одиноко в открытом поле стоит большое мрачное строение – рудник Маркасс; в эту ночь, среди проливного дождя, в блеске молнии, он напоминал колосс Ноева ковчега. Под впечатлением этой грозы я сделал сегодня во время урока библии описание кораблекрушения.

Я много читаю сейчас «Хижину дяди Тома». Сколько еще рабства на свете, и в этой удивительно хорошей книге эта важная проблема обсуждается с такой мудростью, любовью, интересом и пылом по отношению к настоящему благосостоянию несчастных угнетенных, что невольно опять возвращаешься к ней и каждый раз находишь еще что-нибудь.

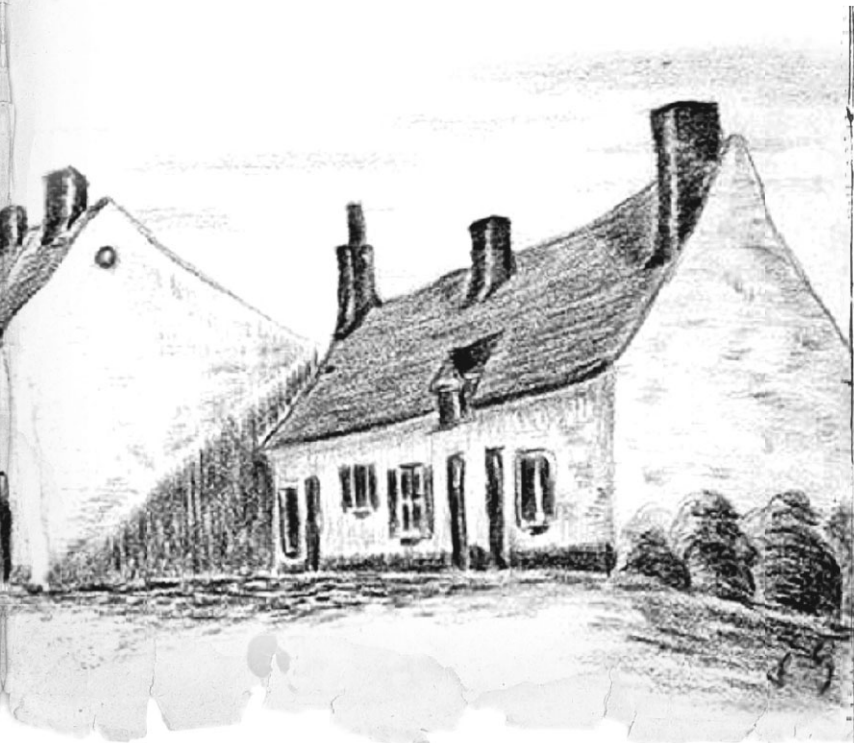
Я не знаю лучшего определения для понятия искусства, чем это: «Искусство – это человек в соединении с природой, которую он освобождает». Природа, действительность, истина – однако, с тем значением, восприятием, характером, которое в ней выделяет, подчеркивает художник и которым он дает выражение. Картина Мауве, Мариса или Израэльса говорит больше, чем сама природа. Так и с книгами. В «Хижине дяди Тома», в особенности, художник выдвигает вещи в новом освещении, и таким-то образом в этой книге, начинающей стареться, вещи остаются новыми. Она так тонко почувствована, так продумана, так мастерски написана, с такой большой любовью, серьезностью и так искренно. Она так смиренно, просто и в то же время так по-настоящему возвышенна и хороша...

Vincent

Дом Магро в Кеме.
1879/1890 г.



Через полгода после того, как Ван Гог начал читать проповеди в Бориначе, его работу приехал проверить проповедник из Брюсселя и, найдя Винсента в ужасающем состоянии – жертвенный Винсент выглядел оборванным и грязным настолько, что сам походил на шахтера, – предложил уволить Винсента, не оценив его христианских порывов разделить с рудокопами все их тяготы жизни. Для будущего художника это стало настоящим ударом. Данное препятствие было не первым на пути Ван Гога к тому, чтобы стать проповедником. Формальные требования противоречили его видению того, каким должен быть настоящий миссионер еще при попытке поступить в Амстердамский университет. Его учитель греческого языка, богослов Маурицио Мендес Да Коста, готовивший Ван Гога к поступлению на теологический факультет, так вспоминал о взглядах художника на суть богословия: «Мендес, – говорил он, – неужели ты, в самом деле, убежден, что мне необходимы эти немыслимые правила (греческого языка. – Прим. Ред.). Ведь все, что я хочу – это при-



Дом в Кеме, в котором Ван Гог решил стать художником. После того, как Винсента уволили, он вернулся в Кем, где поселился по соседству с рудокопом-евангелистом у шахтера Чарльза Декрюка и начал без устали рисовать.

мирить бедных, обделенных созданий с их земным существованием!» Конечно, как учитель, я не мог с ним согласиться, однако в глубине души признавал его правоту. Винсент же не отступал и уверял, что «Путешествие Пилигрима в Небесную страну» Джона Баньяна, Томас Кемпис и перевод Библии – это все, что ему нужно. После увольнения Винсент приходит в отчаяние и совершает нелепую пешую прогулку в Брюссель к мистеру Абраму Питерсену – преподобному-евангелисту из Мехелена и Лёвене, которому показывает несколько набросков рудокопов, сделанных в Боринаже. Несмотря на то, что рисунки были будто бы сделаны детской рукой, преподобный что-то разглядел в них и предложил Винсенту не оставлять занятий рисованием. На тот момент Ван Гогу было уже 27 лет.

22

Кем, 5 августа 1879 г.



«Дорогой Тео,

Пишу тебе в спешке. Ты должен отправляться в Париж совсем скоро, не так ли? Если так, то напиши, в какой день и в какое время и, скорее всего, я увижусь с тобой на станции. Я искренне желаю, чтобы ты смог остаться тут на день или больше, или меньше.

У меня будет возможность показать тебе несколько рисунков, некоторые отсюда, не то, чтобы одни они были достойны твоего времени, но в них, в этих видах, в местной самобытности, ты легко найдешь что-то привлекательное для себя, настолько этот регион живописен во всех своих проявлениях! Ты когда-нибудь читал «Тяжелые времена»

Рудокоп с лопатой на плече, предположительно рисунок, сделанный в Боринаже в 1879 году.



Рудокопы с мешками на спинах, предположительно рисунок, сделанный в Боринаже в 1879 году.

Диккенса? Это выше всяческих похвал. Один из персонажей – рабочий Стивен Блекпул.¹ Он очень детально изображен и вызывает сильнейшую симпатию.>

...Я недавно был в одной мастерской, у священника Питерсена, который пишет в манере Шельфхута и Хоппенбрауерса и понимает кое-что в искусстве.

Он попросил один из моих набросков и рисунки с типами горняков. Я иногда сижу до глубокой ночи и рисую, желая сохранить некоторые воспоминания и оживить в памяти то, к чему меня невольно приковывает созерцание вещей.

¹ Евангелие от Луки 13:6-9:

Но, мой дорогой, мне некогда, я должен еще написать Терстеху и поблагодарить его за ящик с красками и за наполовину уже использованный альбом, которые он мне прислал.

В Брюсселе я купил у одного еврея-книготорговца большой альбом для набросков со старой голландской бумагой...

Vincent

23

Кем, июнь 1880 г.

...Я – горячий человек, который способен и обречен делать более или менее нелепые вещи, в коих потом мне приходится часто раскаиваться. Мне случается говорить и действовать несколько торопливо, в то время как было бы лучше выдержать с большим терпением. Полагаю, что и другим людям случается делать подобные глупости.

Однако, что же при таких условиях делать – нужно ли считать себя опасным и ни к чему непригодным человеком? Не думаю. Дело идет о том, чтобы попытаться всеми средствами самому извлечь пользу из своих страстей. Чтобы назвать одну из них, укажу, хотя бы, на мою почти неистребимую страсть к книгам. Я чувствую такую же потребность постоянно учиться, изучать, как, может быть, есть хлеб.

Ты поймешь это! Когда я был в другой обстановке, в окружении картин и художественных произведений, меня, как тебе известно, захватила к ним сильная страсть, доходившая до энтузиазма. Я и сейчас, находясь вне этого окружения, не раскаиваюсь в этой страсти и часто тоскую по стране картин.

Ты, наверно, помнишь, что я очень хорошо знал – может быть, знаю и сейчас – чем был Рембрандт или чем были Милле, Жюль Дюпре, Делакруа, Миллес или, наконец, Маттейс Марис. Пусть сейчас у меня нет этого окружения, однако, остается нечто, называемое душой, причем утверждают, что это нечто никогда не умирает, живет вечно и непрестанно ищет и стремится все дальше и дальше.

Итак, вместо того, чтобы поддаваться тоске по родине, я решил, что родина для меня везде; вместо того, чтобы впасть в отчаяние, я избрал себе деятельную меланхолию, поскольку я в состоянии действовать; иными словами, я предпочел меланхолию надеющуюся, стремящуюся, ищущую – безмолвно пребывающей в отчаянии. Я изучал более или менее серьезно те книги, которые оказывались в моем распоряжении, так например, библию, Французскую революцию Мишле и, прошлой зимой, Шекспира, немного Виктора Гюго, Диккенса и Бичер-Стоу, а недавно – Эсхила и некоторых классиков, так же как и нескольких великих «малых мастеров».

Ты знаешь, что к таким «малым мастерам» причисляют, например, Фабрициуса и Бида.¹

Однако тот, кто поглощен всем этим, иногда кажется другим людям отталкивающим, неприличным и, независимо от своей воли, погрешает в той или другой степени против известных форм, обычаев, светской пристойности. И все же жаль, когда на это обижаются. Ты, например, ведь знаешь, что я часто неряшлив в одежде, – я это признаю и признаю, что это неприлично. Но печаль и бедность имеют свой смысл, к тому же они зачастую служат средством для создания себе уединения, необходимого для того, чтобы углубиться в изучение того, что тебя захватывает...

...Все это поглощает, все это занимает человека, все это побуждает его мечтать, думать и размышлять. Вот уж, кажется, пять лет, – точно не могу сказать, – как я без места и блуждаю; и ты скажешь: с такого-то и такого-то времени ты опустился, ты потух, ты ничего не сделал.

Разве это действительно так?

Правда, я или сам зарабатывал себе на хлеб, или его мне давал из милости кто-либо из друзей, – я жил так хорошо или так скверно, как мог; правда, я потерял доверие многих людей; правда, что мои денежные дела находятся в печальном состоянии; правда, что не менее мрачна и моя будущность и что я мог бы лучше начать мою жизнь; правда, что как раз для того, чтобы заработать себе на хлеб, я потерял много времени; правда, наконец, и то, что

¹ Евангелие от Луки 13:6-9:

мое обучение находится в довольно печальном и отчаянном положении и у меня в этом отношении значительно более несделанного, нежели приобретенного. — Но разве все это значит опуститься, значит ничего не делать?

Ты, может быть, скажешь: а почему ты не продолжал идти по тому пути, на который толкали тебя? Почему ты не продолжал идти к университету? Отвечу на это только то, что это слишком дорого, а затем, на том пути, на котором я нахожусь, подобная будущность была бы ничем не лучше моего настоящего.

Но по тому пути; где я теперь нахожусь, я должен идти дальше. Если я этого не сделаю, не буду учиться, не буду больше искать, я пропал, горе мне.

Так я смотрю на вещи — дальше, дальше, вот что нужно!

Но какова же конечная цель, спросишь ты?

Цель эта будет все определеннее, медленно и верно получит более четкие очертания, как рисунок обращается в эскиз, а эскиз — в картину, и все это в той мере, в какой будешь серьезно работать, исследовать неопределенную вначале идею, мимолетную мысль, изучать до тех пор, пока она не окрепнет.

Ты должен знать, что с евангелистами дело обстоит так же, как и с художниками. Есть старая, академическая, зачастую отвратительная, тираническая школа, ужас, безнадежность, одним словом — люди, облеченные в панцири, в стальные доспехи предрассудков и банальностей. Когда эти люди находятся во главе дела, они располагают местами и целой системой интриг, причем стараются посадить на эти места своих ставленников и отвести обычных людей. Их бог, подобно богу пьяницы Фальстафа, «внутренняя церковь». На самом деле, некоторые евангелические господа, по замечательному совпадению, стоят (может быть, они и сами были бы раздавлены этим, будь они способны к человеческим чувствам) в отношении к духовным вещам на той же позиции, что и указанный тип пьяницы, но в данном случае нечего и опасаться, чтобы их слепота когда-нибудь могла превратиться в ясновидение.

Такое положение имеет свою плохую сторону для того, кто со всем этим не согласен, кто протестует против этого от всего сердца, со всем тем возмущением, на которое он только способен. Что до меня, я уважаю только академиков, непохожих на описанных, но таких академиков, достойных уважения, много меньше, чем это может показаться на первый взгляд.

Одна из причин, почему я годами остаюсь без места, это попросту то, что у меня другие идеи, чем у этих господ, предоставляющих места только тем, кто мыслит так же, как они. Это не простой вопрос о моем туалете, в чем они меня упрекали с издевательством, но, уверяю тебя, значительно более серьезное дело.

...Итак, если ты в состоянии извинить человека, изучающего картины, то должен будешь согласиться и с тем, что любовь к книгам так же священна, как любовь к Рембрандту, даже, думаю, одна восполняет другую.

Я чрезвычайно люблю мужской портрет Фабрициуса, который мы с тобой когда-то во время прогулки долго рассматривали в Гаарлемском музее. Хорошо, но вместе с тем я так же сильно люблю и диккенсовского Ричарда Картона из «Парижа и Лондона в 1793». Я мог бы тебе указать и другие необычайно захватывающие образы, обладающие в той или другой мере столь же поразительным сходством друг с другом. Мне кажется, что Кент в Шекспировском «Короле Лире» такая же благородная и выдающаяся личность, как и любая фигура Томаса де Кейзера, хотя и Кент, и король Лир жили задолго до этого.

Боже мой, как прекрасен Шекспир, чтобы не сказать больше! Кто так же таинственен, как он! Его слово и его образ выражения стоят любой кисти, дрожащей от возбуждения. Нужно, однако, уметь читать, как нужно уметь слушать и смотреть. Одним словом, ты не должен думать, что я отвергаю то-то и то-то, — я в своем неверии являюсь своего рода верующим, я хоть изменился, но остался все тем же, и моя печаль есть не что иное, как следующее: к чему бы я мог быть пригодным, если б я не мог помогать и быть полезным? Как мог бы я иначе увеличить свои знания и осознать тот или другой предмет?..



*Горняки, идущие утром
по снегу в шахту.*

Кем, 20 августа 1880 г.

Дорогой Тео!

Если не ошибаюсь, у тебя до сих пор есть «Полевые работы» Милле. Не будешь ли так добр одолжить мне их на короткое время и прислать их по почте?

Ты должен знать, что я собираюсь сделать большой рисунок по Милле и что я уже сделал «Сеятеля» и «Часы дня».

Если бы ты их видел, может быть, ты не остался бы ими недоволен.

Когда будешь посылать «Полевые работы», может быть, приложишь к ним и другие листы Милле, Бретона, Фейен-Перрена и др. Не покупай ничего из этого намеренно, но одолжи мне то, что у тебя есть.

Пришли, что можешь, и не опасайся за меня. Если только мне удастся продолжать работать, я еще выйду в люди. *«Но ты мне очень поможешь, если сделаешь то, что я прошу. Если окажешься в Голландии рано или поздно, надеюсь, что ты зайдешь посмотреть наброски.»*

...Я нацарапал рисунок: горняки, идущие утром по снегу в шахту по тропинке вдоль колючей изгороди; скользящие тени, едва видные в сумерках; на заднем плане на фоне неба расплывчато поднимаются конструкции каменноугольных копей и подъемника.

Посылаю тебе набросок с этого рисунка, чтобы ты имел о нем представление, сам же я чувствую потребность изучить рисунок фигур по таким мастерам, как Милле, Бретон и Брион или Боутон и др. Что ты скажешь о наброске, нравится ли тебе его идея?



*Сеятель, рисунок
после Милле, 1881*

Среди фотографий Бингема по работам Ж. Бретона есть, если не ошибаюсь, одна, изображающая собирательниц колосьев, — темные силуэты на фоне неба с красным заходящим солнцем. Такие вещи, видишь ли, мне необходимо иметь перед глазами. Я тебе пишу об этом, полагая, что ты с удовольствием узнаешь, что я занимаюсь чем-то порядочным, вместо того чтобы не делать ничего, и может быть, это дело послужит поводом к восстановлению между нами сердечного согласия и симпатии, и мы окажемся друг другу полезными.

Мне очень хотелось бы исполнить указанный рисунок лучше, чем я это сделал. На моем рисунке фигуры будут вышиной приблизительно в 10 см. Парный к нему рисунок изображает возвращение рабочих, он, однако, удался мне хуже первого; он, между прочим, и значительно труднее, так как тут дело идет об эффектах сумеречных, растворяющихся в свете, о силуэтах на фоне неба с полосатым солнечным закатом...

Vincent

25

Кем, 7 сентября 1880 г.

Дорогой Тео!

Посланные тобой недавно листы гравюр и проч. я получил в порядке и очень благодарю тебя за них; ты оказал мне большую услугу, выслав их.

Сообщаю тебе, что уже набросал десять листов «Полевых работ» Милле приблизительно в величину листа «Курса рисунка» Барга и один из них совершенно закончил, <а именно — «Дровосека»>. Я сделал бы еще больше, если б не взялся сперва за «Упражнения углем» Барга, которые мне так любезно одолжил господин Терстех. В данное время я уж закончил из них шестьдесят листов.

Кроме того, я нарисовал, по присланной тобой гравюре, «Вечернюю молитву».

«Мне очень хотелось тебе показать эти рисунки, чтобы услышать твое мнение, так же, как и о некоторых других, как о большом рисунке сепией по «Хлебная печь на пустыре» Т. Руссо¹».

Я уже сделал по этой вещи две маленькие акварели, пока не преуспел. Как я тебе уже говорил, мне бы очень хотелось сделать еще и «Куст» Рейсдала. Ты знаешь ведь, что оба этих пейзажа выполнены в одном стиле и в одном настроении.

Я довольно долго марал рисунок, не слишком-то двигаясь вперед, но с недавних пор дело пошло, как мне кажется, лучше, и я определенно надеюсь, что дальше пойдет еще лучше, в особенности с тех пор, как ты и господин Терстех пришли мне на помощь хорошими образцами; полагаю, что в данное время лучше будет копировать какие-нибудь хорошие вещи, чем работать без такой опоры.

А все-таки я не мог отказаться от того, чтобы не сделать в довольно большом размере тот рисунок горняков, идущих на работу, который я тебе прислал в наброске, причем изменив расположение фигур.

Я в большой надежде, что после того, как скопирую две другие серии Барга, буду в состоянии нарисовать более или менее прилично какого-нибудь горняка, в особенности, если мне удастся добыть себе характерную модель, а такие здесь есть.

Я считаю прекрасной литографию Босбоома «Убранство скотного двора»². Ты хорошо понял мою мысль, присоединив к коллекции «Малярию» Гебера.

Если у тебя еще осталась книга гравюр с Мишеля, одолжи мне ее при случае. В данный момент это не к спеху, у меня достаточно работы, но мне очень важно еще раз повидать эти пейзажи, так как теперь я смотрю на вещи другими глазами, чем это было в те времена, когда я еще не рисовал.

...Не могу тебе сказать, какую радость мне доставил господин Терстех, предоставив мне на некоторое время «Упражнения углем» и «Курс рисунка» Барга. Я работал над первыми в течение почти четырнадцати дней с утра до вечера и со дня на день, казалось, чувствовал, насколько это меня укрепляет. С не меньшим, скорее даже с большим рвением, тружусь я сейчас

¹ Эти рисунки Ван Гога по Руссо были потеряны.

² Доподлинно неизвестно, какую именно литографию отправил брату Тео.

и над «Полевыми работами», в данный момент дошла очередь до «Стрижки овец».

Прими мою искреннюю благодарность за то, что ты мне прислал, и знай, что все, что найдется из вещей этого мастера, может быть мне необычайно полезно.

Что касается «Сеятеля», то я его нарисовал уже четыре раза: два раза в маленьком, два раза в большом размере, и все же я займусь им еще раз, так привлекает меня эта фигура.

<Когда решишь написать мне (что подарит мне большое наслаждение), дай мне, пожалуйста, знать что-нибудь о гравюрах А. Леро. Если меня не подводит память, я как-то видел с десяток его достойных гравюр в Англии.

Заканчиваю на сегодня, снова благодаря тебя и пожимая твою руку.>

Vincent

26

Кем, 24 сентября 1880 г.

<Дорогой Тео!

Твое письмо пошло мне на пользу. Благодарю тебя за то, что пишешь мне в такой манере.

Сверток с новой коллекцией гравюр и разнообразными листами только пришел ко мне. Прежде всего – безупречная гравюра «Куст» Добиньи, Рейсдала. Больше нечего добавить! Я планирую сделать два рисунка, в сепии или как-то еще, один из них – по этой гравюре, а второй – по Руссо. Последняя сепия уже готова, это правда. Но если ты сравнишь ее с гравюрой Добиньи, ты поймешь, что она проигрывает, несмотря на то, что сам по себе рисунок в сепии имеет очень четкую тональность и настроение. Мне следует вернуться к нему и еще проработать.

...Как видишь, я работаю словно сумасшедший, но на данный момент это не приносит воодушевляющих результатов. И все же, у меня есть надежда,

что за этими шипами покажутся в свое время белоснежные цветы, и что эта бесплодная борьба есть ничто иное, как муки рождения чего-то большего. Сначала боль, в конце концов — отрада.

...Прошедшей зимой я изучил некоторые работы Гюго. А именно — «Последний день приговоренного к смерти» и прекрасную книгу о Шекспире¹. Я приобрел работу этого писателя уже давно. Она так же хороша, как Рембрандт. Шекспир для Чарльза Диккенса или В. Гюго то же, что Рейсдал для Добиньи и Рембрандт для Милле.>

То, что ты говоришь в своем письме о Барбизоне, — правильно, и я расскажу тебе кое-что, что докажет тебе, что моя точка зрения такая же. Барбизон сам я не видал, но если я его и не видал, то видел зато прошлой зимой Курьер. Я предпринял пешком путешествие в Па-де-Кале, не к каналу, а по этому округу. Предпринял я это путешествие в надежде найти там, если возможно, какую-нибудь работу, я бы взялся за что угодно.

В общем, было что-то бессознательное — я не могу себе этого объяснить, почему — в том, что я там делал. Я сказал себе: ты должен видеть Курьер. У меня было в кармане десять франков, и так как вначале я пользовался железной дорогой, я вскоре оказался у конца этих минеральных вод. К тому же я был в пути уже с неделю и перебивался с большим трудом.

Во всяком случае, я видел Курьер и видел внешний облик мастерской Жюля Бретона. Внешность эта меня несколько разочаровала, так как мастерская была недавно еще совершенно заново выстроена из кирпича и в своей методической правильности имела негостеприимный вид и казалась холодной и скучной.

Если бы мне удалось видеть ее внутри, я, вероятно, уже не стал бы думать о ее внешнем виде, в этом я даже уверен, но, так или иначе, внутренности ее видеть я не мог; я не осмелился представиться. Я искал в Курьере следов Жюля Бретона или каких-нибудь других художников, но все, что мне удалось открыть, было — портрет этого художника у какого-то фотографа,

¹ «Вильям Шекспир», Виктор Гюго, 1864.

и затем копия с «Положения во гроб» Тициана в темном углу одной старой церкви. Копия эта в темноте казалась очень красивой и мастерской по тону. Была ли это работа Бретона? Не знаю, я не мог найти на ней подписи.

Что касается здравствующих художников, то от них — ни малейшего следа. Только в одном кафе, под названием «Изящные искусства», построенном также из новых кирпичей, неуютном, холодном, отвратительном, есть украшение, что-то вроде фресок с эпизодами из жизни знаменитого рыцаря Дон Кихота. Эти фрески, между нами говоря, показались мне тогда довольно плохим утешением и в достаточной мере посредственными.

Не знаю, чьей они работы.

И все же я видел ландшафт самого Курьера. Стога, коричневые глыбы земли, то есть мергель, приблизительно — цвета кофе, с беловатыми пятнами в тех местах, где выступает мергель, что для нас, привычных к черноватой почве, довольно необычно.

Французское небо показалось мне, в общем, значительно нежнее и яснее, чем закопченные и туманные небеса Бориная.

Затем там попадались некоторые дворы и сараи, еще сохранившие, слава богу, соломенные крыши, поросшие мохом. Видал я и стаи ворон, ставших знаменитыми по картинам Добиньи и Милле, не говоря уже (это следовало сделать в первую очередь) о характерных, живописных фигурах различных рабочих, а именно, землекопов, дровосеков, батраков с их запряжками, силуэта женщины в белом чепце. Даже там, в Курьере, были угольные копи или шахты; я видел подъемник, рисовавшийся в вечерних сумерках; однако, там не было, как в Бориная, работниц в мужских костюмах, — одни только горняки усталые, несчастные, черные от угольной пыли, снабженные рабочей лампой. Один из них в солдатской шинели.

Хотя это путешествие должно было меня почти свалить с ног и я возвратился измученный от усталости, с истертыми ногами и в довольно меланхолическом состоянии, все-таки я не жалею о нем; я видел интересные вещи и в суровых испытаниях нищеты учился смотреть на все другими глазами.

Я зарабатывал себе по дороге то там, то сям кусок хлеба в обмен на рисунки, бывшие у меня в дорожном мешке. Когда же пришли к концу мои

десять франков, я вынужден был ночевать последние ночи в открытом поле; один раз в пустой повозке, утром совсем белой от инея, — довольно плохое ночное убежище, другой раз — в куче хвороста, затем — в разрушенной риге, где мне удалось устроить себе несколько более комфортабельную нишу; к тому же мелкий дождик не слишком-то способствовал уюту.

И тем не менее как раз в этой большой нищете я чувствовал, как ко мне возвращается моя энергия, и говорил себе: что бы там ни было, я опять поднимусь ввысь, снова возьмусь за карандаш, оставленный в большом отчаянии, снова займусь рисованием. С тех пор, как кажется мне, все для меня изменилось, и вот я снова в работе, и мой карандаш стал мне более покорен и с каждым днем становится мне дороже. Слишком долгая и большая нищета до того довела меня, что я тогда уж ничего больше не мог делать.

Горняки и ткачи — это все же отличный от других рабочих и ремесленников слой людей. Я чувствую к ним большую симпатию и почитал бы себя счастливым, если б мне удалось в один прекрасный день их нарисовать, дабы эти, до сих пор неизвестные или почти неизвестные типы, были когда-нибудь вытянуты на свет. Рабочий шахты — это человек из «бездны», ткач же, наоборот, имеет мечтательный, задумчивый, почти сомнамбулический вид. Я живу среди них почти два года и немного изучил их своеобразный характер, по крайней мере характер горняков. И все больше нахожу я нечто трогательное, даже потрясающее в этих бедных, униженных тружениках, в этих, так сказать, последних и наиболее презираемых из тех, кого обычно представляют себе (вероятно, вследствие живой фантазии, но страшно несправедливо) как расу преступников и разбойников. Злодеи, пьяницы и разбойники есть и среди них, но это не настоящий их тип.

В своем письме ты намекнул на то, что рано или поздно, если б это было возможно и если б у меня к этому была охота, я должен буду перебраться в Париж или в его окрестности. Конечно, перебраться в Париж, Барбизон или еще куда-нибудь было бы моим величайшим и горячим желанием. Но что делать; я не зарабатываю даже одного су и, несмотря на то, что работаю напряженно, мне еще потребуется некоторое время, чтобы иметь право думать о таких вещах, как Париж.

Пока что я не вижу, как можно было бы это выполнить, и лучше мне остаться здесь и работать так, как я умею и хочу. Да в конце концов, здесь и жить дешевле. Во всяком случае, я не долго пробуду еще в той маленькой комнатушке, где я нахожусь сейчас. Она и без того страшно тесна, да к тому же в ней стоят еще две кровати, моя и детская, а так как я делаю листы из Барга довольно большой величины, то не могу тебе выразить, скольких мучений это мне стоит. Я не хочу мешать людям в их хозяйстве, а другими комнатами в доме, они сами мне сказали, я не могу пользоваться, даже если буду платить больше, так как они нужны хозяйке для стирки белья, а это в доме горняков происходит почти каждый день. Поэтому я попросту хочу снять маленький домик, стоящий в среднем девять франков в месяц, у рабочего.

Не могу тебе выразить, как я чувствую себя счастливым, занявшись опять рисованием, хотя ежедневно являются разные к тому препятствия и будут являться и дальше.

Это давно уж занимало меня, но я всегда считал рисование чем-то невозможным и недостижимым. Хотя я все еще ощущаю мою немощность и мою тяжкую зависимость от очень многих вещей, все же теперь я снова обрел душевное спокойствие, и энергия возвращается ко мне со дня на день. Что касается моего переезда в Париж, то дело идет о следующем: если бы представился случай завязать сношения с крепким и выдающимся мастером, это было бы для меня необыкновенно полезно, но действовать в данном случае наобум значило бы повторять в большом масштабе мое путешествие в Курьер, где я тоже надеялся встретиться с каким-либо живым существом из рода художников и где, однако, не нашел никого. Для меня дело идет о том, чтобы учиться хорошо рисовать, быть господином моего карандаша, угля или кисти: если это удастся, я всегда сумею делать хорошие вещи; Бориная, во всяком случае, так же живописен, как Бретань, Нормандия, Пикардия или Брие.

Если же все это буду делать плохо, — моя вина. Впрочем, вполне возможно, что в Барбизоне, если это только удастся, можно больше, чем где-либо в другом месте, найти случай сойтись с каким-либо передовым художником, который был бы для меня, говоря серьезно и без преувеличивания, истинным ангелом божьим.

Если ты, рано или поздно, найдешь к этому пути и средства, подумай обо мне, а пока что я спокойно останусь здесь, в каком-нибудь домишке рабочего, и буду работать, как могу...

Vincent

После двух лет жизни в Боринаже и девяти месяцев полного уединения (Винсент перестает переписываться с братом с октября 1879 и возобновляет общение лишь в июне 1880 г.) Ван Гог едет в Брюссель, где решает начать учиться. Поселившись в маленькой комнатухе над кафе, он покупает самоучитель по рисованию для художников Чарлза Барга и начинает методично срисовывать. Так Винсент живет полгода во многом благодаря финансовой помощи и поддержке, которую оказывает ему брат Тео. Именно в Брюсселе Винсент знакомится с голландским художником Антоном Ван Раппардом и даже работает в его брюссельской мастерской какое-то время, копируя рисунки из анатомического атласа и художественных альбомов.

27

Брюссель, 1 ноября 1880 г.

... Я продвигаюсь вперед с примерами работ Барга, и дело уж идет лучше. Кроме того, в эти дни я немного рисовал, что мне стоило, правда, большого труда; однако я очень рад, что это сделал. А именно: я рисовал пером скелет и в довольно большом размере, на пяти листах бумаги Энгр.

1 лист: голова, скелет и мускулы.

1 лист: туловище, скелет.

1 лист: рука спереди, скелет и мускулы.

1 лист: рука сзади, скелет и мускулы.

1 лист: таз и ноги, скелет.

Я выполнил это с помощью пособия фон Цана «Анатомические наброски для художников». В нем есть еще ряд других для меня очень полезных и, кажется, очень отчетливых репродукций – руки, ноги и проч. Я хочу совершенно закончить рисунок мускулов, именно, туловища и ног. Вместе с теми, которые я уже выполнил, это составит полную человеческую фигуру. Затем следует фигура сзади и с боков.

Ты видишь, таким образом, как я бьюсь; все эти вещи не так-то просты, они требуют времени и довольно много терпения.

Чтобы попасть в Академию, нужно разрешение бургомистра, и вот я жду ответа на мое прошение.

<Я, конечно, понимаю, что какой бы скромной и бедной ни была жизнь в Кеме, она окажется намного дороже в Брюсселе. Но я не преуспею без какого-либо наставничества, и я считаю возможным, что, при условии, что я буду много трудиться, как и собираюсь, дядя Сент¹ или дядя Кор² примут что-нибудь, если не в качестве поощрения для меня, то в качестве поощрения для отца.>

Французенка, вскармливающая свое дитя, после Эме-Жюль Далу, рисунок 1881 года.



¹ Винсент ван Гог (дядя Сент) – дядя Винсента.

² Корнелис Маринус ван Гог (дядя Кор) – дядя Винсента.

Я намереваюсь добыть себе здесь в ветеринарной школе анатомические рисунки с лошади, коровы, овцы, для того, чтобы нарисовать их так же, как и анатомию человека. Есть законы пропорций, светотени и перспективы, которые нужно знать и уметь, хоть сколько-нибудь, рисовать; тот, у кого таких знаний нет, навсегда будет обречаться в бесплодной борьбе и никогда не сможет произвести на свет что-либо порядочное.

...Рисование, это – жестокая и утомительная работа. Хорошо было бы мне здесь достать какую-нибудь постоянную работу, но я не смею еще на это рассчитывать, мне самому надо еще многому учиться.

Был я здесь у господина ван Раппарда, живущего на улице Травестьер 64, и говорил с ним. Он производит хорошее впечатление; из его работ я еще ничего не видел, кроме двух ландшафтов, нарисованных пером. Живет он, однако, довольно роскошно, и не знаю, в финансовом смысле, является ли он тем лицом, с которым, например, я мог бы жить и работать. Как бы то ни было, я пойду к нему еще раз. У меня создалось впечатление, что в нем есть что-то серьезное.

В Кеме я не мог бы дольше выдержать, не заболев от нужды. <Не думай, что я проживаю здесь в роскоши: пища моя состоит, главным образом, из черствого хлеба, картофеля или каштанов, продающихся местными на углах улиц. Впрочем, я бы продержался, если бы комната моя была немного лучше и я мог позволить себе питаться в ресторанчике время от времени. >

Углекоты Милле, 1855-1856 гг.



Но в течение почти двух лет мне пришлось пережить в Боринаже нечто, что не было похоже на увеселительную прогулку. Какие-нибудь 60 франков можно будет все же сколотить, иначе дело никак не пойдет. Материал для рисования и, например, таблицы по анатомии кое-чего стоят, а между тем это ведь вещи совершенно необходимые, только имея их, смогу я себе возместить в будущем, иначе же я никогда не достигну цели.

С большим удовлетворением прочел я на днях выдержки из труда Лафатера и Галля о физиогномике и френологии, – в каких чертах выражается характер лица и форма черепа.

<Нарисовал углекопов Милле по фото Брауна, которое нашел у Шмидта и которое он одолжил мне вместе с «Вечерним Анжелюсом». Я направил оба эти рисунка отцу, чтобы он мог видеть, что я занят чем-то.

...Я считаю, что ты увидишь абсолютную необходимость в более художественном окружении для меня, если подумаешь об этом подольше. Иначе, как можно научиться рисовать, если никто не покажет тебе? Даже с самым серьезным намерением в мире нельзя преуспеть без постоянного контакта с художниками, которые уже преуспели. Хорошее намерение не принесет пользы без возможности развиваться. Что же касается посредственных художников, к числу которых, по твоему мнению, я не должен себя относить, что я могу сказать? Все зависит от того, что ты называешь посредственностью. Я сделаю все, что смогу, но я ни в коем случае не презираю посредственность в простом

Углекопы Ван Гога, 1880 г.



ее понимании. И точно невозможно возвыситься над этим уровнем, презирая то, что посредственно. Мне кажется, что необходимо по крайней мере начинать, проявляя уважение к посредственности и понимая, что и это тоже что-то значит, что даже этот уровень достигнут большим трудом.>

Vincent

28

Брюссель, январь 1881 г.

...Я закончил, по меньшей мере, дюжину рисунков, скорей даже набросков, карандашом и пером, которые, кажется, уже несколько лучше прежних. Отдаленно они напоминают некоторые рисунки Лансона или некоторые английские гравюры по дереву, однако значительно неуклюжее и беспомощнее последних. Между прочим, они изображают слугу, углекопа, чистильщика снега, прогулку по снегу, старуху, старика (Феррагюса из «Истории тринадцати» Бальзака) и проч.

Посылаю тебе два маленьких рисунка: «В дороге» и «Перед камином». Я, конечно, вижу, что это еще неудовлетворительно, но как бы то ни было, в них кое-что начинает раскрываться. Почти ежедневно мне позирует какая-нибудь модель – старый слуга, посыльный, какой-нибудь рабочий или парень. В следующее воскресенье у меня, может быть, будут позировать два солдата. И так как я сейчас уже не в плохом настроении, то у меня совсем иное и лучшее представление о тебе и вообще о всех.

Еще нарисовал я пейзаж, лут, чего уже давно не делал. Я страшно люблю пейзажи, однако в десять раз больше те картины нравов, зачастую жуткой правдивости, которые так мастерски рисовали такие художники, как Гаварни, Анри Монье, Домье, де Лемюд, Анри Пилль, Т. Шулер, Эд. Морен, Г. Дорэ (например, в его «Лондоне»), А. Лансон, Дегру, Фелисьен Ропс и др.

Если я ни в какой степени не смею думать, чтоб мне удалось подняться до таких высот, до которых поднялись они, то все же я надеюсь непрерывным рисованием указанных рабочих типов достичь того, чтобы уметь делать иллюстрации для газет и книг.

«Перед камином»



«В дороге»



В особенности, если б я был в состоянии почаще иметь модель, также и женскую, — я бы делал еще большие успехи; это я чувствую и знаю. Возможно, я дошел бы таким образом и до портретов. При том, однако, условии, чтоб работать много, *pas un jour sans une ligne* (ни одного дня без линии), как говорил Гаварни.

Итак, решено, я остаюсь здесь и жду, пока ты мне сможешь предложить то или другое. Но пиши мне время от времени. Я теперь занят тем, что в третий раз рисую все упражнения углем Барга...

Vincent

29

Брюссель, 2 апреля 1881 г.

Дорогой Тео!

В ответ на оба хороших письма и в связи с посещением отца, которого я ждал уже давно, должен тебе кое-что сказать.

Во-первых, я узнал от отца, что ты мне (о чем я вовсе ничего не знал) уже давно посылал деньги, и таким образом деятельно помогал продвигаться вперед. Прими мою сердечную благодарность за это. Я твердо надеюсь, что ты не будешь в этом раскаиваться: я таким путем выучусь определенной профессии, и хотя сразу в один месяц, конечно, не разбогатею от нее, но все же те сто франков в месяц, которые нужны мне по самому скудному расчету, я все-таки сколочу, как только стану как рисовальщик крепче на ноги и буду получать заказы.

То, что ты сообщил о живописце Хейердале, вызвало большой интерес у меня и у Раппарда.

Так как он, без сомнения, напишет сам тебе, то и пишу об этом деле я лишь постольку, поскольку это в той или другой мере меня касается лично.

Твои замечания о голландских художниках¹, именно, о том, что сомнительно, чтобы от них можно было получить ясное представление о трудностях перспективы и проч., я считаю в известном смысле очень правильными и справедливыми. Ты пишешь о том, что Хейердал прилагает много стараний в поисках правильных пропорций при рисовании, — это как раз то, что и мне нужно.

Некоторые хорошие живописцы не имеют ни малейшего понятия о том, что значат соотношения, изящные линии, характерная композиция, идея или поэзия рисунка.

А между тем это важные вопросы, близкие сердцу Фейен-Перрена, Улисса Бютена и Альфонса Легро, не говоря уже о Бретоне, Милле и Израэльсе, никогда не выпускающих этих вопросов из виду.

Иные голландские живописцы ничего, абсолютно ничего не понимают в искусстве какого-нибудь Боутона, Маркса, Миллеса, Пинуэлла, Дюморье, Геркомера или Уолкера, если назвать только несколько художников, которые, независимо от их других качеств, являются истинными мастерами рисунка.

Есть люди, пожимающие плечами при виде таких работ, так же точно, как есть здесь, в Бельгии, где должны были бы лучше это понимать, художники, относящиеся таким же образом к работе Дегру...

¹ Речь идет здесь о современных Ван Гогу художниках. (Прим. перев.)

...Этой зимой я в среднем тратил до ста франков в месяц, хотя на деле вряд ли выходило так много. Из этого очень значительную часть я употребил на материалы для рисования, а также на покупку одежды. Купил два рабочих костюма из грубого черного бархата, называемого, кажется, вельветином. Они мне отлично идут, есть теперь, что сменить, а кроме того, они мне пригодятся и потом, поскольку я, как и всякий другой художник, нуждаюсь во всевозможных рабочих одеждах для моих моделей. Для этого я вынужден постепенно приобретать из вторых рук всевозможные части как мужской, так и женской одежды. Но, конечно, все это не должно делаться сразу; начало я все-таки положил, а затем буду продолжать.

Этой зимой я собрал много гравюр по дереву. Твой Милле пополнен различными новыми вещами, и ты увидишь, что твой капитал в гравюрах и т. п. оставался у меня не без прироста. Гравюр по дереву самого Милле и по его произведениям у меня теперь 24, считая в том числе и «Полевые работы».

Но рисовать самому – вот главное, на что должны быть направлены все силы.

Лучше всего, конечно, было бы, если б я провел это лето в Эттене, где много материала. Если тебе это кажется приемлемым, ты можешь написать отцу, что я готов в смысле одежды и всего другого устроиться так, как это будет им желательно, потому что может случиться, что этим летом я снова стану поперек дороги К. М.¹

Поскольку я знаю, однако, здесь нет серьезных сомнений. И в кругу семьи, и вне ее обо мне говорят и судят по-разному, и я постепенно слышу самые противоположные мнения. Я никому не ставлю это в вину, так как обычно мало кто знает, почему художник поступает так или этак.

Крестьяне и мещане вообще каждого, кто в поисках живописного места или образа лазает по углам и дырам, которые другим не по сердцу, всегда подозревают во всяких неприличиях и злоумышлениях, о которых, конечно, никто и не думает.

¹ Корнелис Мартинус ван Гог

Крестьянин, видя, как я рисую старый ствол дерева и битый час сижу перед ним, думает, что я сумасшедший и, само собой разумеется, высмеивает меня. Молодая дамочка, которая воротит нос от рабочего в его заплатанном, потертом и пропитанном потом костюме, тоже, конечно, не в состоянии постигнуть, для чего кто-то посещает Боринаж или Хейст и спускается в шахты, и таким образом, она тоже приходит к заключению, что я — сумасшедший. Все это мне, само собой разумеется, совершенно безразлично, если только ты, господин Терстех, К. М. и отец, равно как и остальные, с кем мне приходится иметь дело, все это понимают иначе и, не делая дальнейших замечаний, скажут: это связано с твоей профессией, и нам понятно, почему это так, а не иначе.

Как я уже сказал, не существует, в сущности, определенных причин, почему бы я, например, если бы это устроилось, не мог отправиться в Эттен или Гаагу, даже в том случае, если об этом и поболтали бы немного все эти дамочки и господчики.

Итак, жду на все это твоего ответа, а пока работаю у Раппарда. Он написал несколько отличных этюдов и среди них пару здорово схваченных вещей по моделям Академии. Несколько больше страсти и огня, несколько больше доверия к самому себе, больше храбрости не повредили бы ему. Кто-то однажды сказал мне: «Мы должны делать усилия погибающих, отчаявшихся людей». Вот чего он еще не делает...

Vincent

Винсент возвращается домой в Эттен весной 1881 года, когда у него снова заканчиваются деньги. В этот период он очень много рисует с натуры: крестьян, копающих землю, засевающих поле, отдыхающих на стульях у печки. Художник делает наброски деревьев, крестьянских сараев и домов, чем немало тревожит местных сельских жителей, впервые наблюдающих у себя в округе художника. Однако вскоре он сходитяся с голландским художником Антоном Мауве, который берется наставлять самородка. Винсент был знаком с Мауве благодаря своей службе в «Гупиль и К^о», однако после, когда Антон женился на кузине Винсента, а сам Винсент занялся рисованием, они еще больше сблизились.

Эттен, вторая половина мая 1881 г.

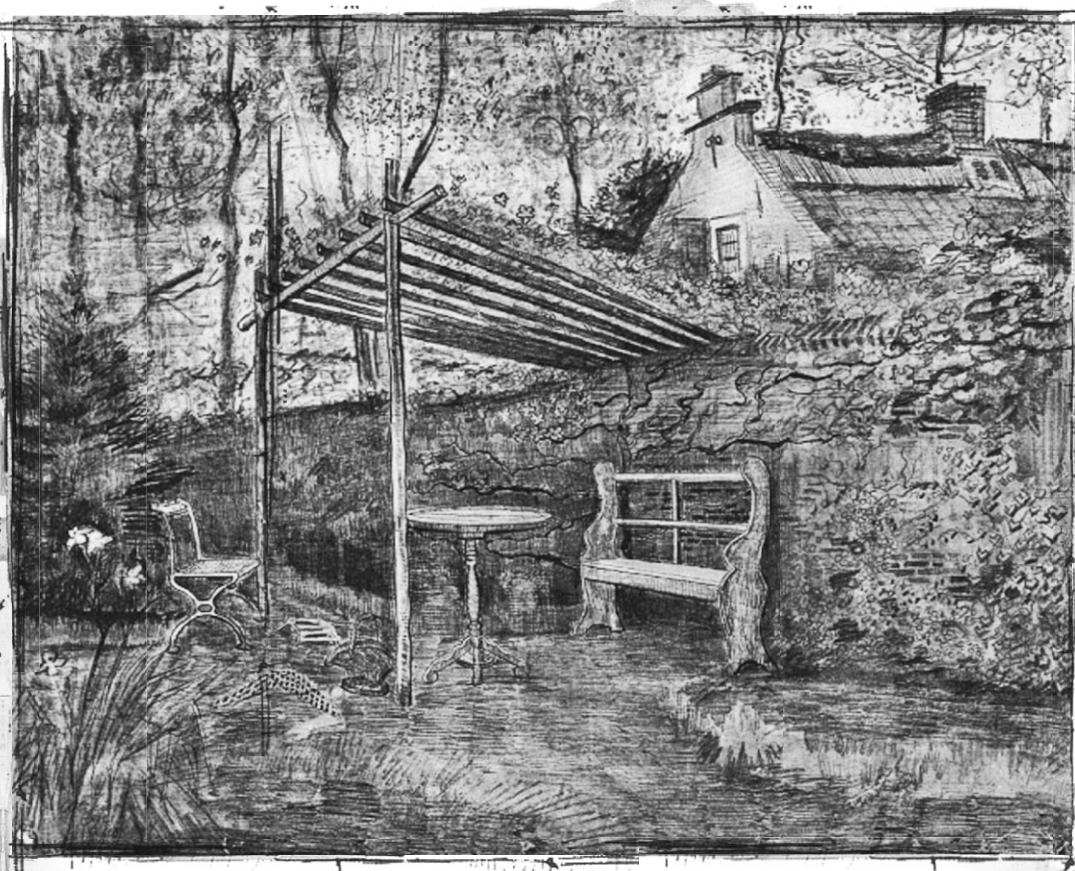
Дорогой Тео! Прибавляю несколько строк, так как тебе пишут обо мне. Думаю, что тебе хотелось бы узнать от меня самого о том, что я делаю.

Каждый день, когда нет дождя, я выхожу наружу, в большинстве случаев – в поле. Мои этюды я пишу довольно большими. Ты видел некоторые из них при твоём посещении; таким образом я, например, сделал хижину и сарай с крышей, покрытой мхом, на Роозендальской дороге... Затем мельницу, там, прямо напротив, поле, и вязы на церковном дворе. Ещё рисунок дровосеков, занятых на широкой равнине, где рубят большой еловый лес. Кроме того, я пытаюсь зарисовать разные орудия, как то: тележку, плуг, борону и пр. и пр. Лучшее всего удался рисунок с дровосеками. Думаю, он и тебе бы понравился...

Vincent

Родительский дом Винсента в Эттене. Предположительно первый набросок Пастората (дом приходского священника. – Прим. Ред.) был сделан Винсентом в 1876 году и отослан его сестре Вильгельмине. Второй рисунок был сделан позже, в 1881 году, и отослан брату, однако на рисунке не было церкви.





Садовый уголок, рисунок 1881 года. В периоды, когда Винсент гостил у своих родителей, он находился в комнатке – пристройке к дому, позже ставшей его мастерской, которая была снаружи увита плющом и выходила окнами на задний двор с садом.



De andere zaai heeft een korf.
Enom graag zou ik eens een vroum laten poseren
to met een zaai korf om dat figuurke te vinden dat ik
in 't voorjaar te het laten zien en dat ge op den
vooravond van 't eerste ochttsje ziet

Vincent



— После Ганса Гольбейна «Портрет Анны Мейер, дочери Якоба Мейера, 1526», набросок в письме.



Болото с водяными лилиями

31

Эттен, конец июня 1881 г.

...Я получил «Руководство к рисованию акварелью» Кассанья. Изучаю его сейчас; если я и не буду работать акварелью, то все же, может быть, найду



в нем много нужного, например, для сепии или туши. До сих пор я рисовал исключительно только карандашом, заканчивал пером и обрабатывал, если нужно, тростником, которым лучше работается.

То, что я рисовал за последнее время, делало такой способ еще более необходимым, так как это были наброски, в которых приходилось много рисовать и притом рисовать с перспективой, а именно, несколько мастерских здесь, на селе, — кузницу, столярную, мастерскую сапожника.

Виллемина¹ уехала, и мне жалко это, она очень хорошо позирует, у меня есть с нее рисунок, равно как и с другой девушки, бывшей здесь в гостях. Я к ней присоединил швейную машинку. В наше время уже нет прялок, что очень жаль, — они чрезвычайно живописны для рисовальщика и живописца; но на их месте появилось, однако, нечто другое, не менее живописное, — швейная машинка.

«Надеюсь, что ты напишешь мне в свободную минутку. Если тебе удастся достать для меня Каталог Салона, пожалуйста, вышли его. Раппард сообщил, что намерен купить все книги Кассанья. У него все еще проблемы с перспективой, и я не знал лучшего лекарства от этой проблемы. И если мне когда-нибудь удастся излечиться от этого недуга, то я буду благодарить за это именно книги Кассанья — использование на практике той теории, что содержится в них. Применение на практике, тем не менее, нельзя купить вместе с книгами; если бы таковое было возможно, наверное, это добро было бы уже распродано».

А теперь, адье! Жму руку, Vincent

Виллемина Ван Гог, или как ее называли близкие «Вил» была младшей сестрой Винсента и активисткой. В юности Вил работала сиделкой, затем сестрой в больнице, где организовала «Национальную выставку работ женщин». В немногих письмах, которые сохранились от их переписки, Винсент называл ее «моя сестренка». Именно Виллемина вместе с их матерью послужили прототипами героинь картины «Воспоминания о саде в Эттене», нарисованной Винсентом в 1888 году в Арле. Несмотря на то, что Виллемина прожила долгую жизнь, судьба ее была не менее трагична, чем судьба ее брата. В возрасте 40 лет Виллемине был поставлен диагноз «шизофрения». С тех пор и до самой ее смерти в 1942 году Вил прожила в больнице.

¹ Виллемина Якоба ван Гог — сестра Винсента.

Портрет Виллемины
Ван Гог, набросок
в письме



Эттен, между 15 и 20 июля 1881 г.

...В моем последнем письме я для того писал тебе о Каталоге Салона, чтобы ты подумал, как бы его достать.

В крайнем случае я могу обойтись и без него; это не какая-нибудь насущная необходимость. Такой необходимостью является, однако, нечто другое, и если ты приедешь сюда и тебе не будет трудно притащить это с собой, то привези хоть немного белой бумаги Энгр. Я привез из Брюсселя кое-какой запас ее и работал на ней с наслаждением, поскольку она годится и для пера, и в особенности для тростника. С недавних пор, однако, у меня больше не осталось ни листа, а здесь я могу получить лишь гладкую белую бумагу без зерна (можно было бы взять Ватман и Хардинг, но это слишком дорого для набросков: бумага Энгр, кажется, стоит 10 сантимов за лист).

Итак, сделай все, что можешь, чтобы уложить большее или хотя бы малое ее количество в твой чемоданчик. Ты мне доставишь этим больше радости, нежели чем-либо другим.

<Я сделал еще один набросок в Лиесбосе и сейчас становится на удивление жарко, в действительности, слишком жарко, чтобы сидеть на пустоши в течение дня, и я работаю дома эти дни, копируя Гольейна и др. с Барга.

С твоей подачи, я, кроме того, попробовал нарисовать пару портретов по фотографиям и принял это за хорошее упражнение...>

Vincent

Эттен, 5 августа 1881 г.

...Я продолжаю старательно рисовать «Упражнения углем» на бумаге Энгр, которую ты мне привез. Мне стоит много усилий не отвлекаться от этой работы. Значительно приятнее рисовать что-нибудь на воздухе, чем рисовать такой лист из Барга, но я поставил себе задачу выполнить упражнения еще, в последний раз.

В лесу.



Болото.



Было бы плохо, если б я при рисовании с натуры впал во множество подробностей и в то же время пропустил значительные вещи. В моих последних рисунках таких подробностей было чересчур уж много, и поэтому я хочу изучить еще раз метод Барга, работающего большими линиями и массами, а также с простыми и тонкими контурами, поэтому я на время бросаю рисование на воле; и вот когда я потом, вскоре, опять к нему возвращусь, у меня будет лучший, чем прежде, глаз на вещи.

«Не знаю, читал ли ты английские произведения. Если нет, тогда очень рекомендую «Шерли» Каррера Белла¹, автора другой книги – «Джейн Эйр». Эта книга так же замечательна, как картины Миллеса или Боутона, или Геркомера. Я обнаружил ее в Принсенхаге и прочел за три дня, хотя она и достаточно толстая.»

Я хотел бы, чтобы все обладали тем, чего я постепенно начинаю достигать, – а именно, способностью прочесть без труда и за короткое время книгу, сохраняя при этом от нее сильное впечатление. С чтением происходит то же, что и с рассматриванием картин; нужно безо всяких сомнений, без колебаний, быть уверенным в своем деле, находя прекрасным то, что действительно прекрасно. Я занят теперь приведением в порядок всех моих книг; я достаточно много прочел, чтобы не работать дальше без системы и постепенно достичь в современной литературе надлежащей высоты.

В особенности часто я сожалею, что так мало знаю историю, преимущественно современную, но в конце концов, с этими сожалениями сложа руки не двинешься дальше, а как ползти вперед, об этом надо подумать.

Пока я разделаюсь с Баргом, наступит осень, чудное время для рисования; хотелось бы, чтобы сюда еще раз приехал Раппард.

Надеюсь, мне удастся найти хорошую модель, например, Пита Кауфмана², рабочего; полагаю, однако, что будет лучше устроить позирование не здесь, в доме, а во дворе или у него в доме, либо в поле, с совком, с плугом или с чем-нибудь подобным в руках.

¹ Под псевдонимом «Каррер Белл» скрывалась писательница Шарлотта Бронте.

² Пит Кауфман – садовник в Эттене.

Сколько, однако, усилий надо затратить, чтобы разъяснить людям, что такое позирование. Крестьяне и мещане отчаянно тупы в одном пункте, от которого они не хотят отступить, а именно — позировать, по их мнению, надо не иначе, как в праздничном одеянии с его невозможными складками, которые не отмечают характерными углублениями и выпуклостями ни коленей, ни локтей, ни плеч, ни других частей тела. Воистину это одна из малых горестей жизни рисовальщика...

Vincent

34

Эттен, 26 августа 1881 г.

Дорогой Тео!

Я только что возвратился домой из небольшого путешествия в Гаагу; сегодня вечером я один в дома, так как отец и мать в Принсенхаге; таким образом, у меня хороший случай рассказать тебе о всякой всячине. В прошлый вторник я уезжал отсюда, — теперь же пятница, вечер. В Гааге я был у господина Терстеха, у Мауве и де Бока. Терстех был очень приветлив; он находит, что я сделал успехи. Так как я снова закончил всю серию «Упражнений углем» 1–60, то я и взял ее с собой и сделал это, главным образом, потому, что он сказал, что все еще приписывает известное значение тому, чтобы я делал эту работу, а равно чтобы я время от времени копировал какую-нибудь фигуру с Милле, Боутона и других; между тем другие считают это менее ценным.

Таким образом, я получил некоторое удовлетворение от этой работы. У Мауве я был днем и как-то вечером. Видел в его мастерской много хорошего. Мои собственные рисунки чрезвычайно его заинтересовали. Он дал мне много указаний, чему я очень рад, и я условился с ним, что вскоре, если буду иметь еще несколько этюдов, снова явлюсь к нему. Он показал мне целую массу своих этюдов и объяснил мне их — не набросков к рисункам и картинам, но настоящих этюдов, могущих показаться другим малозначительными. Он хотел меня притянуть к живописи.

С де Боком я познакомился самым приятным образом; я был у него в мастерской. Он работает над большой картиной, изображающей дюны; в ней много хорошего. Но по-моему, парень должен рисовать фигуры, чтобы давать совершенно другие вещи. Мне кажется, он обладает настоящим темпераментом живописца, но не сказал еще своего последнего слова. Он бредит Милле и Коро; однако, разве они не трудились над фигурами? – не правда ли? Фигуры Коро, конечно, не так известны, как его пейзажи, но это не исключает того, что он их все-таки делал.

К тому же каждое дерево у Коро нарисовано и проработано с такой любовью и продуманностью, как будто дело идет о человеческом образе. И дерево у Коро нечто совершенно иное, чем дерево у де Бока. Одна из лучших вещей у де Бока – это копия с Коро. Хотя ей и не легко сойти за настоящего Коро, тем не менее сделана она очень осмысленно, более осмысленно, чем многие фальшивые Коро, отличие которых от настоящих не так бросается в глаза.

Потом я видел панораму Месдаха, вот работа, достойная всяческого уважения. Я подумал при этом об одном выражении Торэ – кажется, про «Анатомию» Рембрандта: «...единственный недостаток этой картины это то, что в ней нет недостатков».

<Три представленные на выставке работы Месдаха, возможно, имеют больше недостатков, но незамедлительно вызывают симпатию. По крайней мере, так произошло со мной.

Говоря о той выставке, на ней была восхитительная картина Израэльса «Школа шитья», а также несколько картин Мауве.>

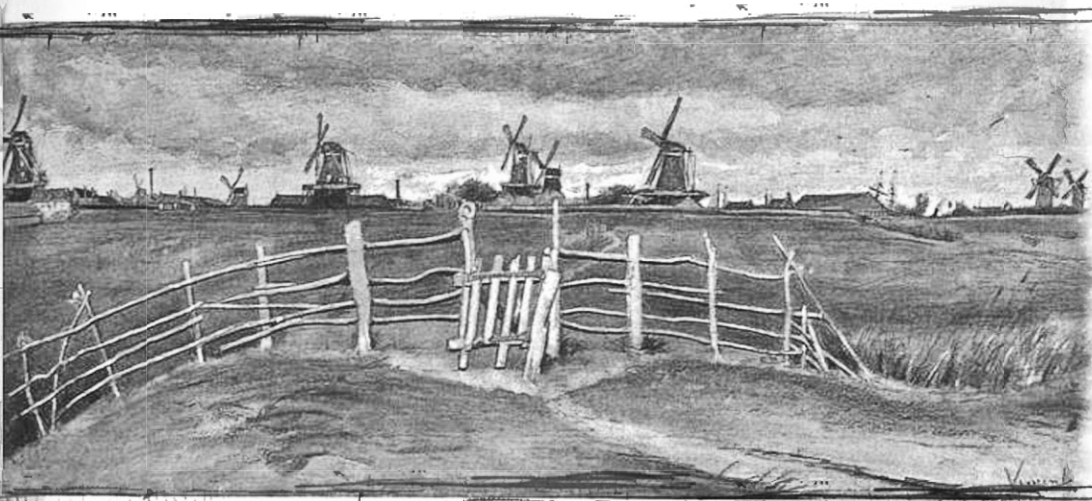
<Я был в Гааге до утра четверга. Затем я прибыл в Дордрехт, потому как увидел из окна поезда место, которое мне захотелось нарисовать. А именно: ряд ветряных мельниц. Я сделал рисунок даже несмотря на то, что шел дождь, и по крайней мере привез из поездки домой сувенир. >

Я нашел у Штама бумагу Энгр вдвое толще обыкновенной; на ней можно дольше работать. К сожалению, она белая; может быть, тебе удастся при случае добыть мне того сорта, который похож по цвету на небеленый холст, вроде тех листов прошлой партии, полученной от тебя, или тех, на которых напечатаны «Упражнения углем».

Когда рисуешь на белом, обязательно приходится, прежде чем начать, покрывать весь лист одним тоном.

Так что побывал я в Гааге. Может быть, это послужит началом серьезно-го знакомства с Мауве и другими. Этого бы мне очень хотелось...

Всегда твой,
Vincent



Ветряные мельницы Дордрехта.

35

Эттен, середина сентября 1881 г.

Дорогой Тео!

Хоть я и недавно тебе писал, но все-таки и на этот раз есть еще кое-что тебе сказать.

В моем рисовании наступила некоторая перемена, как в самом способе работы, так и в результатах ее. Кроме того, кое-что из слов, сказанных мне Мауве, побудило меня заново работать с моделью. Для этого мне удалось



Крестьянин оперся на свою лопату.

здесь добыть разных лиц, и среди них, к счастью, Пита Кауфмана, рабочего. Тщательное изучение, постоянное и многократное рисование «Упражнений углем» Барга дало мне лучшее понимание рисунка фигур. Я научился измерять, видеть, искать лучших линий, и поэтому то, что мне казалось прежде отчаянно трудным, теперь стало, слава богу, возможным.

Пять раз я нарисовал крестьянина с совком и, наконец, «Углекопов» во всевозможных положениях, два раза сеятеля, два раза девушку с метлой.

Кроме того, женщину в белом чепце, за чисткой картофеля, пастуха, опершегося на палку, и наконец, старого больного крестьянина, сидящего на стуле перед очагом, опершись головой на руки, а локтями на колени.

На этом дело не остановится, — раз пара овец прошла по мосту, за ними пойдет и все стадо. Углекопов, сеятеля, мужчин и женщин я обязан рисовать непрестанно, как это делали и делают многие другие. Я уже не стою перед натурой так беспомощно, как раньше...

Начинаю обрабатывать рисунки кистью и протиркой сепией и тушью, а иногда немного краской. Во всяком случае, рисунки, которые я сделал за последнее время, очень мало похожи на то, что я делал до сих пор. Величина их равна приблизительно величине листа из «Упражнений углем». Что касается пейзажей, то я держусь того мнения, что они ни в коем случае не будут от этого страдать, — наоборот, только выиграют. Прилагаю пару маленьких

Женская фигура.



набросков, чтобы дать тебе об этом представление. Я, конечно, должен оплачивать людей, которые мне позируют; хотя это и недорого, все-таки еще одним расходом больше, пока мне не удастся дойти до продажи моих рисунков.

Поскольку вся фигура только в редких случаях не удастся мне целиком, то и расходы на модель, как мне представляется, сравнительно скоро совершенно отпадут; каждый, кто научился схватывать фигуру и закреплять ее так, чтобы она на бумаге стояла на своих ногах, может еще в наше время кое-что заработать.



Dit is een akker of olappelveld waar men aan 't plukken is. Поле в грозу.
 A jaan is heb daarvan een goet vry groote schets
 met opkomend anseer



Копач.



Женщина
у окна.



Женщина
у окна.

Мужчина
веш зерно.



Женщина
с метлой.



Сеятель
с корзинкой.

Нечего и говорить, что я посылаю тебе эти наброски только для того, чтобы дать тебе идею о позе; я их быстро нацарапал сегодня и вижу, что можно было бы многое возразить относительно их пропорций, во всяком случае больше, чем о самих рисунках.

Вот тебе — пашня или жнивье, на котором люди пахут и сеют, у меня есть с него довольно большой набросок с надвигающейся грозой.

Enfin zoals Maars zegt, de teekening is in volle werking.
Als gewiet en komt denk dan om het papier Ingres van de kleur van ongebleekt linnen zoo mogelijk het sterkere soort. Schrijf my eens spedig als je kunt in elke geval, en ontvang een handdruk in danken.

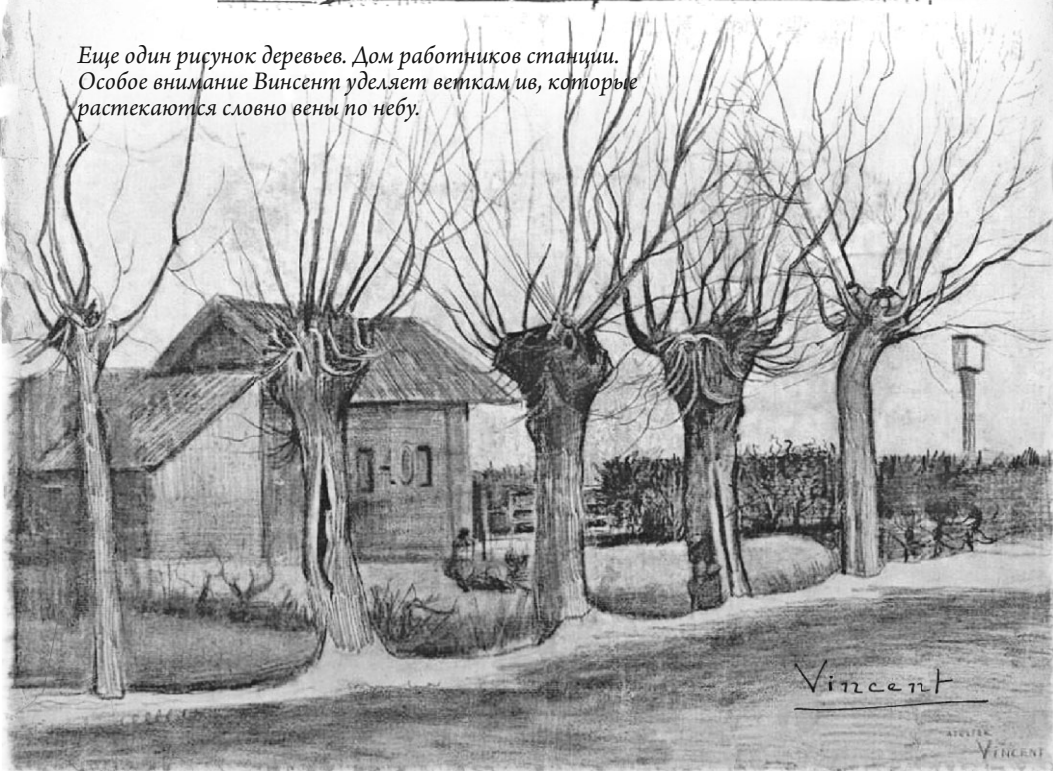


Сеятель с сумкой.

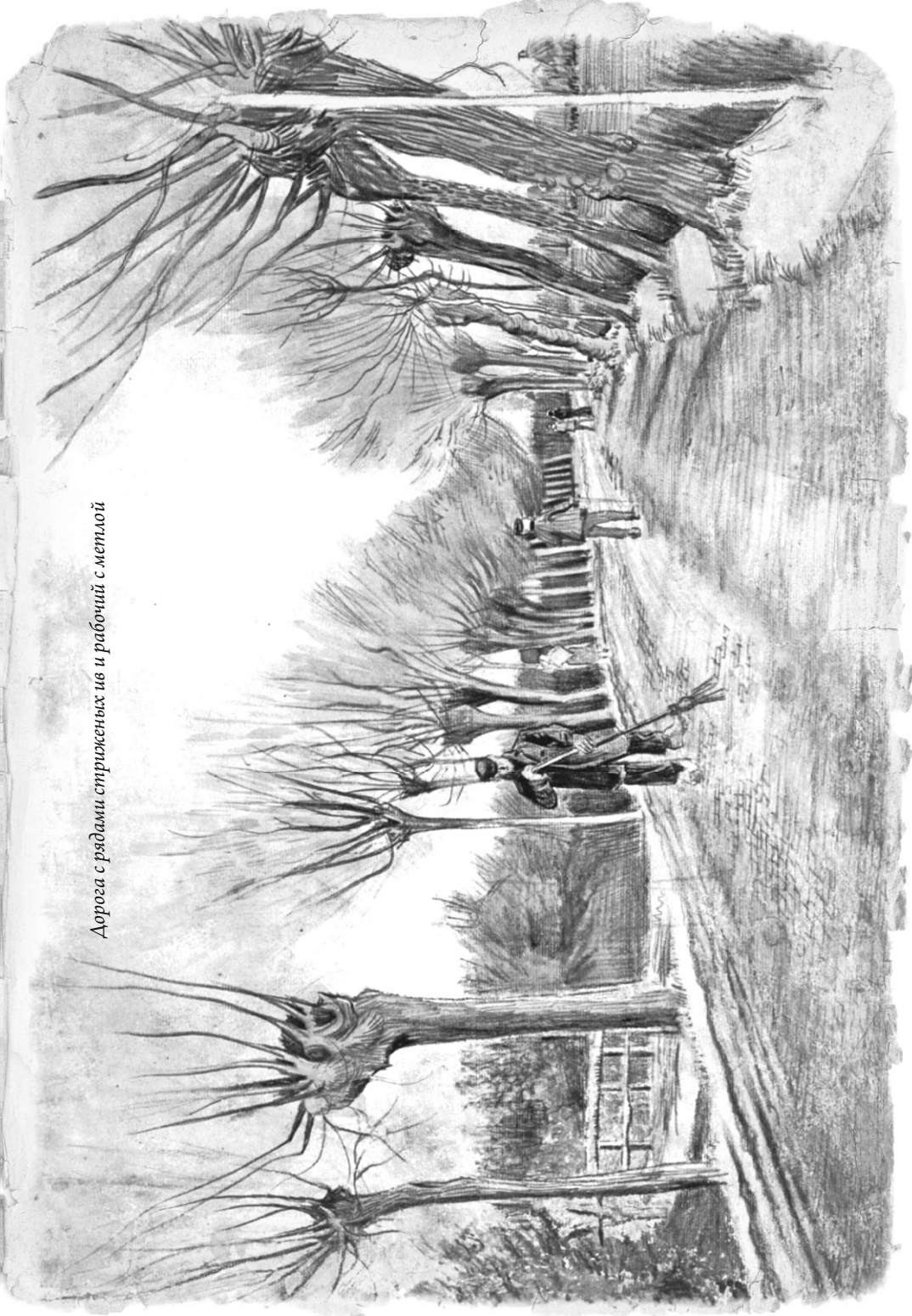
Два остальных маленьких наброска – позы копающих, я собираюсь сделать их еще несколько раз. Особенно охотно, чтобы найти позу фигурки, которую ты видишь на переднем плане первого наброска, ставил я как-то позировать женщину с кошелкой для семян. Одним словом, как говорит Мавуе: «Фабрика на полном ходу»...

В 1881 году Винсент рисует много фигур, однако среди работ того времени можно найти и ландшафты, как «Дорога с рядами стриженных ив и рабочий с метлой». Точно неизвестно, какая именно из дорог изображена. Однако в то время, когда предположительно был создан рисунок (октябрь 1881 года), Ван Гог пишет своему товарищу Антону Раппарду: «Знаешь, что совершенно прекрасно в эти дни, так это дорога на станцию со старыми стриженными ивами, от которой отходят поезда в Леур. Не могу передать, как прекрасны эти деревья теперь. Я сделал около семи больших рисунков нескольких стволов».

Еще один рисунок деревьев. Дом работников станции. Особое внимание Винсент уделяет веткам ив, которые растекаются словно вены по небу.



Дорога с рядами стриженных ив и рабочий с метлой



Эттен, начало октября 1881 г.

<Дорогой Тео,

Поскольку письмо (адресованное родителям. – прим. Ред.) снова идет к тебе, я решил написать пару строк. Я искренне надеюсь, что твои дела идут хорошо и ты найдешь пол часа, чтобы написать мне письмо снова.>

...Хочу тебе сообщить о том, что я сделал с тех пор, как писал тебе последний раз.



Подстриженные ивы.

Verder een ziele maar in de hoogte van de leuische weg
dan heb ik een een paar een model gehad spelen in

Во-первых, два больших рисунка, мелом и немного сепией «Подстриженных ив», приблизительно в таком виде, как маленький набросок ниже.

Затем такой же рисунок, в высоком формате дороги в Лёрс (Leurs). Затем у меня было здесь несколько моделей – копач и человек, плетущий корзины.

Кроме того, на прошлой неделе я получил от дяди из Принзенхаге довольно хороший ящик с красками, во всяком случае, достаточно приличный, чтобы начать работу: краски от Пайяра (Paillard); я очень этому рад.

Я сейчас же начал делать акварель, – нечто вроде вышеприведенного мотива...

Vincent

Si vif, gai et zébré d'un gai dessin on me le beguenn
(Peuple de van Toland). Et dans bien il, en été m'de.



Nu heb ik dadelijk een versimpel en moet agnare de
maken ~~na~~ als bovenstaand motief.

37

Эттен, 12 октября 1881 г.

...Натура начинает всегда с того, что оказывает сопротивление рисовальщику, но как только он возьмется за нее посерьезнее, это сопротивление уже не может его расстроить, наоборот, оно служит только побуждением к еще большей победе. В сущности, натура а также и искренний художник, это – нечто согласное друг с другом. Натура наверняка не является чем-то «неприкосновенным», ее надо хватать и притом твердой рукой. А после того, как с ней таким образом поборешься и поспоришь, она становится более покорной и уступчивой; не то чтобы



я уже этого достиг, – никто так не далек от этого убеждения, как я, – но она начинает у меня выходить лучше.

Борьба с натурой требует иной раз того, что Шекспир подразумевал под «укрощением строптивой», то есть уничтожения сопротивления при помощи выдержки во что бы то ни стало.

Во многих случаях, однако, в особенности в рисовании, я считаю, что «нажать покрепче – лучше, чем струсить».

Со временем я все больше чувствую, что рисование фигур есть определенно прекрасная вещь, и притом косвенно оно благоприятно действует и на рисование пейзажей. Когда рисуешь ветлу так, как будто бы она была живым существом (что и есть на самом деле), то все вокруг нее устраивается как бы само собой, – стоит только сконцентрировать все свое внимание на указанном дереве и не успокаиваться до тех пор, пока не внесешь в него нечто живое.

Прилагаю пару маленьких набросков. В настоящее время я довольно-таки много занят Лерской дорогой, время от времени работаю также акварелью и сепией, что, однако, не удается мне сразу.

Мауве уехал в Дрент. Я с ним уговорился, что я к нему приеду, как только он напишет, но может быть, он сам как-нибудь заглянет в Принсенхаг. <Я ходил смотреть Фабрициуса в своей последний приезд в Роттердам, и я рад, что ты видел кроме прочего картину Месдага. Если та картина Месдага, о которой ты писал, – желтые розы на замшелой земле, то я видел ее на выставке, и она в действительности очень прекрасна и очень художественна.>

То, что ты мне пишешь о де Боке, я нахожу совершенно справедливым, и у меня о нем такое же мнение; мне лишь не удалось это так выразить в словах, как удалось тебе, в твоём письме.

Если бы он мог и захотел сосредоточиться, он, воистину, был бы более значительным художником, чем теперь. Я ему прямо это высказал: «Де Бок, если бы мы, то есть я и ты, занялись бы в течение года рисованием фигур, мы по прошествии этого времени стали бы совершенно другими людьми, чем сейчас. Если же мы не постараемся и будем продолжать копать, не учась ничему новому, мы не только останемся при том, что есть, но, оставаясь в неподвижности, пойдем назад.



Дорога, мужчина и стриженные ивы, 1881 г.

Если мы не будем рисовать фигур, или даже не фигуры, а хоть что-нибудь другое, например деревья, как будто они – тоже фигуры, значит, мы люди безхребетные или со слабым хребтом. Милле и Коро, которых мы оба так высоко ставим, умели же они рисовать фигуры! Да или нет?»

В этом он со мной частично или полностью согласился. К тому же, кажется, он самым серьезным образом работал над панорамой, а это, даже если сам он и не замечает, должно оказать на него хорошее влияние. По поводу панорамы он мне сказал замечательно меткие слова, чем вызвал большую к себе симпатию. Ты ведь наверняка знаешь живописца Дестре. Он явился к де Боку с самым самонадеянным видом и сказал, глядя на него сверху вниз, однако, сладчайшим и невыразимо поучительным тоном: «Де Бок! Меня также просили написать панораму, однако, я считал своим долгом, принимая во внимание, что это нечто антихудожественное, отказаться от нее». На что де Бок: «Господин Дестре, что легче: написать панораму или отказаться от нее? И что более художественно: сделать ее или не сделать?» Были ли его слова в точности таковы, не знаю, но верно то, что он ответил именно в этом смысле, и я счел это совершенно правильным. Точно такое же уважение у меня и к тому, как ты держишь себя по отношению к престарелым и трусливым членам твоей компании, которых ты, будучи сам много моложе и энергичнее, заставляешь чахнуть в их старости и премудрости, ведя дело сам. Это настоящая философия, заставляющая нас действовать именно так, как в подобных обстоятельствах действуюешь ты и де Бок; о такой философии можно сказать, что она одновременно является и практикой. Как говорит Мауве: «Цвет – это то же рисование». «Моя бумага исписана, поэтому я кончаю и ухожу. Прими мою сердечную благодарность за твою сильную поддержку. Мысленно жму руку,

преданный тебе

Vincent



Мужчина, кладущий картофель в мешок, 1881 г.

Эттен, 17 октября 1881 г.

...Ты должен знать, Тео, что Мауве прислал мне ящик с красками, кистями, палитрой, шпателем, маслом, скипидаром, одним словом, со всем необходимым. Значит, решено, я должен писать. Я рад, что дело к этому пришло. За последнее время я рисовал и довольно много, в особенности этюды с фигур. Если бы ты их видел, ты понял бы, на каком пути я нахожусь.

Конечно, меня очень интересует, что мне еще скажет Мауве.

На этих днях я рисовал также детей, что мне очень понравилось. На вольном воздухе цвет и тон сейчас прекрасны, и когда я продвинулся несколько в живописи, я доберусь и до того, чтобы передать кое-что из этого; нужно держаться дела, и поскольку я сейчас работаю над рисованием фигур, я буду продолжать эту работу, пока не продвинулся дальше. Если же мне придется работать на воздухе, я буду делать этюды с деревьев, но относиться к ним так же, как к фигурам. Я считаю, что их прежде всего следует рассматривать в отношении контура, пропорций и того, как они относятся друг к другу, — это первое, с чем приходится иметь дело, — затем наступает моделирование, цвет и окружение, — как раз об этих вещах мне и придется как-нибудь поговорить с тобой.

...Да, забыл тебе сказать в прошлом письме, как доволен я, что ты, наконец, едешь в Лондон. Я был бы меньше удовлетворен, если б ты отправился туда навсегда, но хорошо, что ты, наконец, узнаешь этот город. Мне кажется, при долгом пребывании в нем, ты бы вряд ли хорошо себя



Девочка, сидящая на коленях у ведра, 1881.

Девочка стоит на коленях, 1881 г.

om te een gedaekt te van te geven.
 N aturelyk moet ik de menschen die perzeeren betekelen
 wel niet veel maar omdat het dorgelykisch leery
 komt is dit een uitgave meer tot zoelvong ik
 er niet in slaag te bekenningen te versterken.
 Maar daar slechte, zelden een figuur my bevaalt
 mistukt. zoo zullen de kusten van neder en
 nam' i mij voor komt reeds bekekenlyk worden.
 Want voor iemand die een figuur heeft leeren



Девочка стоит, 1881 г.

чувствовал; что касается меня, например, для меня становилось все яснее, что я был там не в своей атмосфере.

Здесь в Голландии я чувствую себя гораздо больше у себя и думаю, что постепенно стану настоящим голландцем. Не находишь ли ты, что это будет самым разумным. Думаю, что стану насквозь голландцем, как по манере рисования и живописи, так и по самому характеру. Тем не менее считаю, что и мне выпадет случай пробыть некоторое время за границей и поглядеть кое-что, что знать бесполезно...

Vincent

39

Эттен, 3 ноября 1881 г.

...Я хотел тебе сказать, что этим летом я очень полюбил Кее Фос¹. Когда же я сказал ей об этом, она ответила, что прошлое и будущее для нее одно и поэтому она не может отвечать на мои чувства.

Я был тогда в страшном разладе с собой, не зная, что делать, примириться мне с ее «нет, никогда, ни за что» или не считать дело решенным и конченным и сохранять бодрость, не теряя надежды. Я избрал последнее и по сегодня еще не раскаиваюсь в этом, хотя все еще стою перед этим: «нет, никогда, ни за что».

¹ Корнелия Адриана Фос-Стриккер.



Девочка гребет, 1881 г.

Само собой разумеется, что с тех пор я пережил множество «маленьких горестей человеческой жизни»; будь они в книге, они повеселили бы того

или другого человека; однако, когда испытываешь их сам, они ни в каком случае не могут. Как бы то ни было, я до сих пор рад, что оставил систему покорности и «ничего не поделаешь» тем, у кого к этому есть охота, сам же сохранил известную бодрость.

В то же время я напряженно работаю и с тех пор, как ее встретил, работа идет значительно лучше...

Здесь был Раппард и привез акварели, очень хорошие. Мауве, надеюсь, скоро придет, в противном случае я сам к нему отправлюсь. Я много рисую и, кажется, дело идет лучше. Больше, чем прежде, работаю я и кистью. Однако так холодно, что я почти исключительно рисую фигуры, – швею, человека, плетущего корзину, и проч...

Если ты когда-нибудь влюбишься и услышишь «нет, никогда, ни за что», не покоряйся. Впрочем, ты такой счастливец, что никогда, надеюсь, на это не наткнешься.

Vincent

40

Эттен, 7 ноября 1881 г.

Дорогой мой!

Меня бы не удивило, если бы мое прошлое письмо произвело на тебя более или менее странное впечатление. Тем не менее надеюсь, что ты благодаря ему уяснил себе общее положение. Крупными штрихами угла я постарался наметить пропорции и плоскости. Раз найдены основные линии, тогда уголь смахивают платком или крылышком и начинают искать контуры уже более интимным приемом.

Это письмо, таким образом, должно быть написано в более интимном, менее жестком и угловатом тоне, чем предыдущее. Прежде всего я должен тебя спросить, не удивляет ли тебя несколько, что на свете есть любовь настолько пламенная и серьезная, чтобы не охладеть, даже от ряда таких: «нет, никогда, ни за что».



Женщина, заштопывающая чулки.

Любовь – это нечто такое положительное, сильное и настоящее, что тому, кто любит, так же невозможно отвергать это чувство, как невозможно покуситься на собственную жизнь. Ты скажешь на это: «Однако есть же люди, налагающие на себя руки»; я отвечу попросту: «Не думаю, чтоб я принадлежал к людям с такими наклонностями».

Я получил огромный вкус к жизни и страшно рад, что люблю. Моя жизнь и моя любовь – одно. <Тебя не радует это «нет, никогда, ни за что», на что ты обратил мое внимание. Но дорогой мой, на текущий момент я сужу об этом «нет, никогда, ни за что», как о кусочке льда, который я прижимаю к своему сердцу и растапливаю.

Размышляя о том, кто же одержит победу – холод этого кусочка льда или теплота моей жизни, – я еще не нашел ответа, так как это очень деликатный вопрос, и я предпочел бы, чтобы остальные тоже пока промолчали, если им нечего сказать, кроме как, что «лед невозможно растопить», что «это безумство» и другие недомолвки...

Что же касается меня, я прижимаю это кусочек льда – «нет, никогда, ни за что», – к своему сердцу, я не знаю иного пути, и если я хочу попытаться и подождать, пока он растает и исчезнет, кто смеет мне помешать??>...

Пусть кто хочет предается меланхолии, мне этого не надо, я желаю быть только радостным, как жаворонок весной. Не хочу петь другой песни кроме: «всегда любить».

Конечно, она любила другого, и мысли ее все еще в прошлом, и даже при допущении о возможности новой любви она, кажется, испытывает упрёки совести...

<Тео, не думай, что с моей стороны опрометчиво или безрассудно то, что я полон энтузиазма в своем деле любви. Не то чтобы победа была уже за мной или она уже полюбила меня, но я продолжаю действовать, как будто наверняка добьюсь ее расположения. Я буду любить ее так долго, что в конце концов она тоже полюбит меня.

Я видел, как она всегда думала о прошлом и с упоением хоронила себя в нем. Потом я подумал: «Как бы я ни уважал это чувство, как бы ни трогала и ни захватывала меня ее глубокая печаль, все же я нахожу в ее глубокой скор-

би нечто роковое. Потому-то она и не должна меня размягчать, наоборот, я обязан быть крепким и решительным, как стальной клинок»>.

Попытаюсь пробудить в ней «нечто новое», что, не уничтожая старого, имело бы по крайней мере столько же прав на существование.

И вот я приступил; сначала – грубовато, неловко, нерешительно; и все закончилось словами: «Кее, я люблю тебя, как самого себя», на что она ответила: «нет, никогда, ни за что». «Никогда, нет, ни за что». – Что можно этому противопоставить? «Продолжать любить!» Ты мне скажешь: «На что же ты будешь существовать, когда получишь ее», а может быть: «Ты ее не получишь». Однако ты не должен так говорить. Кто любит – живет, кто живет – работает, кто работает – у того есть хлеб.

В этом отношении я уверен и спокоен, и это как раз и влияет на мою работу, которая чем дальше, тем больше меня привлекает, ибо я уверен, что мне удастся в ней чего-нибудь достигнуть. Дело не в том, что я собираюсь стать чем-то необыкновенным, но «обыкновенным»-то уж во всяком случае я буду.

К тому же под «обыкновенным» я подразумеваю то, что моя работа станет здоровой и разумной, получит право на существование и будет так или иначе полезной. Ничто, мне кажется, так не обращает нас к действительности, как настоящая любовь. А тот, кто обращен к действительности, разве он на скверном пути? Не думаю...

Vincent

41

Эттен, 9 ноября 1881 г.

...Я был бы очень рад, если б ты тем или другим образом побудил отца и мать, воспринимающих все в таких делах страшно тяжело и до тех пор называвших все то, что я делал этим летом, «непристойным и неделикатным», пока я решительно и определенно не попросил их не употреблять больше таких выражений, – чтобы ты побудил их, говорю я, относиться ко всему этому не так тяжело и быть более добродушными и гуманными.

Одно твое слово будет иметь значительно больше на них влияния, чем все, что я могу сказать. Было бы и для меня и для них много лучше, если б они дали мне спокойно работать...

С тех пор как я люблю по-настоящему, в моих рисунках появилось больше действительности; я сижу в моей комнатухе и пишу, окруженный целой кучей мужчин, женщин и детей из Het Heike¹.

Vincent



Мальчик, стрирующий серпом траву. Вероятно, один из рисунков крестьян из 't Heike, сделанных Винсентом в это время. Был отослан 2 ноября Антону Ван Раппарду.

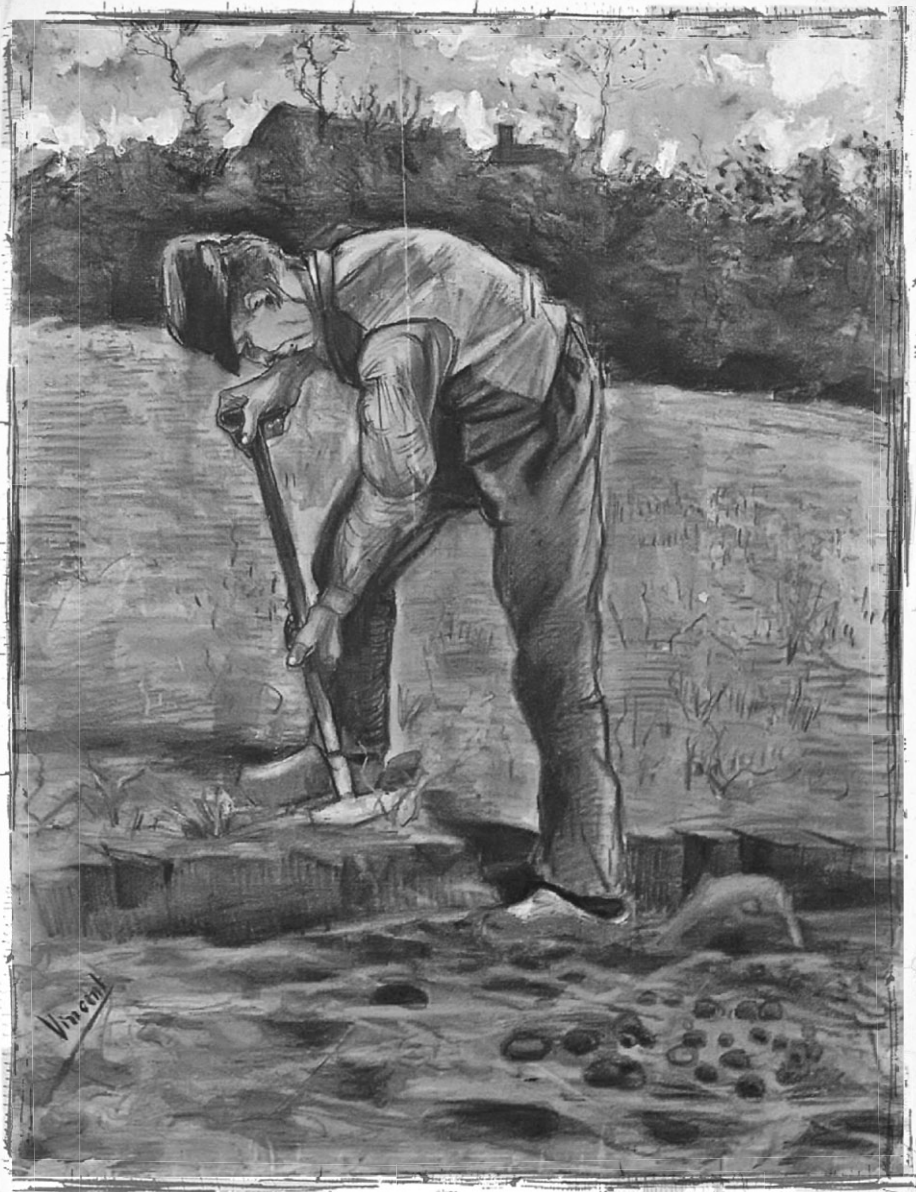
42

Эттен, 11 ноября 1881 г.

...Я послал тебе несколько рисунков, так как думал себе: возможно, он найдет в них кое-что от het Heike².

¹Брабантское 't Heike или Синт Виллеброрд – местность в Северном Брабанте окрестность Эттена, лежащая в 3 километрах к юго-западу от города.

²Точно неизвестно, о каких именно рисунках идет речь.



Копач в картофельном поле, 23 ноября 1881 г.

Скажи мне, почему они не годны для продажи и каким образом мог бы я превратить их в продажные? Мне бы очень хотелось получать время от времени хоть сколько-нибудь денег на поездку, чтобы еще раз испытать это: «нет, никогда, ни за что»...

Vincent

Несмотря на свою невзаимную любовь, Винсент продолжает рисовать крестьян и 23 ноября пишет письмо об одном из рисунков, отосланных Мауве. Вот отрывок из письма об этом рисунке: «Я выслал Мауве рисунок с копачем в картофельном поле, чтобы подать признаки жизни.

Хотелось бы, чтобы он приехал в скором времени. Как только он увидит мои работы, я вышлю тебе пару новых. Если ты предпочитаешь, чтобы я перестал тебе так часто писать, просто скажи мне: «Остановись!». Но, возможно, другое «Остановись» само собой прекратится и время, оставленное мне для переписки, полностью будет потрачено на нее. Но эти неимоверно длинные письма должны закончиться рано или поздно».

43

Эттен, 18 ноября 1881 г.

...Я пишу тебе в маленькой комнате, ставшей теперь моей мастерской, так как прежняя была слишком сырой. Оглядываясь кругом, вижу, что вся она завешана всевозможными этюдами, связанными с одной определенной вещью, а именно – с «брабантскими типами».

Таким образом, это – начатая работа, и если меня изъять из этой обстановки, я принужден буду начинать сызнова, что-нибудь другое, а это все должно быть брошено в полузаконченном виде. Это не должно случиться! Я работаю здесь с мая месяца, начинаю знать и понимать модель, работа идет успешно, однако мне стоило многих мучений, чтобы стать на правильный путь. И вот теперь именно, когда все на ходу, отец изволит мне говорить: «Ты вот пишешь письма к Кее Фос, и между нами возникают неприятно-

сти»¹ ... (в этом вся загвоздка, а что они говорят, будто бы я не придерживаюсь приличных форм, или чего-то в этом роде, – то это пустая болтовня) «... а раз возникают неприятности, то я прокляну тебя и выгоню из дому».

Все это действительно очень серьезно. Было бы смешно из-за этого бросать работу, которую я затеял и которая начинает хорошо выходить.

Нет, нет, так просто дело не пройдет!

К тому же и неприятности-то эти между отцом, матерью и мной вовсе уж не так ужасны, – во всяком случае, они не таковы, чтобы мы не могли вместе жить. Отец и мать становятся старыми, у них свои предрассудки и устарелые воззрения, которые ни ты и ни я уже не можем разделять.

Когда, например, отец видит меня с французской книгой Мишле или Виктора Гюго в руках, ему приходят на ум убийцы, поджигатели и «безнравственность». Это чересчур уж глупо, и само собой понятно, что я не стану тревожиться из-за такой болтовни. Я не раз уже говорил отцу: «Попробуй, прочти хоть несколько страниц из этой книги, она тронет и тебя», он, однако, прямо отказывается.

Как раз теперь, когда эта любовь живет в моем сердце, я заново прочел книги Мишле «Любовь» и «Женщина»² и мне стало ясно множество вещей, которые без этого оставались бы загадкой.

Я без дальнейшего высказал отцу, что в данном случае, если бы мне пришлось выбирать, кого слушаться, мне дороже совет Мишле, чем его. Но тогда они выступают с известной историей о деде, который, будучи одержим французскими идеями, впал в пьянство, намекая таким образом на то, что и я тоже сделаю себе подобную карьеру. Какое убожество!

¹ Несколько писем Ван Гога брату посвящены серьезным разногласиям между ним и родителями, которые не понимали его поведения по отношению к Кее Фос. Ван Гог пересказывает взаимные упреки и охлаждение в отношениях с отцом и матерью.

² Книга Жюль Мишле рассматривает разные этапы жизни женщины. Мишле пропагандирует решительную, бескомпромиссную, активную любовь, считая, что современный мужчина знает, чего он хочет, куда он идет и что делает. По мнению автора, мужчина, не желающий защищать женщину, должен стыдиться себя.

Отец и мать хороши со мной до тех пор, пока они делают, что могут, — хорошо кормят и проч. Я это очень ценю, но это вовсе не исключает того, что человек может удовлетворяться только едой, питьем и сном, а требует чего-то более высокого и благородного и даже просто не может без этого обходиться.

То высшее, без чего я не могу обходиться, это любовь к Кее Фос. Аргумент отца и матери: «Она сказала «нет, никогда, ни за что», и ты должен молчать».

«Но я, наоборот, не могу принять этого. Если я пишу ей, то появляются такие гадкие слова, как «понуждение» и «это все равно не поможет», и «ты сам все портишь». А после они удивляются, что кто-то отказывается признавать свою любовь «неприличной». Нет, никогда! По моему мнению, я должен оставаться здесь, Тео, и тихо продолжать работать и делать все, что в моих силах, чтобы добиться любви Кее Фос и растопить «нет, никогда, ни за что». Я не разделяю мнение отца и матери, что мне не следует писать ей и дяде Стриккеру, на самом деле, я чувствую обратное. И я скорее брошу начатую работу и все удобства этого дома, чем откажусь писать ей или ее родителям, или тебе. Если отец проклянет меня за это, не в моих силах противиться его воле. Если он хочет выгнать меня из дому, да будет так. Но я продолжу делать то, что велят мне мое сердце и разум по отношению к любви.

Не сомневайся, отец и мать действительно против, иначе я не могу объяснить, как они зашли так далеко сегодня утром...»

«...Одно крепкое словцо с твоей стороны способно, может быть, привести все это дело в порядок. Ты поймешь меня, когда я скажу, что нужна «любовь», чтобы трудиться и стать художником, по крайней мере для того, кто в своей работе ищет чувства; нужно чувствовать и жить сердцем. Однако, отец и мать тверже камня в пункте «средства к существованию», как они это называют. Если бы хоть дело шло о немедленной женитьбе, тогда и я должен был бы с ними согласиться, но пока дело идет только о том, чтобы растопить это «нет, никогда, ни за что», а этого не могут сделать никакие средства к существованию.

Тут совершенно другое дело, дело сердца, и поэтому мы, я и она, должны видаться, писать другу другу и говорить друг с другом. Это ясно, как день, — просто и логично.

И воистину, — хоть они меня и считают слабовольным, — ничто на свете не в состоянии меня оторвать от этой любви.

Что же мы должны делать?

Не глупо ли было бы, Тео, из-за того, что отец и мать злятся на мою любовь, прервать мою работу над брабантскими типами и при том как раз сейчас, когда я в ней делаю успехи.

Нет, этому не бывать!

Мне и кажется, что они, бог даст, должны будут этому подчиниться. Было бы глупо, если бы молодой человек вынужден был принести свою энергию в жертву старику. И воистину, отец и мать полны в этом отношении предрассудков.

Нет, послушай меня, брат, было бы уж чересчур жестоко, если б я из-за этого должен был бросить место работы и выкидывать в окно деньги где-нибудь, где все это обойдется дороже, вместо того чтобы зарабатывать небольшую сумму «на путевые издержки».

Нет, нет и нет! Есть нечто извращенное в этом, не может быть ничего правильного в том, что как раз в этот момент они хотят меня выгнать из дома. Для этого нет никаких разумных оснований. Это испортило бы всю мою работу. Так просто, без дальнейшего, это не может выйти.

Что подумала бы «она», если б знала то, что произошло сегодня утром. Она ведь так добра и приветлива, ей причиняет душевную боль, когда проносят хоть одно недоброе слово; но когда эти будто бы столь деликатные, нежные, столь любвеобильные люди, когда они восстают, задетые за живое, — тогда горе тем, на кого они поднимаются.

Пусть же не случится, мой дорогой брат, так, что и она восстанет на меня. Мне думается, она начинает понимать, что я не вор, не насильник, но наоборот, — внутренне тише и покойнее, чем это кажется по внешности. Она усвоила это не сразу, вначале у нее действительно было неблагоприятное представление обо мне, — но вот, не знаю почему, именно тог-

да, когда атмосфера становится тяжелой и мрачной от неприятностей и проклятий, оттуда, с ее стороны, поднимается свет. Итак, дорогой мой, как только ты мне пришлешь «на путевые издержки», то тотчас же получишь три рисунка: «За трапезой», «Человек, зажигающий огонь» и «Ночлежник». Пришли мне, если можешь, эти деньги; путешествие будет не бесполезным, хоть в одном отношении. Если я получу 20 или 30 франков, то по крайней мере увижу еще раз ее лицо. Если у тебя есть охота, то напиши им несколько строчек насчет решения о моем изгнании; мне бы так хотелось поработать здесь спокойно; это было бы для меня приятнее всего. Мне нужна «она» и «ее влияние», чтобы достигнуть еще более художественного уровня; без нее я — ничто, а с ней предо мной открыты перспективы. Жить, работать и любить — это, в сущности, одно и то же. Ну, до свиданья, жму руку.

Одно слово от тебя «из Парижа» способно, может быть, склонить чашу весов в мою сторону, даже вопреки их предрассудкам.

Vincent

Engeland als in Frankrijk & België dat 2e hoog 14d werd ik weer een
wel hier bleef. Weet je wat deze dagen prachtig mooi is
de weg naar 't station & naar de leeu met die oude knolwaggen
ge hebt en zelf een sepi van. Hoe mooi die boomen en
zijn kan de u met zessen heb een stuk of 7 grote sluis
van enkele stammen gemaakt.
Ik weet vast en zeker dat als
je nu deze dagen terug de
bladeren vallen al was. I'slechts





Мужчина, кладущий сухие ветки в огонь,
18 ноября 1881 г.

Рисунок к другому письму к Тео, написанному Винсентом в тот же день. В письме он много пишет о конфликтах с отцом из-за Кее Фос: «Все это приносит мне много печали и горя, но я отказываюсь принимать, что отец вправе проклинать своего сына и (вспоминая о прошедшем году) хочет отправить его в сумасшедший дом, называя его любовь «незрелой и грубой»». Меж тем он не перестает рисовать хоть и видит отголоски любви к Кее даже в том, как он рисует: «К своему сожалению, я все еще нахожу что-то грубое и жесткое в моих рисунках, и я думаю, что «она», а точнее «ее» влияние смогут смягчить этот эффект».

44

Гаага, между 1 и 3 декабря 1881 г.

Дорогой Тео! Как видишь, пишу тебе из Гааги.

Я здесь с прошлого воскресенья. Как тебе известно, план состоял в том, что Мауве должен был приехать на несколько дней в Эттен, но я опасался, что из этого ничего не выйдет или что его посещение окажется слишком корот-

ким, и поэтому собрался попробовать и решить что-нибудь радикально. Я говорил с Мауве: «Не считаешь ли ты более правильным, если б я обременил тебя приблизительно на месяц? В течение этого времени я прошел бы через первые маленькие горести живописи и отправился бы обратно во-свояси».

Мауве сейчас же поставил мне натюрморт, — пару старых деревянных башмаков и других предметов, — и я, таким образом, мог приступить к работе. Вечером я хожу к нему для рисунка. Живу я вблизи Мауве, в маленькой гостинице, где плачу 30 гульденов в месяц за комнату и завтрак. Таким образом, если я могу рассчитывать на 100 франков от тебя, то дело пойдет.

Мауве обнадеживает меня, что я через сравнительно короткое время буду делать рисунки на продажу. Под конец он сказал: «Я всегда думал, что ты бродяга, а теперь я вижу, что это не так». Смею тебя заверить, что это прямое слово мне доставляет больше удовольствия, чем мог бы доставить целый воз иезуитских комплиментов. Мауве, может быть, скоро сам тебе напишет.

Был я как-то у Терстеха; из художников встретил я у него веселого Вейсенбруха, Юлиуса Бакхейзена и де Бока...

Vincent

45

Гаага, 18 декабря 1881.

<...Я продолжаю ежедневно ходить к Мауве... Я уже сделал 5 этюдов и 2 акварели и, конечно же, несколько набросков.

Не могу выразить, как добры были ко мне все эти дни Мауве и Джет¹. Мауве показал и рассказал мне многое, что я не могу сразу же применить, но в чем буду постепенно упражняться. Но я должен продолжать усердно работать, и когда я снова окажусь в Эттене, будут необходимы некоторые перемены.

¹ Жена Антона Мауве.



Сквенингенская женщина шьет.

...Но Тео, я уехал почти месяц назад, и ты поймешь, что мои расходы стали выше, чем обычно. К слову, Мауве снабжал меня разными вещами: красками и пр., но мне приходилось покупать то одно, то другое, я также несколько дней платил модели. Еще мне понадобилась пара обуви. Кроме того, я не всегда следил за каждым пенни и значительно превысил лимит в 100 франков, все путешествие стоило мне 90 гульденов¹. Мне кажется, что отец теперь достаточно стеснен в средствах, и я не знаю, что мне делать.

...И вот я пишу тебе, чтобы сказать это. У меня нет средств, чтобы остаться и нет средств, чтобы вернуться. Я подожду пару дней и сделаю так, как ты хочешь.

Думаешь ли ты, что мне лучше побыть здесь какое-то время? Я бы очень хотел здесь задержаться и не возвращаться до тех пор, пока не достигну хорошего прогресса.

Если ты хочешь, чтобы я немедленно возвращался, меня это устроит. При условии, что я найду где-нибудь хорошую комнату, что-то больше, чем маленькая студия дома. Тогда я бы смог перебиться какое-то время и вернуться в Гаагу позже. В любом случае, Тео, Мауве настолько просветил меня касательно загадок палитры и рисунка акварелью! И это компенсирует те 90 гульденов, в которые обошлась мне поездка. Мауве говорит, что солнце уже встает для меня, но оно еще укрыто в тумане. Что ж, я ничего не могу возразить против этого. Когда-нибудь я расскажу тебе больше о том, как был добр Мауве.>

Vincent

46

Эттен, 23 декабря 1881 г.

Бывает, что бросаешь книгу, потому что она чересчур уж реалистична, – так вот, будь милосерден и терпим к этому письму; во всяком случае, как бы оно ни было страшно, прочти его.

¹ Гульден – денежная единица Нидерландов.

Дорогой Тео!

Как я уже писал тебе из Гааги, у меня есть о чем с тобой поговорить, в особенности после того, как я оттуда возвратился. Не без волнения думаю я об этом путешествии. Когда я явился к Мауве, сердце у меня слегка стучало, так как я думал про себя: не попытается ли он накормить меня приятными словами, а может быть, наоборот, здесь я найду нечто другое. Что меня, однако, с ним примирило, так это то, что он меня сердечно и практически наставил и, как мог, воодушевил. Не то, чтобы он находил хорошим все, что бы я ни говорил и ни делал, — наоборот. Но говоря мне, что то-то и то-то ничего не стоит, он тотчас же прибавлял: «Однако попробуй это сделать так-то или так-то», а это уже нечто совсем другое, нежели когда говорится только для того, чтобы что-нибудь сказать. Если тебе говорят, что ты болен, от этого не велика помощь, но когда тебе скажут, сделай то-то или то-то и будешь здоров, причем совет дается без обмана, тогда это правильно, это возможно! Итак, я возвратился от него с несколькими написанными этюдами и парой акварелей. Конечно, это — не произведения мастера, но тем не менее я убежден, что в них есть нечто здоровое и правильное, во всяком случае, более здоровое, чем все, что я делал до сих пор.

Вот почему полагаю, что я, наконец, начал делать нечто более серьезное, а поскольку теперь я располагаю несколько большими техническими средствами, а именно красками и кистью, то и дела мои, так сказать, стоят наново.

И вот теперь надо все это осуществить практически, и первое, что тут нужно, это найти достаточно большое помещение, дабы можно было соблюдать надлежащее расстояние при работе. Мауве сейчас же, как только увидел мои рисунки, так и сказал: «Ты сидишь слишком близко к модели». Из-за этого часто нет почти никакой возможности взять правильные измерения для пропорций, а это несомненно самое первое, на что я должен обращать внимание.

Итак, я должен попытаться снять достаточно большое помещение; будь то комната или сарай; это и обойдется не так уж дорого. Наем рабочего домика стоит здесь, в деревне, 30 гульденов в год, а помещение в два раза больше, вероятно, 60 гульденов.

В этом нет ничего недостижимого. Я только что видел сарай, но с ним, особенно в зимнее время, связано слишком много неприятностей. Конечно, я мог бы в нем работать во время более мягкой погоды, и в конце концов, думаю, здесь в Брабанте, не только в Эттене, но и в других селениях, найдутся модели в случае, если б в этом отношении возникли какие-нибудь препятствия. Как бы то ни было, хотя я и очень ценю Брабант, у меня есть интерес и к другим, не только брабантским крестьянским типам.

Тео, какая это великая вещь – тон и цвет! Кто не умеет чувствовать их, как далек тот от жизни! Мауве научил меня понимать множество вещей, которых я прежде вовсе не видел; то, что он мне сказал, я при случае сообщу тебе, ведь может случиться при этом, что и ты еще плохо видишь. Вообще мы с тобой, надеюсь, еще поговорим как-нибудь о художественных вопросах.

Ты можешь себе представить, какое чувство, облегчения я начинаю испытывать, когда припоминаю еще и то, что мне сказал Мауве касательно заработка. Вспомни только, как годами я бился, оставаясь, так сказать, в ложной позиции, и вдруг появился луч настоящего света.

Мне хотелось бы, чтобы ты увидел обе акварели, которые я привез. Ты понял бы, что они не таковы, как прежние. Возможно, в них еще много несовершенного, пусть так! И я буду первым, кто это скажет; я даже еще очень недоволен ими; но все же это нечто иное, чем то, что я делал до сих пор; и они выглядят свежее и здоровее. Это опять-таки не исключает того, что они должны стать еще более свежими и здоровыми, но ведь сразу не сделаешь того, что хочешь, это достигается постепенно.

Хотя Мауве и сказал мне, что если бы я поработал так еще несколько месяцев и побывал бы затем, хотя бы в марте, опять у него, я мог бы делать настоящие, продажные рисунки, тем не менее я нахожусь еще в очень трудном периоде. Расходы на модель, мастерскую, рисовальные и живописные принадлежности растут, а заработков еще нет.

Отец, правда, сказал, что я могу не беспокоиться относительно необходимых расходов, ибо у него хорошее мнение о том, что сказал Мауве относительно привезенных мной этюдов и рисунков, но я счел бы сплошным несчастьем, если бы он должен был терпеть из-за этого убытки.

С тех пор, как я здесь, отец на самом деле ничего на мне не заработал и в то же время не раз покупал для меня то штаны, то куртку, которые я предпочел бы не иметь, хотя они мне страшно нужны; отец не должен на это тратить, тем более, что эти штаны и куртка мне не впору, а наполовину, а то и вовсе непригодны. Итак, еще раз — «маленькие невзгоды человеческой жизни».

Отец к тому же вовсе не такой человек, к которому я мог бы чувствовать то, что чувствую к тебе или к Мауве. Я очень считаюсь с отцом, но это совсем другого рода симпатии, нежели мои отношения к тебе или к Мауве. Отец не может мне сочувствовать и сжиться со мной, а я не могу приспособиться к его системе, она для меня слишком узка, я бы задохнулся в ней.

Когда я рассказываю отцу о том или другом, для него это пустой звук, а я, в свою очередь, воспринимаю проповеди и понятия отца о боге, людях, нравственности и добродетели, как глупую болтовню. Я тоже читаю библию, как читаю иногда Мишле, Бальзака и Элиот, но в библии я опять-таки вижу совсем другие вещи, чем отец. То, что он вылавливает по академическим рецептикам, того я вовсе там найти не в состоянии.

Когда пастор тен Кате перевел гетевского «Фауста»,



Сеятель, рисунок 1881 г.

Из письма Антону Раппарду:

«Только через год или два я смогу нарисовать Сеятеля, который будет по-настоящему сеять (<а не позировать> (прим. ред.))».

отец и мать прочли как-то эту книгу: то, что пастор-де перевел, не может быть слишком уж безнравственным (??? что это за штука такая). Однако в этой книге они не увидели ничего другого, кроме несчастных последствий постыдной любви.

Так же мало, я уверен, понимают они и Библию. Возьми, например, Мауве: когда он читает что-либо глубокое, он не говорит ведь так, попросту, без дальнейшего: «Человек выражает здесь то-то». Поэзия ведь настолько глубока и непостижима, что далеко не все можно так определить. Мауве тонко чувствует, а я считаю, что чувствовать значительно вернее, чем критиковать и определять. Когда я читаю (а читаю я не так уж много и к тому же немногих писателей, нескольких, случайно найденных мной людей), я читаю их потому, что они смотрят на вещи с большей любовью, чем я, и знают лучше действительность, — и я читаю их, дабы поучиться у них. Со всей же шумихой про добро и зло, про нравственность и безнравственность я, в сущности, очень мало считаюсь. Ибо воистину, я не в состоянии всегда знать, что есть добро и зло, что нравственно и безнравственно. Упоминание о нравственном и безнравственном невольно приводит меня к К.Ф. Ах, я уже писал тебе, что чем дальше, тем меньше это дело становится похоже на весенний цветок. Прости меня, если я должен впасть в повторения, но не знаю, писал ли я тебе подробно о том, что я пережил в Амстердаме.

Я отправился туда, думая: погода мягкая, не заставит ли это оттаять и ее «нет, никогда, ни за что». И вот в один прекрасный вечер я стал бродить по улице Кейзерсграхт в поисках ее дома — и нашел-таки его. Потом оказалось, что я могу даже войти, и они оказались тут все, кроме Кее.

Перед каждым из них была тарелка, но не было ни одной лишней; эта маленькая особенность бросилась мне в глаза. Хотели сделать вид, будто Кее нет, и убрали тарелку; я же знал, что она только что была здесь, и принял все это за комедию и глупую игру. Спустя некоторое время — после нескольких обычных фраз и приветствий — я спросил: «А где же Кее?» Тогда дядя Стриккер повторил мой вопрос, обратившись к своей супруге: «Мать, где Кее?» И хозяйка дома ответила, что Кее не дома. И пока не стал спрашивать дальше и начал болтать о выставке в «Arti...» и проч.

После еды все скрылись, кроме дяди Стриккера, его супруги и известной персоны, которые все сели в позитуру. Дядя С., как священник и отец, взял слово и сказал, что он собирался как раз послать письмо по поводу данного дела соответствующему лицу, а теперь прочтет его сам, на что я опять-таки спросил: «А где же Кее?», так как я знал, что она находилась в городе. Тогда дядя С. сообщил: «Кее оставила дом, как только услышала, что ты здесь». Я ее знаю не много, однако должен тебе сказать, что и тогда не знал и сейчас еще с уверенностью не знаю, является ли ее холодность и суровость дурным или добрым признаком. Знаю я только, что никогда не видал ее — по наружности или на самом деле — холодной, отталкивающей и грубой. Поэтому я не возражал и остался совершенно спокойным. «Пусть себе читают письмо, мне до него мало дела». Наступило чтение послания. В нем собственно ничего другого не было, кроме просьбы ко мне прекратить мою переписку, и затем мне преподавался совет — сделать энергичную попытку выбить у себя из головы все это дело. Наконец, прочтение письма было закончено, я себя чувствовал совершенно так, будто услышал в церкви, как священник после соответствующих понижений и повышений голоса произнес аминь. Все это оставило меня столь же равнодушным, как обычная проповедь. Тогда, в свою очередь, начал я и сказал, так спокойно и вежливо, как только мог: ну да, я уже не раз слышал, как вы резонерствуете на этот лад — ну, а дальше что?

Дядя Стриккер поднял взор, он казался пораженным, что еще я не совершенно убежден в том, что в данном случае были достигнуты все, самые крайние границы возможности человеческого разума и чувства. По его мнению, никаких «дальше» тут и быть не могло. Таким-то образом мы продолжали. От времени до времени слышалось и словцо от тетки М. Мы несколько разгорячились, я перешел в нападение, да и дядя С. стал нападать, поскольку вообще допустимо нападать священнику.

И хоть он и не сказал прямо: «Будь проклят», но при данном его настроении другой, не священник, выразился бы именно так. Ты, однако, знаешь, насколько я, по-своему, ценю отца и дядю С., и вот я стал лавировать, кое-что им уступил, кое-что у них отбил, так что под конец вечера они мне

сказали, что если я хочу у них переночевать, то могу. На что я ответил: «Покорно благодарю, но раз Кее убегает из дома, когда я появляюсь, я не считаю данный момент подходящим для того, чтоб оставаться здесь, и отправлюсь в гостиницу». Они меня спросили: «Где ты остановился?» Я сказал, что еще не знаю, где; тогда дядя и тетка настояли на том, чтобы самим отвести меня в дешевую гостиницу. И, о боже! оба старика пошли со мной по холодным, туманным и грязным улицам и действительно указали мне очень хорошую и очень дешевую гостиницу. Я ни за что не хотел, чтоб они шли, а они во что бы то ни стало желали мне показать, что пойдут. И знаешь ли, в этом я нашел нечто человеческое, и это успокоило меня.

Два дня еще оставался я в Амстердаме и говорил еще с дядей С., но Кее я так и не видал; они каждый раз заставляли ее скрываться. Я все же сказал им, что хотя они и хотели бы считать историю конченной, они все же должны знать, что с моей стороны я этого сделать не могу, на что они неизменно и настойчиво твердили, что позднее я лучше научусь понимать это.

В течение тех трех дней, когда я бегал по Амстердаму, я смертельно скучал, чувствовал себя до последней степени несчастным, а эта полуприветливость дяди и тетки, все это резонерство было мне тянуло. Наконец, все это стало мне неважно, и я сказал себе: «Итак, в конце концов, ты опять собираешься впасть в меланхолию?» И тогда я сказал себе: нет, не давай себя одурачить.

В одно воскресное утро я пошел в последний раз к дяде С. и сказал: «Послушай, дорогой дядя, будь Кее ангелом, она была бы слишком высока для меня; не думаю, чтобы я мог быть влюбленным в ангела. Будь она дьяволом, я бы еще хотел с ней иметь дело. Но при данных обстоятельствах я вижу в ней только настоящую женщину, с женскими страстями и настроениями, и я страшно дорожу ею; так обстоит дело, и я рад этому; поскольку она не ангел и не дьявол, я не считаю вопрос поконченным». Дядя С. мог на это мало что ответить и сам стал говорить о женских страстях, — в точности не знаю, что он там говорил; потом он отправился в церковь. Не удивительно, что люди каменеют и ожесточаются в церкви; мне известно это по собственному опыту. Что касается меня, твоего брата, то я не желал быть одураченным.

Должен ли я, дружище, рассказывать тебе дальше? Рискованно быть реалистом! – Но Тео, Тео, – ты ведь сам реалист, стерпи же и мой реализм! Я уже говорил тебе, при нужде мои тайны – не тайны, и я не беру этих слов назад. Думай обо мне, что хочешь, но с хорошей или дурной стороны воспримешь ты то, что я сделал, это не меняет дело.

Продолжаю: из Амстердама я отправился в Гаарлем. Побыл очень уютно с нашей милой сестренкой, погулял с ней; вечером поехал в Гаагу и часов в 7 прибыл к Мауве.

Я сказал ему: «Слушай, тебе надо было бы приехать в Эттен и попытаться посвятить меня в таинства палитры. Однако я полагаю, что этого нельзя сделать так, «за здорово живешь», в несколько дней, вот почему я прихожу



Копач, рисунок 1881 г.



к тебе, и если ты одобришь, то останусь здесь в течение четырех или шести недель, одним словом, так долго, как тебе это угодно, и тогда посмотрим, что мы можем сделать. Бессовестно с моей стороны так много от тебя требовать, но у меня нож в сердце».

Тогда Мауве спросил: «Привез ли ты что-нибудь с собой?» «Да, вот несколько этюдов!» После этого он сказал про них много хорошего, чересчур много; но вместе с тем он сделал и несколько замечаний, чересчур мало. На следующий день мы поставили натюрморт, и он начал меня поучать: «Ты должен держать палитру вот так».

Я написал несколько этюдов и затем сделал еще две акварели.

Таков итог. Но работа головой и руками не есть еще вся жизнь. От вышеназванной, воображаемой или действительной, церковной стены я постепенно чувствовал холод в мозгу и в ногах, — в мозгу и ногах души моей. «Не хочу подчиняться этому роковому чувству», сказал я себе. Затем подумал: хочу быть женщиной, не могу жить без женщины. Я не дал бы ни гроша за жизнь, не будь эта жизнь нечто бесконечное, глубокое, действительное. «Однако, — сказал я самому себе, — ты говорил: только она, и никто другой, — а сам хочешь идти к женщине». И мой ответ на это был: «Кто же господин — логика или я; логика существует для меня, или я для логики, и в самом ли деле нет ничего разумного и осмысленного в моей неразумности. Не знаю, правильно или неправильно я поступаю, но не могу

Крестьянин с ножом, рисунок 1881 г.

иначе; эта проклятая стена чересчур холодна для меня, буду искать себе женщину, – не хочу, не могу жить без любви. Я человек со страстями, я должен быть с женщиной, иначе замрзну или окаменею или, наконец, погибну.

Впрочем, я переживал внутри сильную борьбу, и в этой борьбе победили некоторые вещи, касающиеся физики и гигиены, в которые я верю и о которых я знаю по достаточно горькому опыту. Слишком долгое пребывание без женщины не остается безнаказанным. Я не верю, что то, что одни именуют богом, другие высшим существом, а третьи – природой, было бы несправедливым и бессердечным. Одним словом, я пришел к заключению, что надо испытать еще раз, не смогу ли я найти женщину. Ах, бог мой, я недолго ее искал. Я нашел женщину, далеко не молодую, далеко не красивую, не отличающуюся, если хочешь, ничем особенным.

Ты, конечно, более или менее любопытствуешь. Она была довольно высокого роста, сильного сложения, у нее, правда, не было дамских ручек, как у Кее, но руки, как у человека, который работает. Однако она вовсе не была грубой и пошлой, в ней было нечто женственное. В ней было нечто от забавной фигурки Шардена или Фрер или, может быть, Яна Стеена, – одним словом, это было то, что французы называют *une ouvrière*, работница. Видно было, что она испытала много горя, и жизнь прошла по ней. Ах, в ней не было ничего изысканного, исключительного, особенного, необычного. («Каждая женщина и во всяком возрасте, если она любит и если она добра, может дать человеку не бесконечность момента, но момент бесконечности».)

Для меня, Тео, эта особая печать, свойственная всему отцветшему, всему тому, по чему прошла жизнь, имеет бесконечно много очарования. Ах, было это очарование и в ней, я видел в ней нечто от Фейен-Перрена, от Перуджино. Как видишь, я совсем не так невинен, как желторотый птенец, или, вернее, как дитя в колыбели.

Уже не в первый раз я не в состоянии оказать сопротивление этому влечению к любви, и притом как раз к женщинам, которые проклинаются попами, которых они осуждают и презирают с высоты своих кафедр. Я не проклиная их, не осуждаю, не презираю их. Мне, видишь ли, уже почти

тридцать лет, – неужели же ты думаешь, что я никогда не испытывал потребности любить. К.Ф. старше еще, чем я; в прошлом у нее тоже была любовь, но потому-то она и дорога мне. Она понимает это, и я тоже.

Раз она желает чахнуть от прежней любви и не хочет ничего слышать о новой, – ее дело; и поскольку она это проводит в жизнь, избегая меня, я уже не могу задавить в себе энергию и духовные силы. Нет, я не хочу этого! Я люблю ее, однако не хочу во имя ее заморозить себя и парализовать свой дух. Жало, искра, которая нам нужна, это – любовь, и вовсе не обязательно любовь мистическая.

Эта женщина превзошла мои ожидания, – ах, тот, кто считает всех этих девушек за обманщиц, тот ошибается, тот мало в чем разбирается. Она отнеслась ко мне хорошо, очень хорошо, исключительно хорошо и очень ласково; в каком отношении? – не скажу об этом брату моему Тео, так как полагаю, что брат Тео, наверное, и сам когда-нибудь испытал что-либо подобное.

«Тем лучше для него!»

Много ли мы вдвоем истратили? – Нет, у меня было кое-что, и я сказал ей: «Послушай, ни тебе, ни мне нет нужды напиваться для того, чтобы чувствовать друг друга, положи-ка лучше в карман то, без чего я могу обойтись». Я желал бы иметь больше того, без чего я мог бы обойтись, так как она стоила этого.

И мы болтали о всякой всячине, – об ее жизни, заботах, нужде, здоровье, и у меня был с ней значительно более оживленный разговор, чем, например, с моим ученым профессором – двоюродным братцем.

Я рассказал тебе обо всем этом, в сущности, для того, чтобы ты понял, что хотя я и обладаю некоторой чувствительностью, все же не собираюсь становиться сентиментальным до глупости, и что я хочу во что бы то ни стало сберечь несколько жизненной теплоты и сохранить дух бодрым, а тело здоровым, дабы быть в состоянии работать; чтоб ты видел, что и любовь к К.Ф. я понимаю только в тех пределах, которые не дают во имя ее впадать в меланхолию за работой и опускаться. Если я в чем и раскаиваюсь, то только в том, что было некогда время, когда я допустил себя увлечь мистическим

и теологическим глубокомыслием и слишком уж погрузился в самого себя. Постепенно я отошел от этого. Когда проснешься утром и чувствуешь, что ты не один, и видишь в сумерках близкого тебе человека, это делает мир более привлекательным, нежели все поучительные книги и белые церковные стены, в которые влюблены попы.

Комнатка, где она жила, была проста и уютна, с простыми обоями, покойного серого тона; тем не менее она была тепла, как картина Шардэна; пол покрыт половиком и куском темно-красного ковра, обычная кухонная печь, комод, большая, очень простая постель, — одним словом, комната настоящей работницы.

На следующий день она должна была стирать. В фиолетовой кофте и черной юбке мне она казалась такой же привлекательной, как и в своем коричневом, или, скорее, серо-красном платье.

Она была уже не молода, может быть, того же возраста, как и К.Ф., у нее был ребенок; да, жизнь прошла по ней, и молодость ушла. Ушла? Il ny a point de vieille femme («Нет старых женщин»). Она была сильной, здоровой и в то же время не грубой и не пошлаой. Те, кто так много придают значения изысканности, могут ли они всегда понять, что такое на самом деле изысканность!

Бог мой! Люди так часто ищут ее то в высоте, то в глубине, когда она находится рядом, я сам поступал иногда так же. Я доволен, что сделал то, что сделал, потому что считаю, что ничто на свете не должно препятствовать моей работе и ничто не должно быть причиной того, чтобы мне терять мою бодрость.



Крестьянин с палкой, рисунок 1881 г.

Когда я думаю о К.Ф. я, правда, еще говорю: «Только она и никто другой». Но эти женщины, проклинаемые и осужденные попами... Не со вчерашнего дня лежит у меня к ним сердце. Да, я чувствую к ним любовь, которая, в сущности, старше моей любви к К.Ф. Когда я в полном душевном одиночестве иногда бродил по улицам, смертельно скучая, полубольной, нищий, без копейки в кармане, я смотрел им вслед и завидовал тем, кто мог пойти с ними. У меня было такое чувство, будто эти бедные девушки были по своим жизненным обстоятельствам и жизненному опыту моими сестрами. Это, видишь ли, уже старое чувство, и сидит оно во мне глубоко. Еще будучи мальчиком, я вглядывался не раз с глубокой симпатией и уважением в полузавядавшее женское лицо, на котором было, так сказать, написано: по нему действительно прошла жизнь. Мое чувство к К.Ф., однако, нечто совсем новое и совсем другое. Не ведая того сама, она находится как бы в тюрьме, она тоже бедна и не в состоянии сделать и позволить себе то, что она хочет. И вот явилась в ней своего рода покорность, и мне кажется, что иезуитизм попов и ханжей зачастую оказывает на нее большее влияние, чем на меня, тот самый иезуитизм, который, поскольку мне как раз удалось заглянуть ему в карты, уже не действует на меня. Она же считается с ним и не могла бы выдержать, если б открылось, что вся система покорности, греха, бога и всякого такого только пустое воображение. До ее сознания, кажется, не доходит, что бог, может быть, начинается только с того момента, когда мы произносим это слово, чем и кончает Мультатули свою молитву неверующего: «О боже, нет бога».

Я считаю его мертвым, этого поповского бога. Атеист ли я поэтому? Попы считают меня таковым, — пусть так! — но ты сам видишь, я люблю, а как мог бы я чувствовать любовь, если б я не жил сам и если бы не жили другие, а поскольку мы живем, то в этом есть нечто чудесное. Называй это богом, или человеческой природой, или чем хочешь, но есть нечто, что я не могу определить и что, хотя оно вполне жизненно и полно, кажется мне своего рода системой, и вот это-то, видишь ли, и есть мой бог, или нечто вроде моего бога.

И вот, боже мой, я люблю К.Ф. по тысяче причин, но как раз потому, что я верю в жизнь и в нечто реальное, я уже перестал быть таким отвлеченным,

каким был раньше, когда у меня насчет бога и богослужения были такие же взгляды, какие, кажется, есть и у К.Ф. Я не отказываюсь от нее, однако, душевному кризису, в котором она, вероятно, находится, надо дать время; буду терпелив, и ничто из того, что она делает и говорит, не озлобляет меня. Но в то время, когда она держится и цепляется за старое, я должен работать, должен обладать ясным духом для живописи, рисования и дел. Итак, я сделал то, что сделал, нуждаясь в жизненной теплоте и считаясь с требованиями гигиены.

Я рассказываю тебе все это, чтобы ты опять не подумал, что я нахожусь в меланхолическом или абстрактно-глубокомысленном настроении, — наоборот, я большей частью занят мыслями о красках, акварели, поисками мастерской и проч. и проч. Ах, дружище, если б мне, наконец, удалось найти подходящую мастерскую!..

Vincent

47

Гаага, 29 декабря 1881.

Дорогой Тео!

Прими благодарность за твое письмо и за его содержание. Я снова находился в Эттене, когда получил твое письмо, после того как (об этом я тебе уже писал) договорился с Мауве. Теперь, как видишь, я снова возвратился в Гаагу. На Рождестве у меня произошла с отцом довольно бурная сцена, и волны поднялись так высоко, что отец сказал: «Было бы лучше, если бы ты вообще ушел из дому». Это было сказано так определенно, что я действительно уехал в тот же день. В сущности, все это произошло оттого, что я не пошел в церковь, сказав, что ежели хождение в церковь принудительно и я поэтому должен идти в церковь, то я наверняка не пойду туда даже из вежливости, как я это делал почти регулярно во все время моего пребывания в Эттене. Но, увы, в сущности, за этим таится значительно больше и, между прочим, и вся та история, которая произошла этим летом между мной и К.Ф.

Я был так раздражен, как не был, сколько помню, никогда в жизни, и прямо высказал, что нахожу отвратительной всю эту систему богопочитания.

Я сказал это потому, что в течение всей своей несчастной жизни я был чересчур погружен в эти вещи и не желаю больше иметь с ними дела и должен беречься их как чего-то рокового. Может быть, я чересчур был раздражен — пусть так, но даже если это и так, дело раз навсегда покончено. Я возвратился к Мауве и сказал: «Послушай, Мауве, в Эттене дело у меня не пойдет, я должен жить где-нибудь в другом месте, лучше всего здесь!» Тогда Мауве сказал: «Тогда лучше здесь». И вот я здесь снял мастерскую, комнату с альковом, которую можно приспособить под мастерскую довольно дешево, но за городом, в десяти минутах от Мауве. Отец мне сказал, что если мне потребуются деньги, он в крайнем случае может мне их одолжить, но теперь это уж не годится. Я должен быть от него совершенно независимым. Каким образом? Этого я еще не знаю, но Мауве в случае нужды хочет мне помочь, а я надеюсь и рассчитываю на тебя. Само собой разумеется, я буду работать и стараться, поскольку могу, что-нибудь заработать.

Я должен превозмочь тяжелое время. Вода поднимается высоко, может быть, до самого рта, а может быть и еще выше, как знать наперед? Но я выдержу сражение, дорого продам жизнь, буду пытаться выиграть и стать на ноги.

1 января я переезжаю в мастерскую. Что касается мебели, возьму самое простое — обыкновенный деревянный стол и пару стульев. Вместо кровати я должен буду удовольствоваться шерстяным одеялом на полу: Мауве однако, хочет, чтобы я взял кровать, и в случае необходимости собирается мне ее одолжить. Ты понимаешь, что я страшно погружен в заботы и предвижу еще много возни; однако меня успокаивает все же то, что я уже так далеко зашел, Что не могу возвратиться вспять, и хотя путь мой тяжел, все-таки рисуется он мне довольно отчетливо.

Само собой понятно, Тео, что я прошу тебя посылать мне время от времени, что можешь, не стесняя, однако, себя самого.

Нескончаемый поток писем, который влюбленный Винсент шлет своей кузине Кее Фос, приводит к его разрыву с родителями и переезду. Не получив ответ ни на одно из от-

правленных писем, Винсент решает приехать в Амстердам, чтобы увидеть Кее. Однако уставшая от постоянных объяснений Кее сбегает из дома, стоит Винсенту прийти в гости. Все, что ему удастся, – побеседовать со своим дядюшкой Стриккером. Винсент несколько раз приходит к Кее, пока, наконец, дядюшка не объясняет Винсенту, что Кее убегает из дома, стоит ей узнать, о том, что Винсент пришел. В своем упорстве Ван Гог доходит до нелепой попытки нанесения себе увечий, о чем сам он позже напишет брату (см. письмо №65 от 16 мая 1882 г. (прим. ред.)). Он просит дать ему возможность видеть Кее столько времени, сколько он сможет продержат руку в огне зажженной лампы. В ответ дядя Стриккер просто убирает руку Ван Гога. Беспокоясь за психическое состояние сына, чье поведение довольно трагично, родители безуспешно пытаются уговорить его лечь в психиатрическую клинику. Итогом очередной ссоры становится переезд Винсента.

Дом на улице Схенквег в Гааге, где находилась комната Ван Гога с января 1882 года.



Гаага, начало января 1882 г.

...Моя мастерская устраивается. Хотелось бы, чтобы ты ее видел. Я повесил все свои этюды, ты тоже должен прислать мне те, которые у тебя; они могут оказаться мне полезными. Может быть, они и не годятся для продажи, и я сам охотно готов признать их недостатки, но в них все-таки есть какая-то доля от натуры, ибо они сделаны с известной страстностью.

Как тебе известно, я мучаюсь с акварелями. Когда удастся дойти в них до некоторой ловкости, они смогут пойти на продажу.

Уверяю тебя, Тео, когда я был в первый раз у Мауве с моими рисунками пером, и Мауве мне сказал: «ты должен попробовать углем, мелом, кистью и протиркой», мне стоило массу труда, чтобы работать с новым материалом. Я был терпелив, но ничто, казалось, не было в состоянии мне помочь, и я часто доходил до такого нетерпения, что ломал уголь и впадал в полное и совершенное отчаяние.

И все-таки, некоторое время спустя, я прислал тебе несколько рисунков, сделанных мелом, углем и кистью, и возвратился к Мауве с целой массой их, причем Мауве вполне справедливо сделал, конечно, по поводу их, так же как и ты, ряд замечаний. Все-таки я сделал шаг вперед.

Сейчас я тоже нахожусь в этакоем периоде борьбы и уныния, терпения и нетерпения, надежды и молчания. Но я обязан пройти через это и в конце концов, спустя известное время, сумею лучше понять работу акварелью.

Если б это было легко, это не доставляло бы столько удовольствия! С живописью происходит то же самое. К тому же еще и погода неблагоприятная; видно, за эту зиму мне придется пережить не много радости.

Все же моя жизнь мне нравится. Что у меня своя мастерская, это я считаю превосходным. Когда же приедешь ты ко мне выпить кофе или чаю? Надеюсь, скоро. При случае ты сможешь у меня и переночевать самым превосходным и уютным образом. У меня даже есть цветы, несколько ящиков с цветочными луковицами. Кроме того, я добыл еще одно украше-

ние для комнаты; я сделал замечательную дешевую покупку: роскошные гравюры по дереву из журнала «Графика», частично даже не отпечатки с клише, но оттиски с самих досок. Это как раз те вещи, за которыми я гонялся годами, – рисунки Херкомера, Фрэнка Холла, Уолкера и других. Я купил у старика еврея-букиниста Блока, и за 5 гульденов выбрал лучшее из целой кипы номеров «Графики» и «Лондонских новостей». Среди них есть роскошные вещи, например «Бездомные и беспризорные» Фильда (бедняки, ожидающие у ночлежки), два больших Херкомера и множество малых – «Ирландские эмигранты» Фрэнка Холла, «Старая решетка» Уолкера и в особенности «Школа для девочек» Фрэнка Холла; кроме того, есть еще большой Херкомер – «Инвалиды». Словом, это именно тот хлам, который мне нужен. Я держу у себя эти чудные вещи, мой милый, с известным удовлетворением, так как, хотя я и очень далек от того, чтобы сделать что-нибудь подобное, все же повесил на стену несколько своих этюдов старых крестьян и проч., и они доказывают, что мой энтузиазм к этим рисовальщикам не пустяк, но что я и сам стремлюсь и стараюсь сделать нечто реалистическое и в то же время исполненное чувства. У меня есть вещь с одиннадцатью фигурами землекопов и людей, работающих на картофельном поле, и я подумываю о том, не смогу ли я что-нибудь из этого сделать. У тебя тоже есть нечто такое же, например, человек, кладущий в мешок картофель¹. Одним словом, еще не знаю, когда это будет, теперь или потом, но я обязан это сделать, так как летом я здорово ко всему этому пригляделся; здесь на дюнах я мог бы сделать хорошие этюды почвы и воздуха, – а затем самым наглым образом вставить туда фигуры. Однако я не придаю такого значения самим этим этюдам. Я надеюсь, разумеется, сделать их совсем иначе и лучше; но брабантские типы очень характерны, и, кто знает, удастся ли мне еще раз их использовать. <Если среди них есть экземпляры, которые ты бы хотел сохранить, тогда непременно держи их у себя, но мне бы хотелось получить обратно те рисунки, в которых ты не видишь ценности. Изучая новые модели, я смогу автоматически замечать

¹ Набросок этой картины Винсент отправлял Тео в письме в октябре 1881 г.

ошибки в пропорциях в моих летних этюдах и, принимая это во внимание, те принесут мне пользу. Так как твое письмо шло так долго (оно сначала попало к Мауве, и я получил его позднее), мне пришлось пойти к господину Терстеху, и он дал мне 25 гульдеров, чтобы продержаться до твоего письма.

...Мауве обещал рекомендовать меня в кандидаты в члены Пулькри¹, так как там я смогу рисовать с натуры два вечера в неделю, и у меня будет больше контактов с художниками. Позже, так скоро, как это будет возможно, я получу постоянное членство.

Что ж, дорогой мой, спасибо за то, что ты мне прислал, жму руку,
всегда твой

Vincent

49

Гаага, 14 января 1882 г.

...Рисование чем дальше, тем больше становится моей страстью, такой же, как страсть моряка к морю.

Мауве показал мне новый путь, на котором я могу кое-что сделать, – говорю о работе акварелью. Я ушел в нее с головой, сижу, мажу и снова смываю, одним словом, ищу и стремлюсь... Оттого-то, хоть я и собирался написать тебе подробнее обо всем, происшедшем дома, и попытаться разобраться в вещах, как они мне представляются, и кроме того, охотно сообщил бы тебе о всякой всячине, – однако, для всего этого у меня нет времени; считаю за лучшее еще раз написать тебе о рисовании.

Сейчас я начал пару маленьких и одну большую акварели, по крайней мере такого же размера, как те фигурные этюды, которые я делал в Эттене.

Само собой разумеется, что это не дается сразу.

Сам Мауве говорит, что мне придется перемазать по крайней мере до десяти рисунков, пока я хоть сколько-нибудь научусь владеть кистью.

¹ Общество гаагских художников, в котором Мауве был членом правления с 1878 г.

Поскольку за этим лежит лучшее будущее, я работаю с таким хладнокровием, на какое я только способен, и никакие ошибки не в состоянии меня испугать.

Вот небольшой набросок с одной из маленьких акварелей: угол моей мастерской с девочкой, – она сидит и мелет кофе¹. Ты видишь, я ишу тона; головка, и ручки светятся, и в них заключена жизнь, они сумеречно выделяются на темном фоне, и тут же резкими ударами – кусок камина, или печки, железо, камни и пол.

Если бы мне удалось выполнить этот рисунок так, как я хочу, я сделал бы по крайней мере три четверти его в тоне зеленого мыла и только уголок, где сидит дитя, я дал бы нежно, мягко, с чувством.

Но ты понимаешь, что я еще не в состоянии все это выразить так, как чувствую. Дело идет, как мне кажется, пока только о том, чтобы одолеть трудности; как бы то ни было, зелено-мыльная часть еще не совсем зелено-мыльна, а нежность, в свою очередь, недостаточно нежна. И все же набросок, в конце концов, дан, общее схвачено и, думается, терпимо...

У меня, Тео, масса трудностей с моделями. Я ишу их, а когда нахожу, они меня надувают. Как раз сегодня не смог прийти один молодой парень, кузнец, которому его отец сказал, что я должен платить гульден за час, к чему у меня, само собой разумеется, совсем нет никакой охоты.

Завтра моделью мне снова будет служить старушка. Она тоже не смогла прийти в течение трех дней подряд. Время от времени, когда я выхожу из дому, я усаживаюсь где-нибудь в народной столовой, в зале третьего класса и в других подобных местах, и делаю наброски.

Но на дворе отвратительно холодно, особенно для меня, так как я рисую еще не так быстро, как более опытные люди, а кроме того, мне, в сущности говоря, следовало бы больше доводить до конца наброски, чтобы извлекать из этого больше пользы.

Мне хочется, пусть мимоходом, но постоянно, делать маленькие рисунки пером, однако, в другой манере, чем те большие, которые я делал этим летом. Чуть построже и позлее!.. Вот набросок Шенквега² – вид из моего

¹ Неизвестный акварельный рисунок девочки, мелющей кофе.

² Совр. «Схенквег». – Прим. ред.

Vincent

als ik verzamelen kom en ook door mijn fouten
 laat ik me niet afschrikken.



Dit is een
 ochtende
 van een
 van de
 kleine aquarellen
 Het is een keukje
 van mijn atelier
 met een meubel
 dat Koffy zal maken

99 zal ik zoek naar toon een keukje of een handje dat

Девочка у печи мелет кофе.

men de leunne met den eersten doeg meester is.

ОКНА...



Nu dit is 7 oogen van
 de groote tekening
 maar ik doe het nu
 haast en het ochtende is
 afschuwelyk. Evenwel
 mogelijk geeft het een
 gedacht en het water
 nu eenmaal op.
 Ik hoor dat er vanbaag
 iemand voor me geweest is
 ik denk de Mr. Tersteeg.
 Dat was ik wel want
 hy heeft me belooft dat hy
 zou komen opdoeken
 en ik was hem wel
 eens spreken over een
 en ander.
 dy zou morgen oekend
 terug komen.

Девушка у окна вяжет.

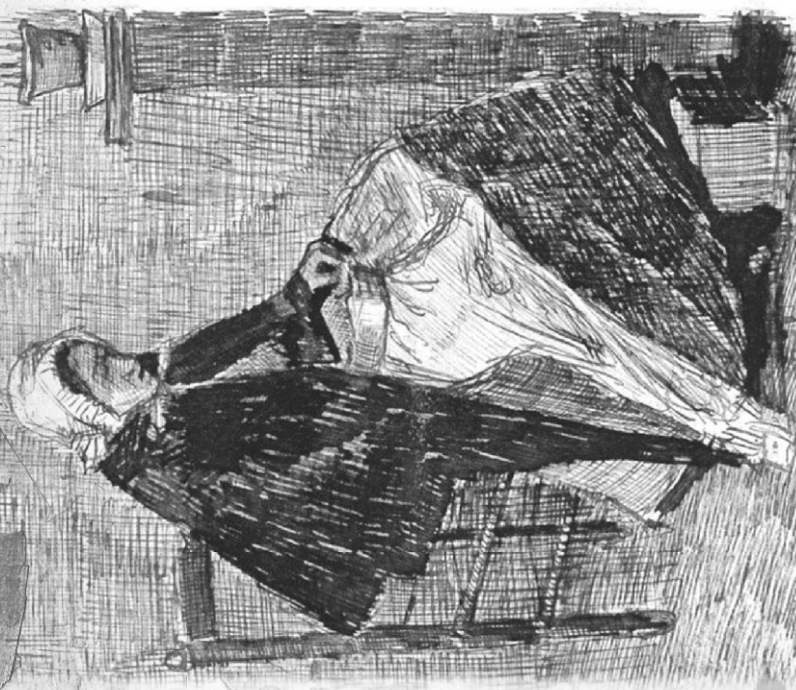
Thou ik heb veel
 gescharrel met de modellen ik zoek je en als ik je vind dan

С января 1882 года Винсент пытается зарабатывать рисунками, чтобы прокормить себя и оплатить работу натурщи. Но очень редкие рисунки идут на продажу, да и выручки с них едва ли хватает на расходы художника, и Винсент продолжает жить на деньги, которые ему высылает брат.

21 января 1882 года Винсент рисует очередную Схевенингенскую женщину за шитьем. В этот период Винсент рисует очень много рабочих: «И все же несмотря на мою любовь к Брабанту, я испытываю чувства к фигурам, помимо брабантских крестьян. Я нахожу невыразимо прекрасными схевенингенских жителей. Что ж, в конце концов, я здесь, и тут находится намного дешевле. Как бы там ни было, я сделаю все для того, чтобы найти хорошую студию. Теперь я должен лучше рисовать и использовать бумагу лучшего качества».

Na 'knoop ik dat gy my goed genoeg een
schryff I wel vermitsde dat my preken
een afpreken te maken ontrent het geld.

Схевенингенская женщина шьет.



Гаага, 18 февраля 1882 г.

...Господин Т.¹ взял у меня маленький рисунок за 10 гульденов, на них я и продержался неделю. Ему, однако, нужны маленькие вещи, сделанные акварелью, а это мне еще не удастся. Как бы то ни было, первая овечка перешла через мост. Я работаю, сколько могу, но не забывай, я погибну, если на меня навалится уж слишком много забот и напряжения.

Итак, пиши, если можешь, присылай мне хоть сколько-нибудь и верь мне.

Жму руку.
Всегда твой,
Vincent

Кроме того рисунка, который взял господин Т.,² я на этой неделе сделал еще три этюда; хотя по своему выполнению они ничего не стоят, но рисунок в них, слава богу, уже лучше. Очень ценно для меня то, что я чувствую, как начинаю лучше рисовать, а это ведет к тому, что я сохраняю бодрость.

Рисование, это, что ни говори, самое важное и – больше того – самое трудное дело.

Поэтому то я и осмеливаюсь теперь сказать, что в течение года я уже смогу сделать что-нибудь и на продажу. Этюд, взятый господином Т., я в расчет не принимаю, я сделаю гораздо лучше, как только настолько усовершенствуюсь в рисовании, что оно не будет стоить мне таких мучений. До свидания, дорогой мой. Пиши мне скорей!

¹ Терстех.

² Вероятно, речь идет о рисунке «Женщина у окна за шитьем» из письма от 14 января 1882 года, которое приобрел Терстех.

Гаага, 25 февраля 1882 г.

Дорогой Тео!

Твое последнее письмо со вложением 100 франков я получил и от всего сердца благодарю тебя за присланное.

...<Я был счастлив узнать из твоего письма, что ты, возможно, скоро приедешь в Голландию. Если бы ты увидел, чем я был занят в последнее время, ты бы имел лучшее представление о будущем. Надеюсь, что мы тихо проведем время вместе в моей студии, и также надеюсь, что ты напишешь мне заранее, чтобы я смог договориться с моделью не приходить в дни твоего приезда. >

Ты пишешь мне о дне рождения отца. Должен тебе сказать, что вдали от всего этого я чувствую себя замечательно хорошо. У меня есть то спокойствие, которое мне так нужно для работы... Когда я думаю об Эттене, на меня нападает нечто вроде дрожи, как будто бы я нахожусь в церкви. В конце концов, что с этим поделаешь? И еще раз: что с этим поделаешь?

Ты не должен на меня сердиться, Тео, я не придираюсь; написав мне кое-что о том, что делается дома, ты полагал, может быть, что доставишь мне удовольствие, однако никакого удовольствия я не получил.

Ты считаешь, что маленькая акварель – лучшее из тех моих вещей, которые ты видел – ну, это все-таки не так. Мои этюды, находящиеся у тебя, гораздо лучше, и летние рисунки пером тоже лучше. Акварель ничего не стоит. Вообще, я тебе ее послал только для того, чтобы показать, что нет ничего невозможного в том, что со временем я смогу работать и в акварели. В других же вещах заключено много больше серьезного изучения и добротности, хотя они и смахивают на зеленое мыло. Если бы у меня действительно было что-нибудь против господина Т. (я же ничего против него не имею), то это было бы приблизительно вот что: вместо того, чтобы побуждать меня к трудному изучению модели, он, скорей, толкает меня к тому процессу, ко-



Пожилой крестьянин у очага (утомленный).

торый едва только на половину годится для передачи того, что я, соответственно моей сущности, хочу выразить при помощи моего собственного темперамента.

Само собой понятно, я был бы страшно рад, если б мне удалось продать рисунок; однако мне доставляет значительно большее удовлетворение, когда такой истинный художник, как Вейсенбрух, говорит о таком «непродажном» этюде: «Это – верно, я мог бы работать по этому».

Видишь ли, хотя деньги, особенно теперь, мне очень дороги, но № 1 – для меня остается все же работа над тем, что нужно. И вот то же самое, что сказал Вейсенбрух об одном пейзаже Плагенфельда, сказал и Мауве об одной фигуре, а именно – фигуре старого крестьянина, сидящего у очага и смотрящего перед собой, будто созерцая вещи прошлых времен, возникающие в пламени¹.

¹ Речь идет о рисунке из письма, отосланного Тео в середине сентября 1881 года.

Долго ли, мало ли это продолжится, но все-таки единственный путь, это – глубокое проникновение в натуру. «Il reste d'être vrai»¹, – говорит Гаварни. Пусть человек побудет некоторое время среди затруднительных маленьких горестей жизни, из этого можно выбраться, и те же самые его рисунки, которые раньше отвергались, впоследствии найдут покупателя.

Поскольку я больше изучаю модель, постольку я, само собой разумеется, лучше ее и рисую.

С получением модели у меня дело идет довольно удачно. Сегодня, например, у меня ребенок. Он сейчас должен полчаса отдохнуть, и я пользуюсь этим получасом, чтобы написать тебе. Еще раз большое спасибо тебе за присланное. Мысленно жму твою руку. До свидания.

P. S. Сегодня я сделал еще два этюда с ребенка. Становится темно. Доброй ночи.

Всегда твой,
Vincent



Девочка вяжет стоя.



Девочка вяжет сидя.

¹ «Нужно только быть правдивым» – фр.

Гаага, 3 марта 1882 г.

Дорогой Тео!

С тех пор как я получил твоё письмо и деньги, я изо дня в день брал модель и сажу теперь по уши в работе.

У меня теперь новая модель, хотя раньше я её как-то раз уже нарисовал поверхностно. Лучше сказать, это больше, чем одна модель; из этого же самого дома у меня уже были три человека. Женщина сорока пяти лет – во всем фигура Эд. Фрера, затем её дочь лет тридцати и ребенок десяти или двенадцати лет.

Это бедные люди, которые, должен сказать, неоплатно старательны. Не без труда удалось мне достигнуть того, чтобы они согласились позировать, и только при том условии, если я обеспечу их постоянной работой. Это и было как раз то, что мне и самому страшно хотелось, и я считаю это условие очень благоприятным.

Молодая женщина некрасива с лица, так как у неё была оспа, но фигурка у неё очень грациозная и для меня в ней много привлекательности. К тому же у неё очень милые платья из черной шерсти, чепчики красивого фасона, хороший платок и проч. Не беспокойся уж очень-то о деньгах, я уговорился с ними с самого начала. Я обещал им, что буду им платить гульден в день, как только что-нибудь продам, и тогда доплачу им то, что не додаю им сейчас.

Следовательно, я должен сейчас сообразить, что мне отдать Т. Если бы я мог, я придержал бы у себя все, что делаю сейчас с этих моделей. Сохранив это несколько лет, я наверняка получил бы больше, чем сейчас.

В конце концов при данных обстоятельствах мне было бы все-таки приятно, если б господин Т. время от времени брал что-нибудь себе, с условием, что я согласен на обмен в том случае, если ему ничего не удалось продать.

Основанием, почему я охотнее оставил бы эти рисунки у себя, служит попросту то, что когда я рисую отдельные фигуры, то постоянно имею в виду композицию из нескольких фигур. Это может быть, например, залом третьего класса, или ссудной кассой, или интерьером. Большие композиции



должны ведь вызревать медленно, и для рисунка с тремя швеями нужно, может быть, нарисовать, примерно, девяносто швей. Вот как обстоит дело!

От К. М.¹ я получил приветливое письмо с обещанием скоро приехать в Гаагу и зайти ко мне. Это, конечно, опять-таки только одно обещание, но может быть, все же это кое-что. В общем, чем дальше, тем меньше я буду гоняться за людьми, кем бы они ни были, продавцами картин или художниками. Единственно за кем я буду охотиться, — это за моделью. Работать без модели, — это, по крайней мере сейчас, я считаю совершенно недопустимым.

Все же приятно, Тео, когда перед тобой появляется просвет, — передо мной он сейчас появляется. Есть нечто прекрасное, когда рисуешь человека, — нечто, что живет. Это дьявольски трудно, но в конце концов превосходно.

Завтра у меня будет двое ребят, я должен буду забавлять и рисовать их. Хочу, чтобы жизнь вошла в мою мастерскую. У меня уже завелись разные знакомства по соседству. В воскресенье ко мне придет мальчик, сирота, замечательно типичный, но к сожалению, я могу получить его только на короткое время.

Вполне возможно, что я не приспособлен для обхождения с людьми, обращающими большое внимание на внешние формы, но зато, может быть, у меня больше удачи с бедняками или мелким людом, и если я теряю в первом случае, то выигрываю во втором...

<Вчера вечером я вышел с ним (Хендриком Брейтнером) на прогулку, чтобы поискать типажи на улице с целью их последующего изучения в студии с другими моделями. И вот так я нарисовал пожилую женщину с палочкой в шали, которую видел в той песчаной местности, что находится рядом с сумасшедшим домом².

Vincent

¹ Корнелис Маринус ван Гог.

² В самом письме Ван Гог делает набросок акварельного рисунка, о котором идет речь. Здесь мы приводим сам рисунок.

Гаага, 6–9 марта 1882 г.

Дорогой Тео!

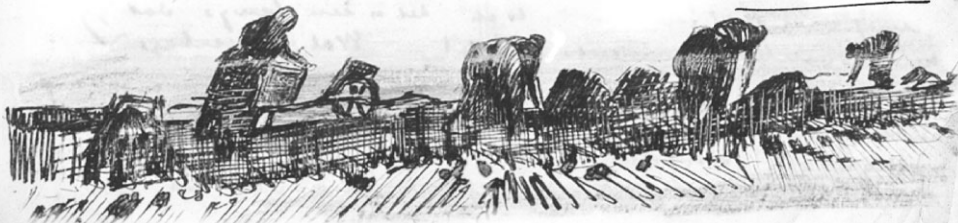
В твоём письме от 18 февраля ты говоришь: «Когда здесь был Т., мы, конечно, заговорили о тебе, и он сказал мне, что если тебе что-нибудь нужно, ты можешь спокойно обращаться к нему».

Почему же тогда вышло так, что, когда мне на днях пришлось просить у Т. десять гульденов, он мне, правда, их дал, однако в сопровождении такого множества упреков, почти можно сказать, оскорблений, что я едва мог сдержаться, хоть и сдержался.

Я бы швырнул ему в лицо эти десять гульденов, если б они предназначались для меня; но мне нужно было заплатить их модели – бедной, больной женщине, и я не мог заставлять ее ждать. Поэтому я и притих. Вообще же я полгода теперь не буду ходить к Т., не буду с ним ни говорить, ни показывать ему работы. ...Он имел бы право мне делать упреки, если бы я не работал, но непозволительно упрекать человека, который непрестанно, с напряжением и терпением, трудится над выполнением своей работы. А упреки такого рода, как: «Я решил, что ты не художник», – «Я считаю большой неудачей, что ты начал так поздно», – «Ты обязан зарабатывать свой хлеб». На это я говорю: «Довольно. Успокойся маленько!»

Большая картина Мауве скоро будет готова, и тогда Мауве снова скажет мне что-нибудь о моих акварелях. Вот резюме того, что он мне сказал до сих пор: «Винсент, когда ты рисуешь, – ты пишешь». И поэтому я работал над рисунком, пропорциями, перспективой и работал напряженно, целыми неделями, а Т. считает это недостаточным и болтает о «продажности».

Vincent



Гаага, 9 марта 1882 г.

Дорогой Тео!

Еще сегодня утром, когда я тебе писал, я был полон малодушия, это мне страшно мешало, но теперь я несколько успокоился. Должен тебе сообщить скверную новость, а именно, Мауве снова очень нездоров. Конечно, старое дело. Но вот и хорошая новость: я могу теперь быть уверенным, что тот факт, что он за последнее время обходился со мной недружелюбно, нужно приписать его болезни, а не тому, что мои работы пошли будто бы по неверному пути. В одном из предыдущих писем я уже писал тебе, что у меня был Вейсенбрух.

Вейсенбрух в данный момент – почти единственный человек, который допускается к Мауве, я считаю, что мне необходимо бывать у него. Так что я сегодня был в его мастерской – хорошо знакомое тебе место.

Как только он увидал меня, то стал смеяться и сказал: «Ты, наверно, пришел ко мне, чтобы услышать что-нибудь о Мауве». Он сразу понял, зачем я пришел, и мне не было надобности давать ему объяснения, затем он сообщил мне, что он посетил меня потому, что Мауве, сомневаясь во мне, послал его как-то ко мне, чтобы узнать его мнение о моих работах.

После этого Вейсенбрух сказал Мауве: «Он, проклятый, здорово рисует, я мог бы работать по его этюдам». «Кроме того, – прибавил он, – они называют меня мечом немилостивым, а я такой и есть, я бы не сказал всего этого Мауве, если б не нашел ничего хорошего в твоих рисунках».

Теперь я получил позволение являться, если мне что нужно знать, к Вейсенбруху, пока Мауве болен или поскольку он занят своей большой картиной; Вейсенбрух мне сказал также, чтоб меня ни в каком случае не беспокоило изменившееся настроение Мауве. Я тогда спросил В., что думает он о моих рисунках пером. «Это твои лучшие вещи», ответил он. Я ему рассказал, что Т. прочел мне по поводу них нотацию. «Не принимай этого близко к сердцу, – сказал он. – Когда Мауве объявил, что в тебе живет живописец,

Т. отрицал это, а Мауве тогда принял твою сторону. Я при этом присутствовал, и если это случится еще раз, то поскольку я видел твои работы, я также буду держаться твоей партии».

Эта «партийность» — не то, к чему я стремлюсь; однако должен сказать, мне становится иногда нестерпимым, когда Т. вечно твердит: «Ты должен понемногу начинать думать о том, чтобы зарабатывать себе на хлеб». Это выражение я считаю до того отвратительным, что мне зачастую стоит большого труда сдержаться. Я работаю, сколько только могу, не берегу себя, — значит, я достоин того хлеба, который ем, и меня не смеют упрекать в том, что я до сих пор еще не смог ничего продать.

Я сообщаю тебе эти подробности потому, что не могу понять, отчего в течение всего месяца ты ничего мне не написал и не прислал. Считаю вполне допустимым, что ты, возможно, слышал от Т. о том или другом, что тебя поразило. Прими же еще раз мое заверение, что я стараюсь делать успехи именно в таких вещах, которые было бы легко продать именно в акварели, однако, это сразу не удастся.

Если удастся мне этого достигнуть постепенно, и то уж будет много. В данное время это мне не удастся. Когда Мауве снова поправится и придет ко мне, или я к нему, он опять даст мне полезные указания, основываясь на тех этюдах, которые я за это время делаю...

За последнее время я до горечи мало получил от Мауве, и он сам мне как-то сказал: «Я не всегда в настроении давать тебе указания, я часто бываю усталым, и тогда ты, милосердный боже, должен ждать лучшего момента»! Я считаю за огромное преимущество, что могу от времени до времени навещать к таким замечательным людям, как В.¹, особенно, когда они, как это было сегодня утром у В., утруждают себя, вынимая рисунок, еще не готовый, над которым работают, и объясняя мне, как они его начинают. Это то, что мне нужно. Если у тебя есть случай последить за тем, как пишут эти рисунки, обрати на это внимание, так как полагаю, что иной торговец художественными произведениями иначе бы судил о многих картинах, если б знал, как они делаются.

¹ Вейсенбрух.

Правда, до известной степени это можно понять инстинктом, но вместе с тем я знаю, что о многих вещах только тогда получил более ясное представление, когда увидел, как работают другие, и когда после этого попытался сделать то же самое...

Vincent

55

Гаага, 1882 г.

...«Я очень скучаю по твоему приезду. Тебе нужно многое увидеть: то, что я создал после твоего визита прошлым летом. Тео, я рассчитываю на то, что ты согласишься на мои работы с одобрением и уверенностью, а не с сомнением и неудовлетворенностью.

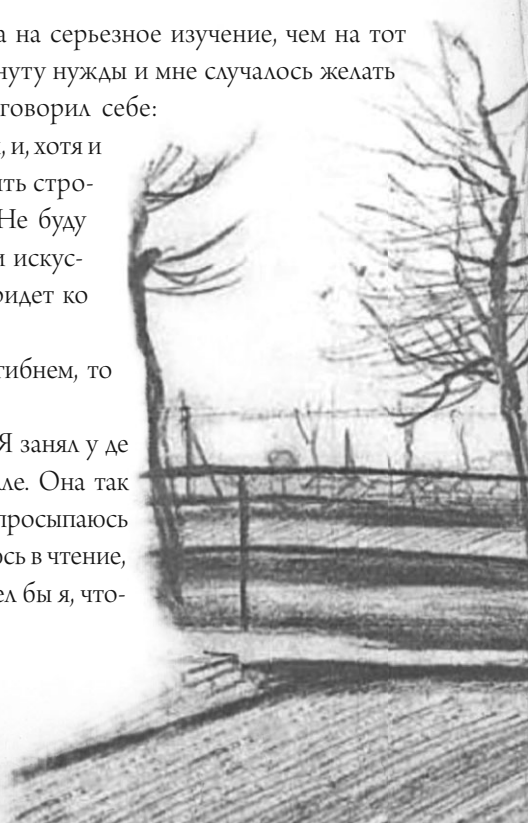
...Поверь мне, в художественном мире справедливы слова: «Честность – лучшая политика».>

Лучше употребить больше труда на серьезное изучение, чем на тот шик, который льстит публике. В минуту нужды и мне случалось желать себе немного шика, но подумав я говорил себе:

«Нет, лучше я останусь самим собой, и, хотя и в сырых произведениях, буду говорить строгие, грубые, но правдивые вещи». Не буду бегать за любителями и продавцами искусства, пусть тот, кому угодно, сам придет ко мне.

В должный срок мы, если не погибнем, то созреем.

Какой человек, Тео, был Милле! Я занял у де Бока большую книгу Сенсье о Милле. Она так заинтересовала меня, что из-за нее я просыпаюсь по ночам, зажигаю лампу и погружаюсь в чтение, так как днем я должен работать. Хотел бы я, что-



бы Т. был вынужден с теми деньгами, что я трачу, сделать в течение хотя бы одной недели то, что делаю я...

Вот несколько слов, которые меня страшно поразили и захватили в книге Сенсье, – изречения Милле: «Искусство – битва; в искусстве надо не жалеть своей шкуры.

Дело в том, чтобы работать как негры.

Я предпочел бы ничего не сказать, чем выразиться слабо».

Вчера только прочел это последнее изречение Милле, но еще задолго до этого уже чувствовал его. Вот почему я зачастую ощущаю потребность вцарапывать в бумагу то, что чувствую, не нежной кистью, но твердым плотничьим карандашом и пером. Берегись! Берегись, Терстех, ты здорово ошибся!

Vincent

*Мост недалеко
от улицы Схенквег.*



Постскриптум: Тео, вот почти чудеса!

Во-первых, приходит известие, что я должен зайти за твоим письмом. Во-вторых, К.М. заказывает мне двенадцать маленьких рисунков пером – виды Гааги, продолжение тех, которые были уже сделаны по рейхсталеру за штуку, – цена мной назначенная, и притом с обещанием заказать мне и следующие 12, если я возьмусь их делать соответственно его желанию. Цену их он назначит выше, чем я это сделал.

Кроме того, я встречаю счастливо возвратившегося со своей большой картины Мауве, и он обещается зайти ко мне на днях.

Итак, *ça va, ça marche – ça ira encore!*¹

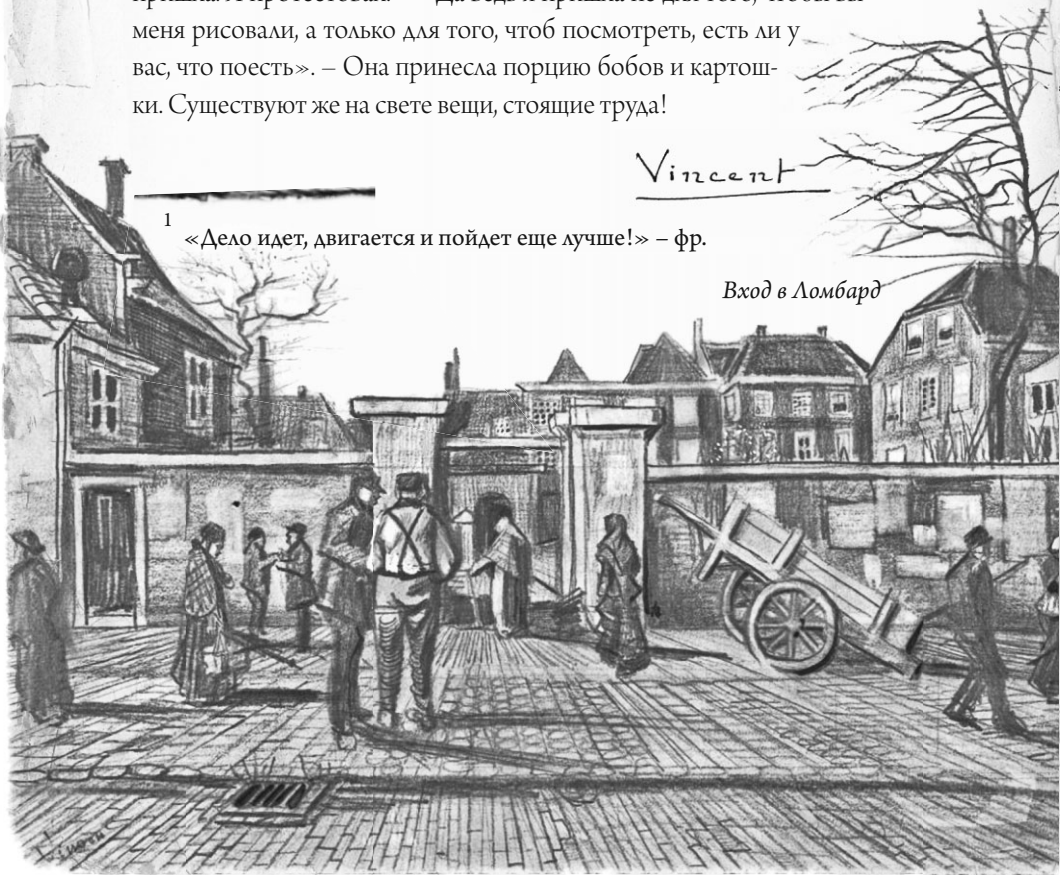
И еще одна вещь меня поразила – очень поразила: я сказал модели, чтоб она сегодня не приходила, но не сказал ей, почему. Однако бедная женщина пришла. Я протестовал. – «Да ведь я пришла не для того, чтобы вы меня рисовали, а только для того, чтоб посмотреть, есть ли у вас, что поесть». – Она принесла порцию бобов и картошки. Существуют же на свете вещи, стоящие труда!

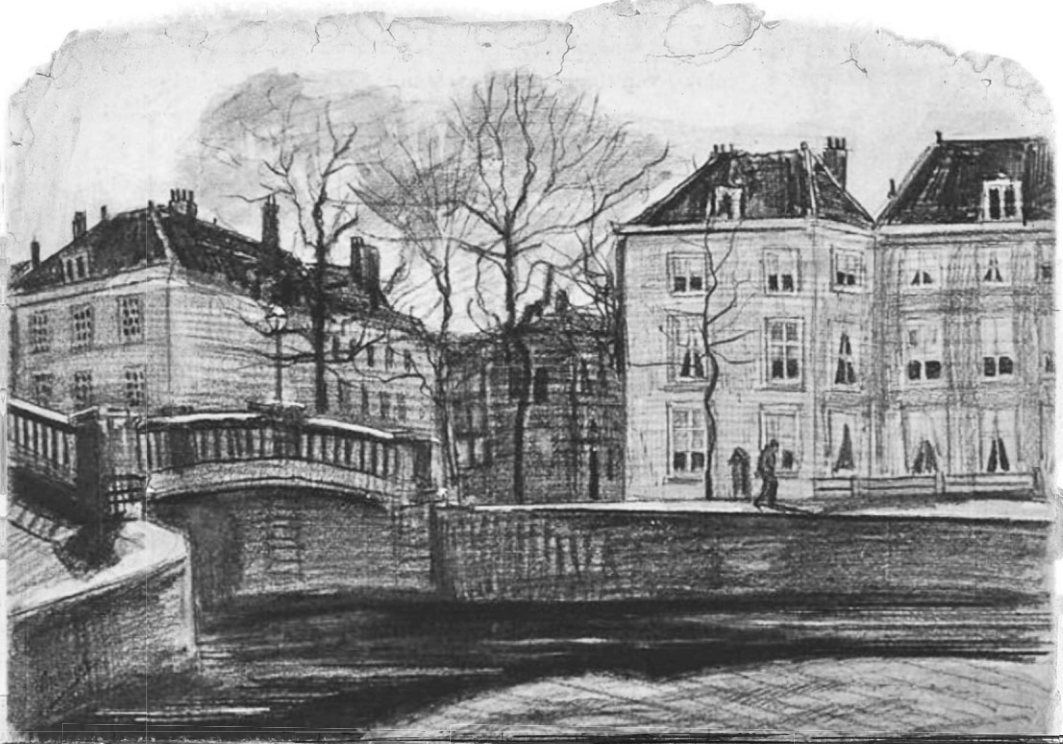
Vincent

¹

«Дело идет, движается и пойдет еще лучше!» – фр.

Вход в Ломбард





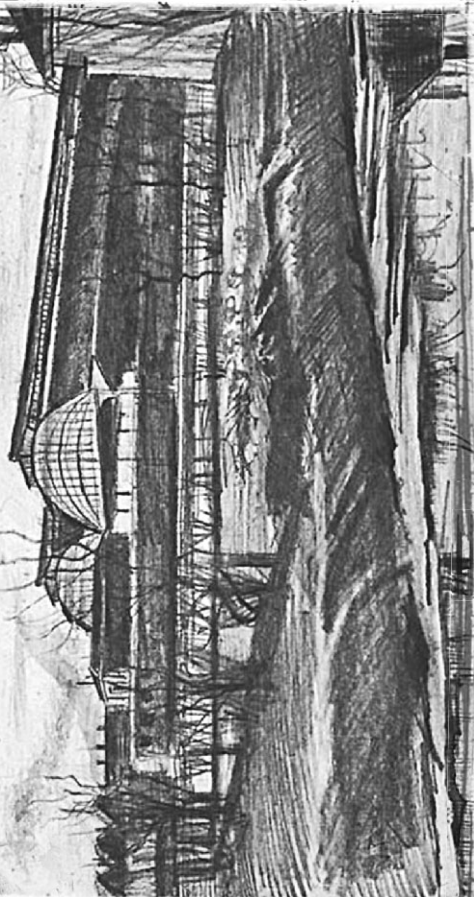
Дома и мост на пересечении
улиц в Гааге.

Достоверно известно о шести рисунках состоявших в этой серии, которую Винсент рисовал для дядюшки Кора. Это: «Городской пейзаж «Раддетоес»» (см. стр. 159 (прим. ред)), «Булочная в Нордиштадте» (см. стр. 158 (прим. ред)), «Свевенинген-роуд» (см. стр. 162 (прим. ред)) и «Копачи печка в дюнах» (см. стр. 163 (прим. ред)) и еще два упомянуты в письмах, но утерянных: «Вход в Ломбард в Гааге», «Дома и мост на пересечении улиц в Гааге», «Фабрика», «Ван Столк парк», «Станция», «Канал рядом с улицей Схенквег» и «Газовый завод» установлены по указаниям на самих рисунках и исходя из писем к друзьям Ван Гога. Здесь приведены четыре сохранившихся рисунка. Остальные определены исходя из доказательств найденных на самих рисунках в серии из восьми рисунков.

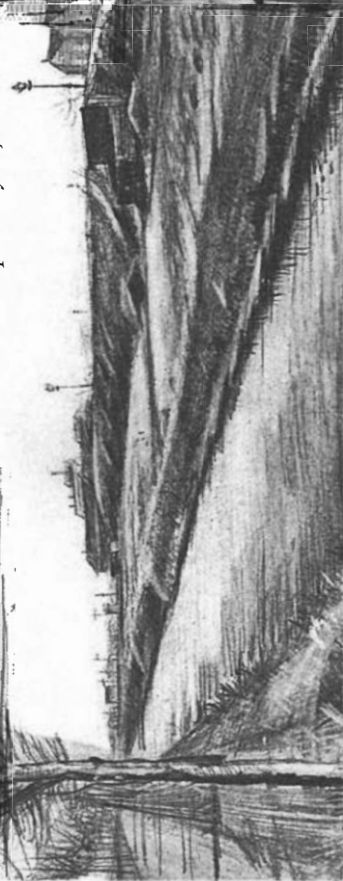
Фабрика.



Станция в Гааге.



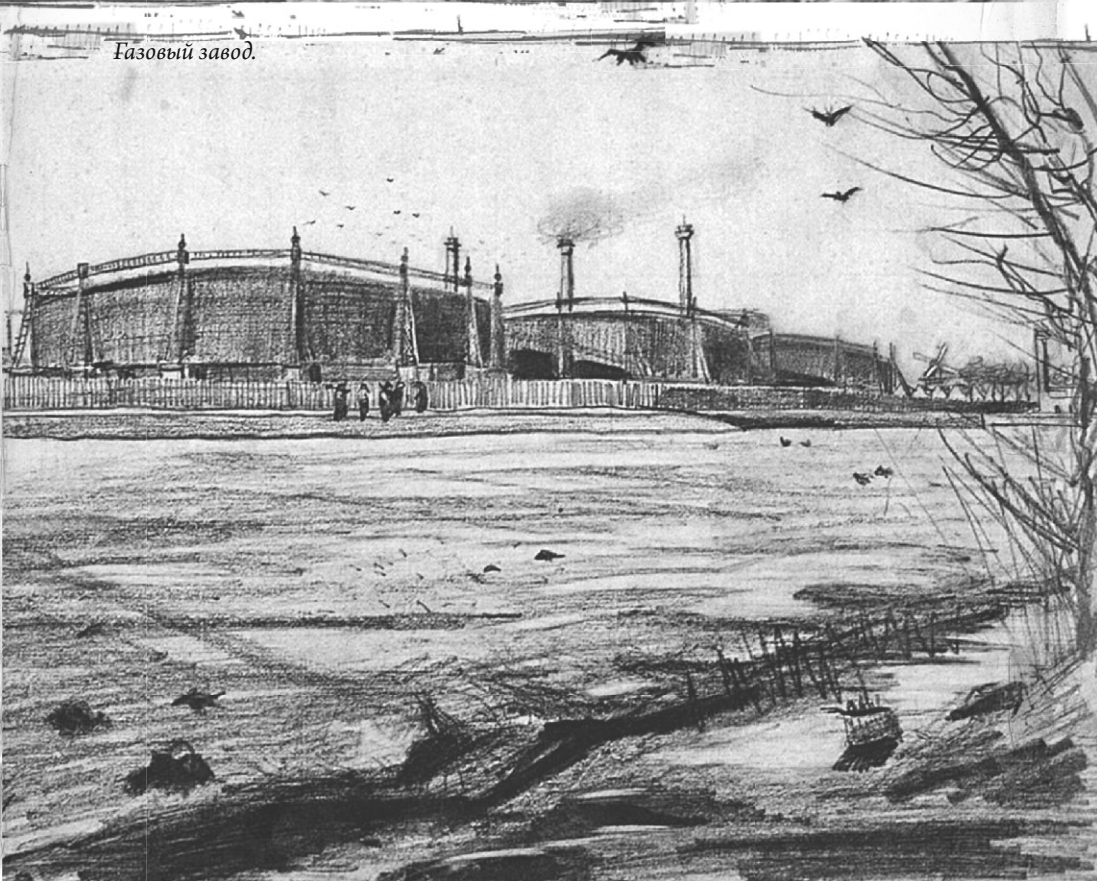
Канал рядом с улицей Схенквегг.



Ван Столк парк.



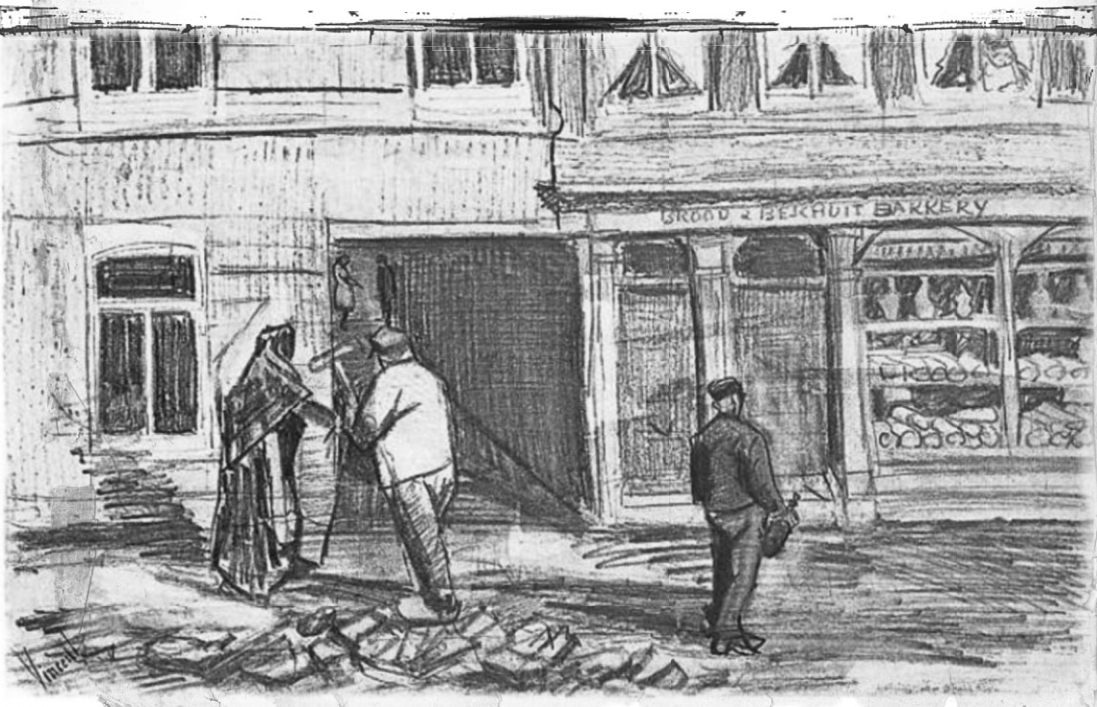
Газовый завод.



Гаага, 11 марта 1882 г.

...Сегодня вечером я был в Пулькри — давали живые картины и нечто вроде фарса Тони Оффермана. Фарс я пропустил с удовольствием, так как не могу выносить карикатур и скверного воздуха в зале, где много публики; что касается живых картин, то мне хотелось их посмотреть, так как одна была поставлена как раз по той гравюре Николаса Маса, которую я подарил Мауве, — «Вертеп в Вифлееме». Другая — по Рембрандту, с прекрасной Ревеккой, наблюдающей за тем, удастся ли ее хитрость. Николас Мас был очень удачен в отношении света, тени и даже цвета, но в смысле выражения, по-моему, не стоил ни гроша. Выражение было решительно никуда. Я как-то видел это в натуре, — не рождение Христа, а рождение теленка, и отлично знаю, что это такое. При этом ночью, в хлеву, в Боринаже,

Булочная в Нордштадте, Геест.





Городской пейзаж.

присутствовала девушка – коричневое крестьянское личико в белом ночном чепчике. У нее на глазах были слезы от сострадания к бедной корове, когда животное стало терпеть боли и большие трудности. Это было чисто, свято и дивно прекрасно, как у Корреджо, у Милле, у Израэльса – ах, Тео, отчего ты не вышвырнешь всю свою дрянь и не станешь живописцем! Ты сможешь это сделать, если захочешь. Мне иногда представляется, что ты хоронишь в себе хорошего пейзажиста...

Vincent

Гаага, 16-20 марта 1882 г.

...Ты, несомненно, скажешь: бывают минуты, когда раскаиваешься, что стал живописцем. Так раскаиваются только те, кто в самом начале своего пути не занимались серьезным изучением, и гонятся и торопятся, чтобы стать первыми.

В конце концов, человек дня и есть человек дня. У кого, однако, достаточно любви и веры, тот находит себе радость как раз в том, что другие считают скукой, то есть в изучении анатомии, перспективы и пропорций; тот держится крепко и зреет медленно, но верно.

Когда, находясь в денежных затруднениях, я на минуту забывал об этом и хотел сделать нечто похожее на что-либо, результат получался печальный, — у меня ничего не выходило. Мауве тогда правильно злился и говорил: «Это не тот путь, порви эти вещи». Вначале мне казалось это слишком резким, но потом я изрезывал их сам. Когда же я стал рисовать серьезнее, тогда Т. начал делать замечания, злился, не обращал внимания на то хорошее, что было в моих рисунках, и принялся требовать во что бы то ни стало вещей на продажу.

Отсюда ты видишь разницу между Мауве и Т. Мауве, чем дольше и больше о нем думаешь, тем кажется серьезней, а может ли Т. выдержать подобное испытание?

...Что особенно заставляет меня так говорить, это то, что среди денежных затруднений я все же чувствую, что нет ничего солиднее ремесла, в буквальном смысле этого слова, работы с помощью рук. Если б ты захотел стать живописцем, ты, между прочим, поразился бы, что рисование и все, что с ней связано, является на самом деле довольно тяжелой работой в физическом смысле. Не считая духовного напряжения, мучения головы, нужно еще значительное напряжение сил, и притом изо дня в день. ...Я теперь занят рисованием голов¹;

¹ Точно неизвестно, о каких именно головах идет речь. Возможно, один из рисунков, упомянутых в письме был набросок «Женщина в белом».

кроме того, я должен, хотя всего сразу не сделаешь, рисовать ноги и руки, это страшно нужно. Когда же придет лето и отпадет препятствие в виде холода, я должен буду сделать, тем или иным способом, несколько рисунков с обнаженной модели, конечно, не в академической обстановке. Я бы с наслаждением сделал рисунки с землекопа или швеи, спереди, сзади, сбоку, чтобы хорошо прочувствовать формы тела сквозь одежду и чтобы уяснить себе движения. Я рассчитываю, что дюжина этюдов – 6 мужчин и 6 женщин – уже многое бы мне разъяснили. Каждый этюд отнимает день работы. Вся трудность, однако, заключается прежде всего в том, чтобы найти для этого модель и, если этого только можно избежать, – не ставить обнаженной модели у себя в мастер-



Женицина
в белом чепчике.



Схевенинген-роуд.

ской. Страх перед тем, что придется раздеваться, обычно – первое препятствие, которое надо побороть, когда добываешь кого-нибудь для позировки. Я не раз уже с этим здесь встречался. Это произошло даже с одним высохшим стариком, который, в общем, мог бы быть прекрасной обнаженной натурой в стиле Риберы.

В конце концов, я не ищу Риберы, а тем менее Сальватора Розы, не могу в них вчувствоваться. Я даже не в восторге и от Декана. Я не чувствую себя дома перед их картинами – и не могу в них погрузиться без ощущения того, что мне чего-то тут нехватает, и я что-то теряю. Тогда уже лучше Гойя или Гаварни, хотя в своих обнаженных оба сказали высшее свое слово. «Nada», по-моему, означает то же самое, о чем говорит слово Соломона: «Суета сует и всяческая суета».

...<Теперь, после того как я вернул Терстеху деньги, я боюсь, что когда в конце марта появится домовладелец, у меня ничего для него не будет. Поэтому прошу тебя выслать, что сможешь, до конца марта.

Тео, в воскресенье я снова посетил де Бока¹ — не знаю почему, но каждый раз, когда я иду к нему, я ощущаю одно и то же: этот паренек слишком слаб, он не преуспеет до тех пор, пока он не изменится, до тех пор — до тех пор — я нахожу в нем что-то шаблонное, что-то пресыщенное, что-то неискреннее, что действует на меня угнетающе, есть какая-то болезненная атмосфера в его доме.

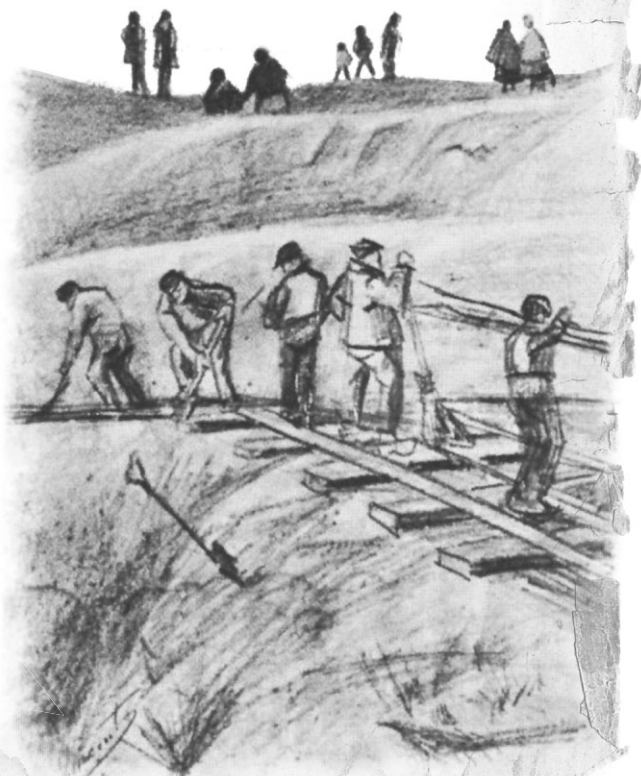
И хотя это не очевидно, возможно, среди его знакомых есть несколько человек, считающих также.

Как бы там ни было, иногда он создает замечательные вещи, не без очарования и изящества, по меньшей мере, но достаточно ли этого?

Сегодня требования так высоки, что рисовать в наши дни — практически то же, что вступить в нападение, военную кампанию, на поле боя.>

Vincent

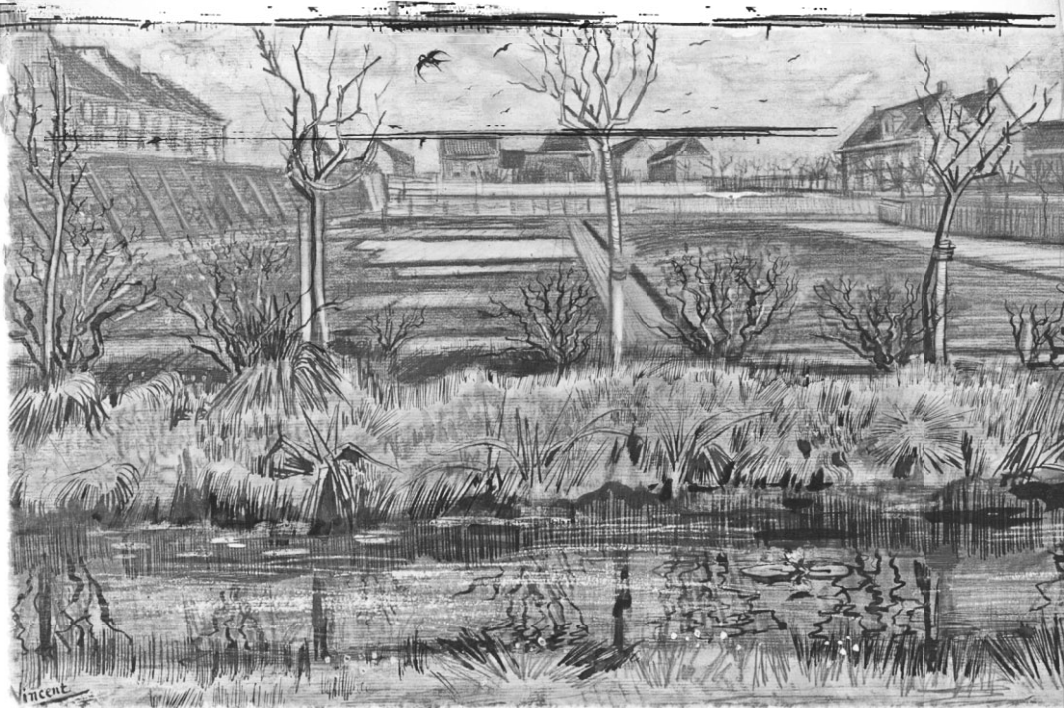
Копачи песка в дюнах.



¹ В оригинале письма «де Бока» перечеркнуто черными чернилами. Известно, кем это было сделано.

Не проходит и месяца с момента сцены у дядюшки Стриккера, как измученный безответной любовью Винсент знакомится с гаагской проституткой Клазиной Марией Хоорник, которую по необъяснимым законам голландского языка он называет в своих письмах Син. Достоверно неизвестно, когда точно он познакомился с ней. Возможно, еще во время поездки в Амстердам в 1881 году, о которой Винсент рассказывал брату в письме от 23 декабря 1881 года, где он упоминал какую-то женщину, которую встретил в Гааге, но имени ее не называл. Почти сразу она становится его моделью и музой. Испытывая сочувствие к ее положению – Син беременна и одинока, Винсент съезжается с ней. Узнав об этом, Тео, продолжающий отсылать раз в месяц Винсенту деньги, высказывает свое недовольство. Однако сочувствие Винсента не знает границ. Его симпатия ко всем униженным и нищим, его готовность отдать последнее можно заметить еще в одном эпизоде. 24 марта 1882 года Винсент пишет Тео о том, что он одалживал 10 гульденов у Терхстега,

Сад на улице Схенквег.



Сад на улице Схенквег.



и в этом письме просит Тео выслать ему эту сумму, чтобы вернуть долг. В свое время Терхстег через Тео выразил готовность помочь в любое время Винсенту, как только он о ней попросит. Однако когда Винсент попросил в долг, Терхстег стал упрекать Винсента в безответственности и убеждать его, что ему не следовало так поздно увлекаться столь неприбыльным делом, как рисование картин. Занятно, что упрекая Терхстега в ограниченности его взглядов и ставя собственные занятия выше ценности денег, Винсент, пусть и оскорбленный, берет у него деньги. Интересна причина, сподвигшая его на то, чтобы переступить через свою гордость: используя крестьян для своих рисунков, Винсент платил голодным работникам, и в этот раз задолжал одной несчастной натурщице. Примечательно, что ему было важнее заплатить долг своей натурщице, чем сохранить лицо. В письме Винсент выслал два рисунка сада.

Гаага, 6 апреля 1882 года.

...Какая прекрасная стоит погода! Весна во всем. Не могу оторваться от модели, так как она – № 1, но иногда я не в состоянии удержаться, чтобы не выйти на воздух. Занят я трудными вещами и бросить их не смею. За последнее время делаю множество этюдов – голову, шею, грудь, плечи.

Вот тебе маленький набросок¹. Мне до сумасшествия хочется сделать как можно больше этюдов с женских моделей.

Ты знаешь, я рисовал «Упражнения углем», даже несколько раз, но в них нет женских фигур.

Само собой разумеется, совершенно другое дело делать их с натуры. Такой рисунок, как прилагаемый, довольно прост в линейном отношении, но трудно схватить эти простые, характерные линии, когда сидишь перед моделью. В натуре линии настолько просты, что казалось, их можно начертить пером; но, повторяю, вопрос в том, чтобы найти эти линии и несколькими штрихами выразить главнейшее. Выбрать такие линии, чтобы стало само собой понятно, что они должны идти именно так, – это не дается с неба.

Прилагаемый маленький рисунок набросан мной с большого этюда, на котором лежит мрачное выражение. Мне кажется, это – стихотворение Тома Худа, в котором он рассказывает о великосветской даме, которая не могла уснуть ночью, после того как, выйдя днем на улицу, видела бедных чахоточных, истощенных швей, сидящих за работой в душных помещениях.

И вот она испытывает угрызения совести из-за *своей* расточительной жизни и вскакивает ночью от сна. Одним словом, это тонкое белое женское тело, тревожное во тьме ночи.

Vincent

¹ Вложенный набросок – картина «Обнаженная (Великолепная)». Моделью для этого наброска была Син.



Великолепная, 1882 г. Рисунок в тисье.

The Great Lady

Гаага, 10 апрель 1882 г.

Дорогой Тео!

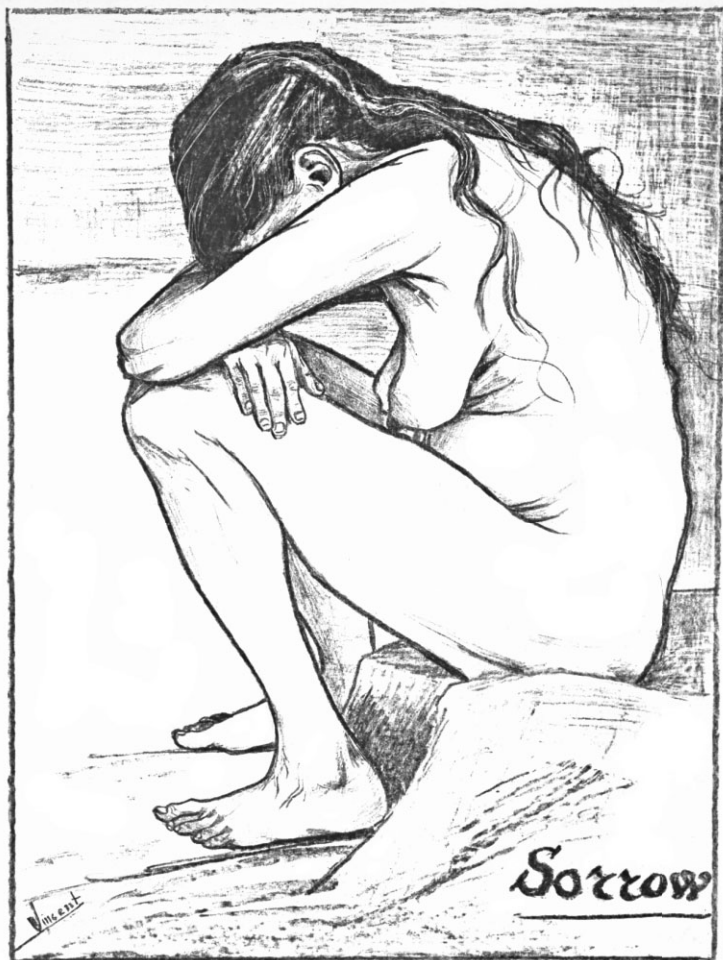
Сегодня я послал тебе по почте рисунок «Скорбь»¹, который я дарю тебе в знак моей благодарности за то многое, что ты сделал для меня в эту столь тяжелую для меня зиму. Когда прошлым летом у тебя была большая гравюра по дереву Милле «Пастушка», я подумал, как много можно выразить одной только линией. Конечно, я не рассчитываю выразить одной линией так много, как Милле, тем не менее я пытался вложить в эту фигуру немного чувства. И вот, надеюсь, что этот рисунок тебе будет симпатичен. По нему ты сейчас же увидишь, что я старательно занят делом. Поскольку уж я начал этим заниматься, хотелось бы мне сделать до тридцати этюдов с обнаженной натуры. Это, как мне кажется, лучшая из тех фигур, которые я нарисовал, поэтому я и решил тебе ее послать.

Это не этюд с модели, и все же это непосредственно с модели. Ты должен знать, что подкладкой для этого рисунка мне служили два листа бумаги, и вот, так как я здорово на них работал, чтобы добиться правильного контура, то когда я снял рисунок с доски, он очень чисто оттиснулся на обоих листах бумаги, служивших подкладкой; я проработал их потом еще соответственно верхнему рисунку, так что этот нижний лист еще даже свежее первого.

Остальные два я оставил у себя и не хотел бы их отдавать. По рисунку ты сейчас же увидишь, что Т. может подождать со своим заказом, я сам в нем нуждаюсь, и мне кажется, что работать напряженно по модели, — это кратчайший путь для того, чтобы действительно чего-нибудь добиться.

...Мне представляется, что этот рисунок будет хорош на простом сером паспарту. Ясно, что я не всегда так рисую, как на этот раз. Я особенно высоко ценю английские рисунки, сделанные в этом стиле, и поэтому не удивительно, что и сам сделал пробу того же рода. Так как это было сделано для тебя,

¹ Сохранились две версии картины «Скорбь». Какая именно была отправлена Тео, — неизвестно. Еще один набросок моделью для которого была Син.



Скорбь, предположительно ранняя версия рисунка. 1882 г.

понимающего такие вещи, то я не постыдился показать тебе себя несколько меланхолическим. Я хотел этим сказать, как в книге Мишле:

Mais reste le vide du coeur,
Que rien ne remplira.

«Но остается в сердце пустота,
Которую ничто уж не заполнит». – фр.

Vincent

Гаага, 21 апреля 1882 г.

<Дорогой Тео!

Иногда я думаю про себя: если бы только моя жизнь была легче, насколько бы больше и лучше, чем сейчас, я мог работать. Я действительно тружусь, думаю, что ты увидел по моим последним рисункам, я начинаю понимать, как преодолевать трудности. Но видишь ли, не проходит и дня, чтобы ни возникало каких-то проблем, кроме моих усилий в живописи, — что уже само по себе представляет известную трудность. И как видишь, меня одолевает тоска, которая, я думаю, мне не причитается, — по крайней мере я не знаю, чем заслужил ее, — и которую я не знаю как развеесть. Будь таук добр, ответь мне искренне, если знаешь, что может быть причиной всего этого и просвети меня.>

В конце января, кажется спустя 14 дней после прибытия сюда, отношение Мауве ко мне вдруг сильно изменилось и стало настолько же неприязненным, насколько дружественным оно было раньше. Я приписал это его недовольству моей работой и до того был обеспокоен и встревожен, что совершенно упал духом и заболел, как я тебе тогда же об этом и писал.

Мауве явился тогда ко мне, еще раз заверил, что все устроится, и ободрял меня. Но вот как-то вечером, вскоре после того, он начал со мной говорить снова таким языком, что, казалось, я имею дело, с совершенно другим человеком. Я подумал: милый друг, похоже на то, что кто-то тебе влил яд, то-есть клевету, в ухо: однако я со своими предположениями все же пребывал еще в потемках, не зная, откуда подул этот ядовитый ветер.

Мауве, между прочим, начал отвратительным образом передразнивать мой говор и мои манеры, приговаривая: «Вот какое лицо ты делаешь, вот как ты говоришь». Он умеет это делать очень хорошо, и я должен сказать, — это была очень хорошая, но ненавистью начертанная карикатура. При этом он сказал несколько вещей, которые обо мне имеет обыкновение говорить только Т. Я спросил его: «Мауве, ты недавно видел Т.?» — «Нет», ответил

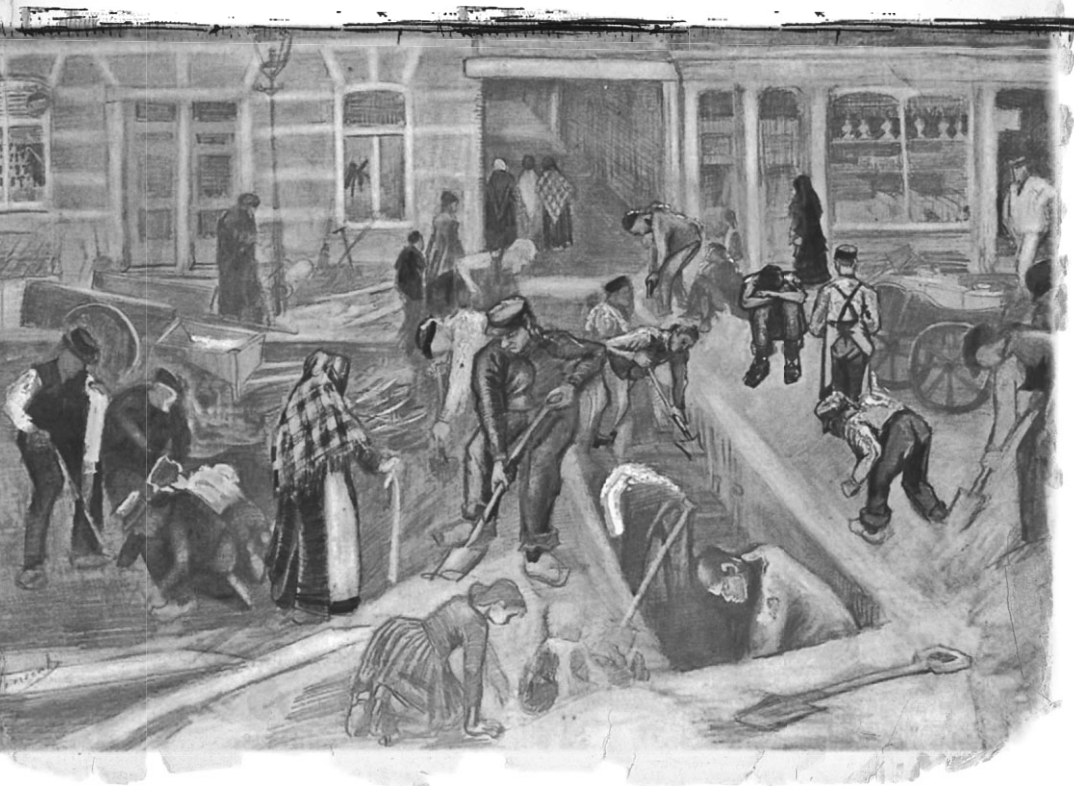
Мауве, и мы продолжали беседу. Однако спустя приблизительно десять минут открылось, что Т. был у него как раз в этот же день. Невольно мысль о Т. осталась во мне, и я подумал: «Неужели, уважаемый господин Т., позади всего этого торчите вы?»

Хотя я тогда ходил на дом к Мауве, Мауве изменялся и стал довольно не-приветливым. Случалось мне иногда слышать: «Нет дома!» Одним словом, налицо были все признаки решительного охлаждения.

Я стал ходить все реже и реже, а Мауве и вовсе не являлся ко мне, хотя до меня недалеко.

И на разговоры Мауве стал столь же скуп, если так можно сказать, сколь раньше был щедр. Я должен был рисовать гипс, это прежде всего. У меня страшное отвращение к рисованию с гипсов, но в мастерской у меня висело, — конечно, не для того, чтобы с них рисовать, — несколько рук и ног. Однажды начал он со мной говорить о гипсах, но так, как не сделал бы этого самый заядлый учитель академист. Я сдержался, однако

Перерывный копачами Нордштадт.



дома я так на это разозлился, что разбил бедные гипсы и выбросил их в ящик с углем. Я подумал: «Я тогда буду рисовать с гипсов, когда вы станете совсем белыми и когда уже не будет для рисования ни рук, ни ног живых людей». Мауве же я сказал: «Друг мой, не говори мне больше о гипсах, они мне невыносимы». В ответ – письмецо от Мауве: в течение двух месяцев он не желает больше обо мне беспокоиться. И два эти месяца он обо мне и не беспокоился. Я же, тем не менее, не сидел сложа руки и хотя действительно не рисовал гипсов, но должен сказать, именно тогда-то оказался на свободе и работал с большим одушевлением и старанием. Когда истекли, приблизительно, два месяца, я написал ему как-то, поздравляя с окончанием большой картины, которая в это время была им дописана, а затем обменялся с ним несколькими словами на улице.

И вот два месяца уже давно прошли, а он у меня еще не был.

А с Т. произошли о тех пор вещи, которые заставили меня сказать Мауве: «Подадим друг другу руку и не будем питать друг к другу ни горечи, ни гнева. Тебе тяжело руководить мной, а мне тяжело принимать твое руководство, так как ты требуешь «точного следования» всему, что ты говоришь, ибо я не в состоянии этого выполнить. Так что и с твоим руководством, и с моим послушанием кончено. Это, однако, нисколько не уничтожает моей благодарности к тебе». Мауве мне на это ничего не ответил, и я больше его не видал.

Сказать Мауве: «Каждый из нас должен идти своей дорогой», меня побудило то, что я получил уверенность, что Т. чересчур уж влиял на Мауве... Это я заметил по самому Т., когда он дал мне понять, что постарается лишить меня денег, которые ты мне посылаешь: «Мауве и я, мы постараемся покончить с этим»... Тео! я человек с ошибками, со страстями, с неудачами, но я не думаю, чтобы я когда-нибудь пытался лишить человека хлеба или отвратить от него друзей. Случалось мне спорить с людьми на словах, но, видишь ли, покушаться из-за разницы в воззрениях на жизнь человека, – на это, по-моему, не способен ни один порядочный человек, это по меньшей мере нечестное оружие...

Vincent

Гаага, 23 апреля 1882 г.

Тео! С тех пор как я написал Мауве: «Знаешь ли, известные два месяца уже давно прошли, подадим же друг другу руку и пойдем лучше каждый своим путем, дабы не было между нами раздора», – с тех пор, говорю я, как я написал ему это, и не получил никакого ответа, мне кажется, будто что-то постоянно душит меня.

Как тебе известно, я придаю большое значение Мауве, и мне тяжело сознавать, что из всего того счастья, которое мне приносил Мауве, немного получится, так как я опасаюсь, что чем лучше я буду рисовать, тем больше буду встречать трудностей и сопротивления. Из-за ряда особенностей, которые мне свойственны и которых я изменить не в состоянии, мне придется много страдать. Во-первых, то, как я выступаю, а равно моя манера говорить и одеваться, а затем и то, что потом, когда я стану больше зарабатывать, я все-таки буду общаться с другими кругами, нежели прочие художники, и навсегда останусь в этих кругах. Этого настойчиво требует как то представление, которое я вообще имею о вещах, так и сами вещи, которые я изображаю.

Прилагаю маленький набросок Землекопов¹. Я скажу тебе, для чего я его прилагаю. Т. сказал мне: «Как раньше с тобой дело было плохо и тебе ничего не удавалось, – так и теперь то же самое».

Позвольте, пожалуйста, – нет! Теперь дело обстоит совсем иначе, чем раньше, и это заключение – лживо.

То, что я не годился специально для профессии торговца или для учебной зубрежки, еще ни в коем случае не доказывает, что я непригоден и в качестве художника. Наоборот, если бы я, по мнению других, был годен на роли священника или купца, я, может быть, ничего бы не стоил как живописец или рисовальщик и вынужден был бы снова подать в отставку и получить ее.

¹ Некоторые фигуры из упомянутого наброска, включая трех маленьких женщин в правом верхнем углу, частично повторяются в других рисунках Ван Гога.

Как раз потому, что мне свойственна художественная хватка, я не могу бросить рисование, — и вот я тебя спрашиваю, сомневался ли я, колебался ли, смущался ли я чем-нибудь, начиная с того самого дня, как принялся рисовать. Мне кажется, и ты это очень хорошо знаешь, что я все время пробивался вперед и, естественно, становлюсь все крепче в этой борьбе.

Возвращаюсь к наброску, — он сделан на улице, во время мелкого дождя, причем я стоял в грязи среди всей сутолоки и шума улицы. Посылаю его тебе, чтобы показать, что альбом моих набросков доказывает, что я стараюсь схватить вещи сразу на месте. Посади-ка, например, Т. на улице около ямы с песком, где рабочие занимаются прокладкой водопровода или газовых труб, — хотел бы я посмотреть, какую рожу он при этом сделает и какой набросок у него получится. Бродить по верфям, по улицам, по дворам, по залам ожидания на станции, даже по трактирам, — это не очень интересная профессия, *если только ты не художник*.

В качестве же такового ты охотнее заберешься в грязнейший квартал, если для тебя там есть что порисовать, нежели пойдешь на чашку чая в общество хорошеньких дамочек, — разве что художник захочет рисовать этих дам, в таком случае и общество за чаем может оказаться для него занимательным. Я хочу только сказать, что таскаться в поисках тем для набросков среди рабочих, терзаться и мучиться с моделями и вообще рисовать на месте — это трудная, зачастую даже грязная работа, и воистину манеры и костюм коммивояжера не совсем-то подходят ни для меня, ни для любого человека, который не собирается вести беседы с прекрасными дамами и богатыми господами, и продавать им дорогие вещи и зарабатывать этим деньги, а должен, например, быть с землекопами в канаве.

Если б я мог быть тем, чем является Т., если бы я был пригоден для этого, тогда я не годился бы для моего дела. Для этого дела лучше быть таким, каков я есть, нежели стараться приобрести такие манеры обхождения, которые ко мне не подходят.

Когда я носил довольно хороший костюм в изящном магазине¹, я и тогда чувствовал себя неладно, а сейчас это было бы и того хуже, — вероятно, я и сам

¹ Торговля художественными произведениями «Гупиль и К^о» в Гааге и Париже.

тосковал бы и другим был бы скучен, а между тем, я — совершенно другой человек, когда нахожусь за работой где-нибудь на улице, на дюнах или на полях. Тогда и мое противное лицо, и моя потертая одежда вполне соответствуют окружающему, я становлюсь самым собой и работаю с удовольствием.

Что касается «Как это сделать», то я надеюсь все же пробиться. Будь на мне хороший костюм, рабочие, которые нужны мне в качестве модели, отнеслись бы ко мне недоверчиво и стеснительно или же потребовали бы с меня много денег.

И вот я пробиваюсь, как могу, и мне кажется, я не принадлежу к тем, которые жалуются «нет моделей в Гааге»... Если, тем не менее, делаются замечания по поводу *моих* манер и моего одеяния, лица и особенностей речи, что же я на это могу ответить... только то, что такая болтовня мне наскучивает.

Видишь ли, по-моему, вся вежливость вообще построена на потребности, которая заставляет человека с сердцем помочь другому, на том, наконец, что каждому хочется жить вместе с другими, а не одному. Для этого я делаю все возможное. Я рисую не для того, чтобы надоедать людям, но чтобы радовать их, или для того, чтобы обратить их внимание на вещи, которые заслуживают внимания и однако же известны далеко не всякому. Я не могу никак вбить себе в голову, Тео, будто уж я представляю собой такое чудовище грубости и невежливости, что достоин исключения из человеческого общества или, по словам Т., «не должен был бы оставаться в Гааге».

Неужели я для них мерзавец, потому что живу с теми людьми, которых рисую? Неужели я становлюсь подозрительным из-за того, что посещаю дома





рабочих и бедняков и принимаю их в моей мастерской?

Мне кажется, моя работа обязывает к этому, и только тот, кто ничего не понимает ни в живописи, ни в рисовании, может делать подобные замечания.

Я только одно хочу знать: «А рисовальщики для «Графики», «Пунча» и проч., – откуда добывают они себе модели?» Не бродят ли они постоянно по беднейшим кварталам Лондона, – так или не так? А их знание народа, разве оно у них прирожденное, или же они приобрели его в более поздние годы, живя среди народа, интересуясь вещами, мимо которых обычно проходят без внимания, и запечатлевая в себе то, что другие забирают?

Когда я иду к Мауве или к Т., я не могу выражаться так, как хочу, и возможно, у меня это тем хуже получается, чем лучше

пытаюсь я это сделать. Если бы они хоть сколько-нибудь привыкли к моей манере выражения, она не мешала бы им.

Мне хотелось бы, чтобы они принимали меня таким, каков я есть. Мауве хорошо ко мне относился и здорово, энергично мне помогал, но это продолжалось четырнадцать дней – *слишком мало!*...

Vincent

62

Гаага, 1 мая 1882 г.

...У меня готовы два больших рисунка. Во-первых, «Скорбь», но в большом формате, одна фигура без окружающего. Положение фигуры все же

несколько изменено; волосы свисают не назад, на спину, но вперед, частью заплетенными. Это позволяет видеть плечо, затылок и спину. Кроме того, фигура нарисована более тщательно.

Другой рисунок «Корни» – корень дерева в песчаной почве.

Я стараюсь о том, чтобы внести в пейзаж то же чувство, что и в фигуру; то же судорожное и страшное вращение в землю и вместе с тем полуоторванность от нее под воздействием бурь.

И в этой белой, тонкой женской фигуре, и в этих черных узловатых корневищах с их отростками я стремился выразить некое чувство жизненной борьбы. Или, лучше сказать, поскольку я старался, не философствуя, просто быть верным той натуре, которая была передо мной, в обоих случаях почти независимо от моей воли, в рисунки вошло нечто от этой великой борьбы. По крайней мере, мне самому представлялось, что в них есть кое-что от такого настроения, – я, впрочем, могу и ошибаться; в конце концов, ты сам их как-нибудь увидишь.

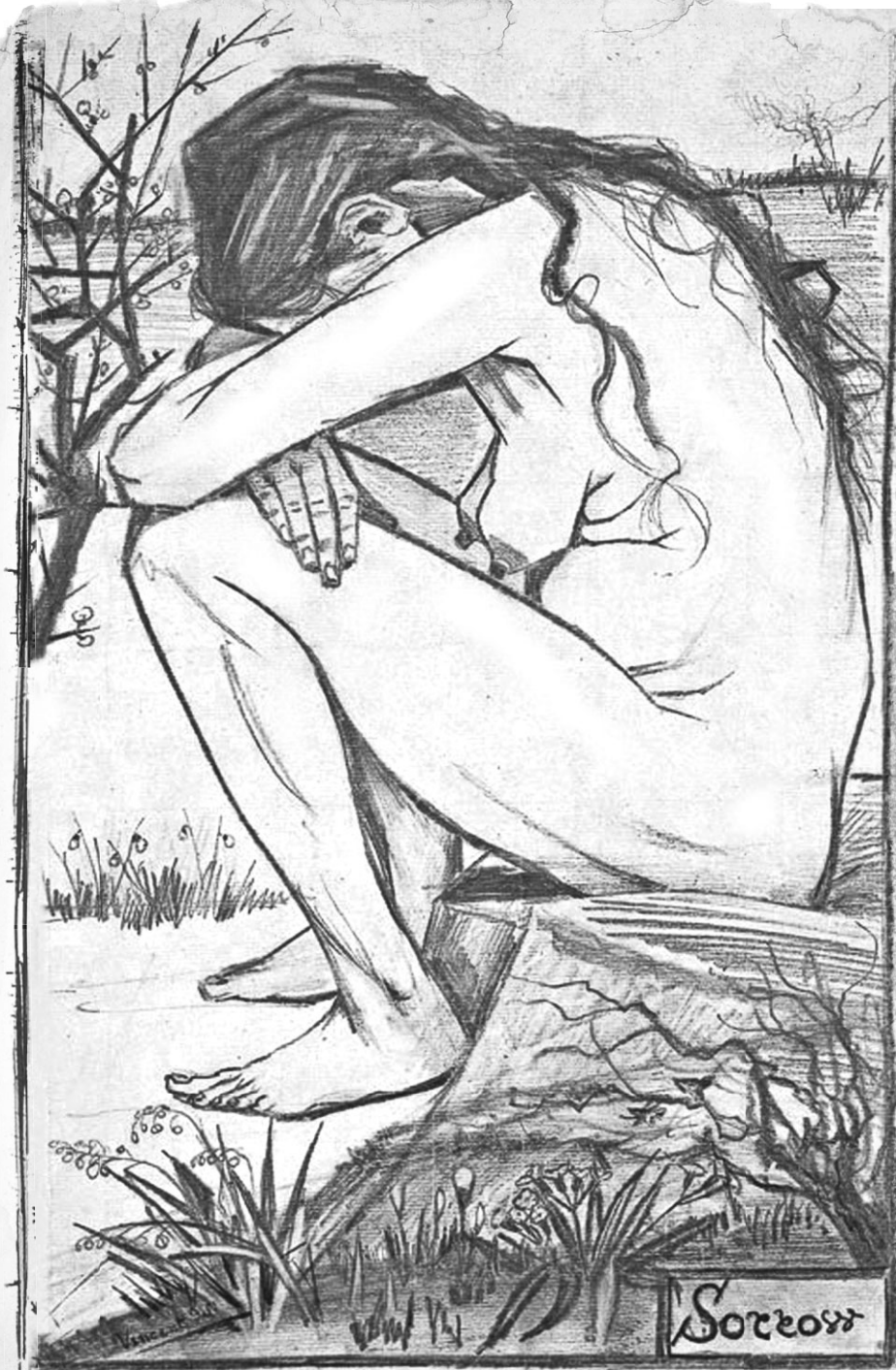
Хотя «Корни» – карандашный рисунок, но я работал карандашом так, как работают в живописи. Что касается плотничного карандаша, то я счи-



таю следующее: чем рисовали старые мастера? Конечно, не Фабером В, ВВ, ВВВ и т.д., но куском неотделанного графита. Инструмент, которым пользовался Микельанджело и Дюрер, был, вероятно, похож на плотничный карандаш. Однако я при этом не был и не знаю этого, но считаю, что плотничным карандашом можно достигнуть совершенно иной силы, чем всеми этими тонкими карандашами. Я предпочитаю графит в его натуральном виде, чем во всех этих дорогостоящих и значительно тонко пилёных Фаберах. Глянец уходит после фиксирования молоком. Когда сидишь на открытом воздухе и работаешь мелом Контэ, тогда, при ярком свете, как следует и не знаешь, что делаешь, и кажется, что рисунок получился чересчур черный; однако графит скорей сер, чем черен, и обработав наново рисунок пером, можно к нему еще прибавить на пару октав черного. Таким-то образом самая большая сила карандаша снова становится светлее, когда ее оттеняет перо.

Превосходен древесный уголь, но когда его много отделяешь, тогда его свежесть как бы утрачивается и для того, чтобы сохранить его тонкость, нужно тотчас же его фиксировать. Среди пейзажистов я знаю ряд рисовальщиков, которые много им пользовались, например, ван Гойн, Калам, а среди современных Рулофс. А все-таки, если бы кто-нибудь изобрел хорошее перо и надлежащую чернильницу для работы на вольном воздухе, тогда, вероятно, появилось бы гораздо больше рисунков пером. Углем, полежавшим в масле, можно сделать превосходнейшие вещи. Я видел это у Вейсенбруха; масло фиксирует, а черный цвет становится теплее и глубже. Но, я думаю, будет лучше, если я сделаю нечто подобное через год. Хочу, чтобы красота пришла не от материала, а от меня самого. Когда я продвинусь еще немного вперед, тогда я как-нибудь надену изящный костюм, то-есть буду работать в более благородном для рисунка материале, а поскольку я и сам буду в состоянии внести нечто от себя, то получится некая двойная ценность, превосходящая всякие ожидания. Но прежде всего, до любого успеха – борьба грудь с грудью, борьба с вещами в природе...

Кажется, в моих работах не видно признаков, которые позволяли бы считать, что я не смогу пробиться, если только предположить, что я все



Comment se fait-il qu'il y ait sur la terre une femme seule - Désirée
Michélet



время стану продвигаться вперед и буду над этим биться. Кроме того, я не принадлежу к тем, кто работает медленно и трудно.

Рисование у меня становится страстью и чем дальше, тем сильнее я ей отдаюсь, а «где есть воля, есть и путь». Воля должна у меня заключаться в самом создании произведений, а у тех, кто мне сочувствует сейчас или будет симпатизировать потом, – в продаже и приобретении моих вещей. Была бы воля, думается мне, а путь отыщется.

Но когда люди судят так, как Т.: «не годится для продажи, некрасиво», тогда перед моим носом вырастает гора всяких неприятностей. В конце концов, как бы то ни было, чтобы победить эти «непродажно», «некрасиво», я буду работать с еще большим напряжением...

Вейсенбрух заявил, когда я ему рассказал, что вещи, которые я вижу, представляются мне как бы нарисованными пером: «Тогда ты и должен их рисовать пером». Вей-

сенбрух видел не маленькую, а большую «Скорбь» и говорил мне про нее вещи, которые меня порадовали.

Поэтому-то я и осмелился сказать про большую то, что сказал. У меня, так сказать, нет никакого «руководства» и «преподавания» со стороны других людей, я – самоучка, и поэтому неудивительно, что особенности моей работы, при поверхностном рассмотрении, отличны от работ других. Однако это ведь не причина для того, чтобы мои работы оказывались негодными для продажи. Во мне существует твердая уверенность,

Син за шитьем, 1882 г.

что большая «Скорбь», женщина с Гееста¹, «постоялец и другие, если пожелаешь, найдут в один прекрасный день своего покупателя.» Но так же возможно и то, что позже я их доработаю. Я даже вновь работал над Ян Ван Мердерворт. У меня так же есть женская фигура в черной рясе из мериносовой шерсти (Син за шитьем, 1882), и я уверен, что если она побудет у тебя некоторое время, ты бы свыкся с тем, как она сделана и не желал бы, чтобы я сделал ее по-другому.

Адье, ну вот и все на сегодня,

Vincent

¹ Имеется в виду рисунок «Пожилая женщина в шали с палочкой».

Син с сигарой у очага, 1882 г.





Гаага, 7 мая 1882 г.

Разрешаю тебе сказать Мауве о моем письме все, что ты пожелаешь, и закончить с этим.

Дорогой Тео!

Сегодня я встретился с Мауве и имел с ним тяжелый разговор, из которого мне стало ясно, что мы с ним разошлись раз и навсегда. Мауве зашел так далеко, что уже не может и не захочет взять обратно сказанное.

Я просил его, чтобы он зашел посмотреть мои работы и затем высказаться по их поводу. Мауве отказался наотрез: «Я к тебе не приду ни в каком случае, — это совершенно исключено».

Под конец он сказал: «У тебя злобный характер». Тогда я повернулся спиной — это было на дюнах — и пошел домой один.

Мауве винит меня за то, что я сказал: «Я — художник», а я не возьму обратно этих слов, так как, само собой разумеется, это слово значит только «вечно искать, искать наиболее совершенного».

Это, как видишь, нечто совсем другое, чем: «Я это уж знаю, я это уже нашел». Мое



слово значит, как мне представляется, следующее: «Я ищущ, я гонюсь за этим, стремлюсь всем сердцем».

У меня еще есть уши, Тео! Когда кто-нибудь говорит: «у тебя злобный характер», – что же должен я делать? Я повернулся и пошел один домой, но с печалью в сердце из-за того, что Мауве осмелился это произнести. Я не требую у него объяснений и, еще меньше того, не стану перед ним оправдываться.

Но все же – все же – все же... Я хотел бы, чтобы он почувствовал раскаяние.

Меня в чем-то подозревают... это висит в воздухе, я что-то скрываю. «Винсент прячет за спиной нечто, что боится света»... Ну, хорошо, господа мои, я вам скажу, вам всем, придающим такую большую цену приличиям и воспитанности, и по справедливости, конечно, если только предположить, что этот хлам вообще есть нечто настоящее – так вот: что более нравственно, что более тонко по чувству, более мужественно: бросить ли женщину или принять участие в судьбе брошенной?

Этой зимой я встретил беременную женщину, брошенную тем, от кого у нее было дитя под сердцем¹.

Беременная, она зимой бродила по улицам и вынуждена была зарабатывать свой хлеб, ты понимаешь, каким образом.

Я взял ее к себе как модель и проработал с ней всю зиму. Я не мог ей платить полный дневной заработок модели, что однако, не исключает того, что я платил за ее помещение и смог до сих пор, благодарение богу, уберечь ее и ее детей от голода и холода, разделяя с ней свой хлеб. Когда я встретил ее, я обратил на нее внимание, потому что она казалась больной. Я заставил ее, поскольку был в состоянии, принимать ванны и питаться; она стала

¹ В этом письме Ван Гог впервые раскрывает личность своей модели – Клазины (Син, Христина) Марии Хоорник. Возможно, о ней идет речь в письме 52. Отношение Ван Гога к падшим женщинам и его идеи о семейных и общественных устоях, священности нуклеарной семьи совпадают с мнением Мишле (особенно, в книге «Женщина»), которую он много цитировал, в период, когда был влюблен в Кее Фос.

много здоровее. Я ездил с ней в Лейден, где имеется родильный приют, где она должна родить. Ничего не было удивительного в том, что она выглядела больной; ребенок находился у нее в неправильном положении, и она должна будет выдержать операцию, чтобы выправить ребенка щипцами. Тем не менее много надежды, что она это хорошо перенесет. *Ребенок появится на свет в июне.*

Думается мне, что каждый человек, достойный хотя бы своих подметок, поступил бы так же, если бы встретился лицом к лицу с таким случаем. Я считаю все, что я сделал, делом настолько простым и само собой понятным, что полагал это возможным оставить про себя. Работу, в качестве модели, она переносила с трудом, тем не менее приучилась, а я, имея таким образом хорошую модель, сделал успехи в рисовании. Эта женщина привязана ко мне, как ручной голубь; я же со своей стороны, собираясь жениться только раз, что лучшего мог бы сделать, как не жениться именно на ней, ибо таким образом я и дальше смогу ей помогать, без этого она собьется на прежний путь, ведущий в бездну.

У нее нет денег, но она моей работой помогает мне их добывать. Я радуюсь и горжусь моей профессией и моей работой, и если я оставил на время живопись и акварель, то это произошло от того, что меня бросил Мауве, а это для меня было слишком большим ударом. Если б он возвратился, я бы снова нашел энергию. А сейчас не могу больше видеть кисть, она раздражает мне нервы.

<Я написал тебе: «Тео, можешь ли ты просветить меня об отношении ко мне Мауве», – возможно, это письмо просветит тебя. Ты – мой брат, естественно, что я обсуждаю с тобой такие личные вопросы. Но с тем, кто говорит, что у меня «злой характер», я прекращаю общение в эту же секунду.>

Я не мог иначе, я сделал то, что считал своим долгом, я работал. Я полагал, что меня поймут без слов. Я вспоминал, конечно, о другой женщине, по которой билось мое сердце, но она была далеко и не желала меня видеть; а эта – бродила зимней порой, больная, беременная, голодная. Мауве, Тео, Терстех, я не мог иначе поступить – мой хлеб в ваших руках! Неужели

вы меня оставите без хлеба и повернетесь ко мне спиной! Ну вот, я высказался и жду, что мне теперь скажут.

Vincent

Посылаю тебе несколько рисунков, из которых ты, может быть, поймешь, что она действительно помогает мне в качестве модели¹.

Фигура в белом чепце – ее мать².

Считаясь, однако, с тем, что приблизительно через год, когда я, вероятно, буду работать по-другому, я должен буду опираться на эти рисунки, сделанные сейчас с такой точностью, мне хотелось бы получить обратно хотя бы три из них. Как видишь, они выполнены очень тщательно. Если потом я сделаю какой-нибудь интерьер – например, зал ожидания или что-либо подобное, – они мне очень пригодятся, ибо смогу ими воспользоваться для деталей. Мне, однако, казалось правильным, чтобы ты точно знал, на что трачу я свое время.

...Женщина, нагнувшаяся вперед³, нарисована на той бумаге,



¹ Вероятно, упомянутые рисунки – это один из рисунков «Сидящая женщина», «Женщина за шитьем».

² «Женщина в белом чепце».

³ Т.к. с этим письмом Ван Гог выслал всего три наброска, скорее всего, речь идет об одном из рисунков «Сидящей женщины».

которую я употребляю охотнее всего, но лучше, если бы она была цвета небеленого холста. Бумаги такой толщины у меня уже почти не осталось. Она, кажется, называется двойным Энгром, и здесь я не могу ее больше достать. Ты видишь, как выполнен этот рисунок, и понимаешь, что более тонкая бумага не могла бы в этом случае выдержать...

Vincent

64

Гаага, 13 мая 1882 г.

Дорогой Тео!

Сегодня я послал тебе несколько рисунков и набросков¹. Я прежде всего хотел показать тебе, что то, о чем я сообщал, не служит мне помехой в работе, а наоборот, что я буквально весь полон этой работой и что она делает меня радостным и добрым.

<Я всего лишь надеюсь, что ты продолжишь быть тем, чем был для меня. Я не считаю, что принизил или обесчестил себя тем, что сделал, несмотря на то, что некоторые так и думают. Я чувствую, что моя работа лежит в сердце людей, что я должен держаться ближе к земле, что должен глубоко изучить жизнь и преуспеть, делая копии с большим вниманием и трудностями.> Я не могу себе представить другого пути, и пока работаю, пока могу рассчитывать на кое-какую симпатию таких людей, как ты, — не желаю оставаться без труда и забот.

С жизнью то же, что я с рисованием; иногда надо действовать быстро и решительно, энергично схватывать вещи и стараться, чтобы большие линии возникали с молниеносной быстротой. Тут нет времени ни для колебаний, ни для сомнений, рука не должна дрожать, глаз не должен бродить с места

¹ В одном из последующих писем брату Ван Гог указывает на «2 дюжины в портфолио». Какие это были рисунки — неизвестно.

на место, но должен быть твердо устремлен на то, что перед ним находится. Нужно так глубоко погрузиться в это, чтобы в короткое время на бумаге или полотне, где раньше не было ничего, было нечто создано. Потом и сам иной раз едва понимаешь, как ты это намазал. Время обдумывания и размышления должно предшествовать действию. При самом действии остается мало места для раздумья и рассуждений. Быстрое действие это – мужское дело, и прежде чем ты окажешься способным к этому, нужно кое-что и пережить. Бывает, что штурману вместо того, чтобы погибнуть в пучине, удается использовать бурю для движения вперед.

Я хотел тебе еще раз сказать следующее: больших планов на будущее у меня нет, и если по временам у меня возникает стремление к счастью и к жизни, свободной от забот, то я всегда с любовью возвращаюсь к трудам, к заботам, к тяжелой жизни и думаю: «Так лучше, так я большему научусь; от этого я не становлюсь ниже. Не на таком пути погибают люди».

«Я поглощен работой, и я уверен, что благодаря доброй воли таких людей, как ты, Мауве, Терстех, несмотря на наши разногласия этой зимой, я преуспею и заработаю достаточно, чтобы продолжить жить – не в роскоши, но в духе «в поте лица твоего будешь есть хлеб»¹.»

Христина для меня не камень на шее, а помощь. Если б она осталась одинокой, она, вероятно, погибла бы. Женщина не должна быть одинокой, особенно в таком обществе и в такое время, как наше, когда слабых не жалеют, а когда слабый падает, его давят ногами и проезжают по нему колесами.

А так как я много видел таких раздавленных, то сильно сомневаюсь в истинности того, что именуется прогрессом и просвещением. Я верю, правда, в просвещение даже и в нынешние времена, но только в такое, которое основано на настоящей любви к человеку. То, что оплачивается человеческой жизнью, я считаю варварством и не уважаю.

«В любом случае довольно. Если бы я смог снимать домик по соседству, если бы у меня было еженедельное содержание, было бы замечательно. Если этого не случится, я не перестану надеяться, и подожду чуть дольше. Но если

¹ Книга Бытие, глава 3, стих 19.

все же первое случится, это станет такой удачей и придаст мне больше сил для работы, а не для забот, полностью поглощающих меня.

Ты увидишь, что в портфолио множество разных вещей. Сохрани те, которые считаешь лучшими из присланных мной. Остальные, с твоего разрешения, я верну себе.>

Vincent

65

Гаага, 16 мая 1882 г.

Дорогой Тео!

Если б мне удалось более глубоко раскрыть перед твоим взором то, о чем я тебе только что писал, ты бы понял, где корень дела. Я не хочу ничем приукрашивать мое посещение Амстердама. Но тем не менее начинаю с того, что прошу тебя не считать мои возражения за бесстыдство.

Прежде всего, благодарю тебя сердечно за присланные пятьдесят франков... Деньги в наши дни есть то же, чем прежде было право сильного. Противоречить кому-нибудь опасно, это вызывает не сомнения, нет, а попросту удар кулаком по шее.

Например, в такой форме: «Ничего у него больше не куплю» или: «Не буду ему больше помогать». Поскольку это так, я, противореча тебе, рискую своей головой, но я не знаю, однако, как мне быть иначе. Если, Тео, я должен погибнуть, – вот моя голова. Ты знаешь мои обстоятельства и знаешь, что от твоей помощи зависит, жить ли мне или не жить.

Я стою между двумя возможностями – но если на твое письмо я отвечу: «Да, Тео, ты прав. Я прогоню Христину», то, во-первых, соглашаясь с тобой, скажу неправду, а во-вторых, приму на себя обязательство совершить нечто отвратительное.

В том же случае, если я тебе буду противоречить, а ты будешь действовать, как Т. и М., тогда мне, так сказать, придется сложить голову. – Пусть так, долой так долой, другое – еще хуже! Теперь начинаю некое краткое объяс-

нение, в котором я напрямую раскрою такие вещи, от которых могу ждать с твоей стороны лишения меня помощи. Однако замалчивать их для того только, чтобы сохранить твою помощь, мне кажется мерзким. Предпочитаю поэтому более рискованный путь. Если удастся мне разъяснить тебе то, чего ты, кажется мне, еще не понимаешь, тогда Христине, и детям ее, и мне будет лучше. Чтобы достигнуть этого, я должен смело сказать то, что сейчас собираюсь сказать.

Желая выразить мое чувство к Кее Фос, я говорил прямо: «Только она и никто другой». Ее слов: «нет, никогда, ни за что на свете» – не было достаточно, чтобы убедить меня отказаться от нее. Я еще надеялся, я казался самому себе куском льда, которому суждено растаять, если моя любовь останется живой. Оттого-то я не знал покоя. Я чувствовал напряжение, становившееся непереносимым, так как она все еще продолжала молчать, и я ни разу не получил от нее ни одной строчки.

Я отправился в Амстердам. Мне там сказали: «Когда тыходишь в дом, Кее выходит из него». – Против твоего «только она и никто другой» стоит ее «ни в каком случае не он». Твоя настойчивость *вызывает отвращение!*»

Я воткнул палец в огонь лампы и сказал: «Дайте мне повидать ее хоть на то время, пока я держу в огне руку». Нет ничего удивительного в том, что впоследствии Т. все глядел на мою руку, но они, представляется мне, потушили лампу и ответили: «*Ты ее не увидишь*».

Это, видишь ли, было уж чересчур, особенно, когда начали говорить о моем насилии, и я почувствовал, что те вещи, которые мне говорились, были смертельными ударами и что мое «только она и никто другой» было убито. Тогда, не сразу, правда, но довольно скоро после этого, я почувствовал, что моя любовь умирает, и ощутил вместо нее пустоту, огромную пустоту. И вот, ты знаешь, я верю в бога, не сомневаюсь в силе любви, но тогда я почувствовал нечто вроде: «боже мой, боже мой, почему ты оставил меня»? Я уж больше ничего не понимал и думал: «Значит я ошибся?»... «О боже, нет бога»!

Я не мог выдержать этого холодного, отвратительного приема в Амстердаме. Покидая ярмарку, познаешь торговцев.

Довольно! Получив поддержку и одобрение от Мауве, я бросился из всех сил в работу. Затем, когда Мауве бросил меня, я несколько дней чувствовал себя больным. В конце января я встретился с Христиной. Ты, Тео, скажешь, что если бы я действительно любил К.Ф., я не поступил бы так. Неужели и теперь ты все еще не понимаешь, что я не мог больше выдержать после того, что мне было сказано в Амстердаме? – Что же, я должен был тогда упасть в отчаяние? – Но почему честный человек должен отчаиваться? Я не злодей и не заслуживаю такого скотского обращения. Впрочем, что им до этого! Итак, они победили и стали мне в Амстердаме поперек пути.

Но теперь я уже больше не нуждаюсь в их мнении. Как человек совершеннолетний, я спрашиваю: «Разве я не волен жениться, – так это или не так? Не волен надеть рабочий костюм, – да или нет? Кому обязан я давать отчет, кто смеет меня принудить? Кому придет охота мне мешать, тот поплатится!

Видишь, Тео, я измучился, устал. Поразмысли, и ты поймешь это. Неужели мой путь неверен только потому, что то один, то другой говорит: «Ты отклоняешься от пути истинного»! К. М. тоже вечно болтает о пути истинном, как Т. и попы. Но К. М. считает также и Дегру скверным малым. Пусть себе болтают, у меня уши вянут их слушать.

Чтобы забыть все это, ложусь в холщевой куртке на песок перед старым корневищем дерева и рисую его, курю трубку и смотрю в глубокое голубое небо... или на мох и траву. Это меня успокаивает. Так же покойно я чувствую себя, когда Христина или ее мать мне позировать, и я соразмеряю пропорции и стараюсь прочувствовать под складками черного платья тело в его длинных изгибающихся линиях.

Тогда я удален на тысячу миль от К. М. и Т. и чувствую себя много счастливее. Но, к сожалению, появляются заботы, и вот приходится или говорить, или писать о деньгах, – и все начинается сначала. Я думаю, что Т. и К. М. сделали бы много лучше, если бы поменьше беспокоились о моем «пути» и больше бы меня ободряли в рисовании...

Я не понимаю Мауве; было бы много дружественнее с его стороны, если б он вообще обо мне никогда не заботился.

В прежнее время среди художников господствовал другой тон, а теперь они поедом едят друг друга, они стали знатными господами, которые живут и интригуют в своих виллах. Я лучше себя чувствую на какой-нибудь глухой, серой, нищей, грязной, темной улице. Здесь я никогда не скучаю, а в этих прекрасных домах мне все противно, а томиться в них я считаю скверным. Я говорю себе тогда: «Так как я не их поля ягода, то и не буду туда ходить». Слава богу, у меня есть работа, но чтобы работать, мне нужны деньги, а я не могу еще их зарабатывать; вот где зарыта собака!

Если мне удастся порисовать так год или, не знаю, сколько там времени, Гиот или другую такую улицу и притом так, как я ее вижу – со старухами, рабочими и работницами, – тогда это понравится Т. и проч. Но тогда уж они услышат от меня: «Идите к черту». «Вы меня бросили, – скажу я, – когда я был в нищете, – я не знаю вас больше, друзья, отойдите и не застилайте мне свет».

Что касается любви, то я сомневаюсь, знаешь ли ты даже, что в ней является первыми А Б В.

Ты, может быть, считаешь это претенциозным? Я хочу сказать, что любовь лучше всего чувствуешь, когда сидишь у постели больной и зачастую без гроша в кармане. Это, конечно, не собирание цветов весной, что продолжается только несколько дней. Остальные месяцы серы и мрачны, но в самой этой мрачности научаешься чему-то новому. Иногда мне кажется, что ты это знаешь, а иногда кажется, что нет. Я хочу сам пережить любовь и страдание в домашнем быту, чтобы рисовать их по собственному опыту. Когда я возвратился в Амстердам, я почувствовал, что моя любовь, которая была так искренна, так неприкрашена, буквально убита. Однако по смерти восстают от смерти. Я снова воскресну. Тогда я нашел Христину. Колебания, откладывание были тут неуместны. Нужно было действовать. Если я не женюсь на ней, то лучше было бы мне вовсе о ней не заботиться. А этот шаг создаст пропасть, благодаря которой я со всей решительностью делаю то, что называется «отрывом от общества». Это, однако же, не запрещено, и это не скверно, хотя люди и считают это неправильным.

Я устраиваю свою домашнюю жизнь, как устраивает ее рабочий. Я чувствую себя так больше у себя. Я и раньше хотел этого, но не мог тогда этого выполнить. Надеюсь, что ты и в дальнейшем протянешь мне руку через пропасть. Я имел в виду 150 франков в месяц. Ты говоришь, что мне надо больше. Подожди: мои расходы, с тех пор как я ушел от Гупиля, никогда не превосходили в среднем 100 франков в месяц, кроме тех случаев, когда были поездки. У Гупиля я вначале получал 30 гульденов, а потом 100 франков. За эти последние месяцы у меня было больше расходов, но я сумел устроиться, и вот я спрашиваю тебя, разве эти расходы не оправданы или преувеличены, тем более, что ты знаешь, что произошло. А как часто, как часто за эти долгие годы у меня бывало меньше 100 франков. Если же у меня иногда бывали расходы на путешествия, то разве я за то не изучил языка и не развился, — разве эти деньги брошены в воду?

Необходимо, чтобы я пошел правильным путем. Если я отложу женитьбу, получится что-то фальшивое в моем положении, что мне претит. И я, и она, мы постараемся себя ограничить и помочь друг другу, когда поженимся. Мне 30, ей 32 года, мы начинаем нашу жизнь уже не детьми. Что касается матери и ее ребенка, — то последний снимает с нее пятно, а перед женщиной-матерью я чувствую уважение и тогда уже не спрашиваю ее о прошлом. Я рад, что у нее есть ребенок, ибо именно это позволило ей знать то, что она должна знать...

В Амстердаме меня так решительно отвергли, так оттолкнули, что было бы безумием с моей стороны продолжать то же. Неужели мне следовало тогда впасть в отчаяние и броситься в воду или выкинуть что-нибудь в этом роде? Не дай-то бог, я сделал бы это, если бы был плохим человеком! Я встряхнулся, не нарочно, а потому, что был для этого случай, и не отказался начать жизнь снова, Это уже другое дело: Христина и я — мы лучше понимаем друг друга. Мы никому не мешаем, и, само собой разумеется, мы, вместе с тем, далеки от претензии поддерживать честь своего сословия.

Зная предрассудки света, я понимаю, что мне надо сделать, дабы самому бросить тот общественный круг, который к тому же и сам уже давно меня отвергал. Больше тут нечего улаживать, незачем и дальше идти.

Возможно, в случае чересчур трудных обстоятельств мне придется некоторое время подождать, прежде чем мы начнем жить вместе, но и тогда я хочу жениться, не сообщая о том никому, в полной тиши. Если кто начнет шум по этому поводу, я не обращаю на это никакого внимания.

Так как она католичка, то брак наш еще проще. Церковь, следовательно, отпадает сама собой. Ни я, ни она не хотим с ней иметь дела.

Ты скажешь: «Коротко и ясно!» – Пусть так! Я хочу знать только одно дело – рисование, а у нее также одна определенная работа – позирование...

Пусть нам придется жить хоть в дыре; я согласен на корку хлеба, но у своего очага, как бы убог он ни был, чем жить не женившись. Она знает, что такое бедность, и я тоже. Бедность имеет нечто и за и против себя, но несмотря на бедность, мы все же решаемся. Рыбаки знают, что море опасно, а буря ужасна, но им всегда непонятно, чтобы опасность могла послужить причиной того, чтобы сидеть на суше и гулять. Эту мудрость они оставляют тем, кому это нравится. Надвигается буря, наступает ночь; что хуже, опасность или страх перед опасностью?

Vincent

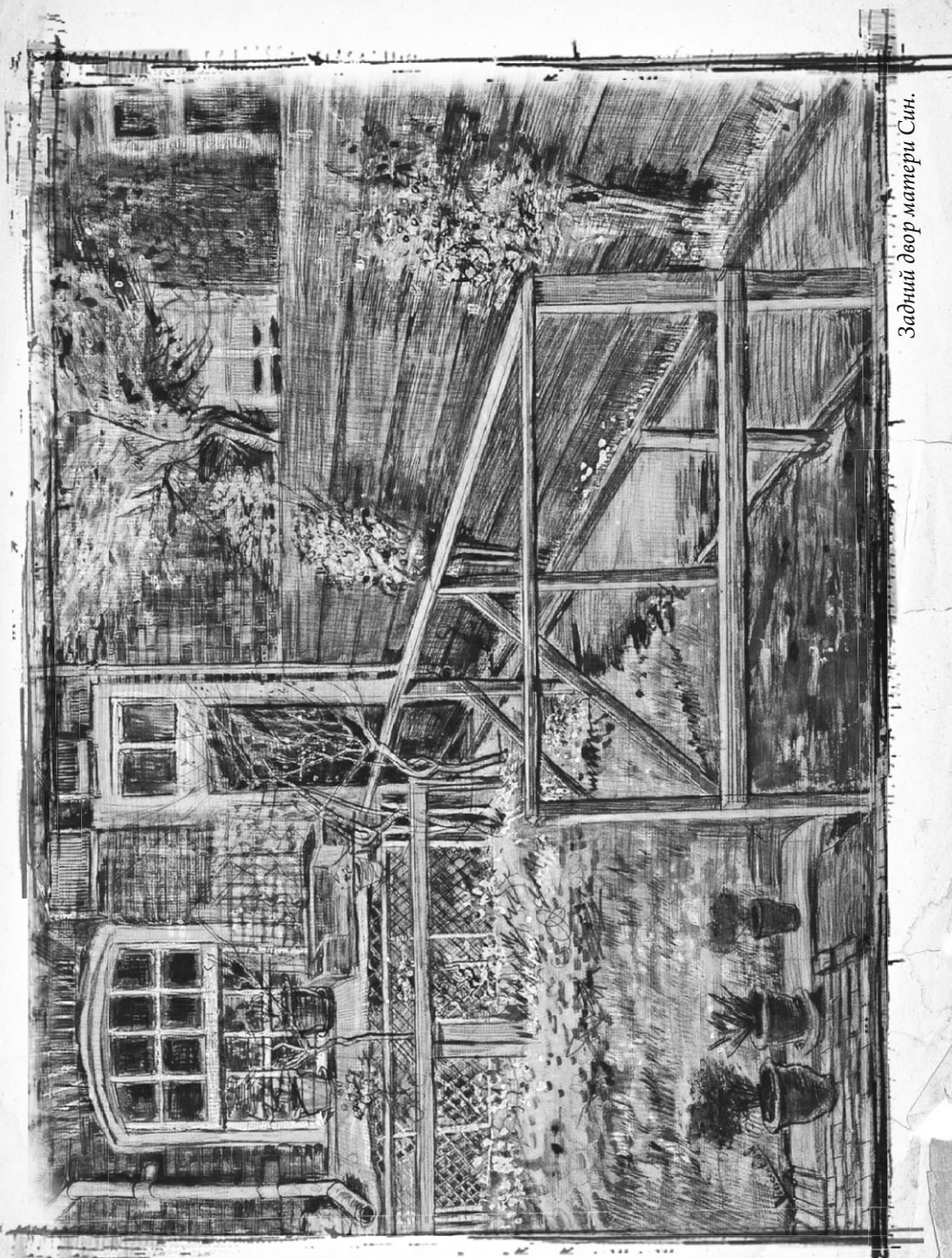
Винсент не оставляет надежды начать получать прибыль от рисунков и продолжает упражняться, делая заказы для дяди Кора даже когда начинает болеть, о чем пишет в письме от 27 мая 1882 года: «Помимо прочего я делаю рисунки для дяди Кора, и похоже, что они его удовлетворяют, особенно тот большой рисунок заднего двора, где живет мать Син. Мне бы хотелось, чтобы ты увидел его и еще один – мастерскую плотника. Ракурс более сложный, чем у рисунка «Лаан у Мишрдевоорта» (см. письмо № 81 от 11 августа 1882 года – прим. ред.), который я тебе послал, и мне пришлось хорошо поработать над ним.

Должен тебе сказать, что в эти дни я в четыре утра уже на улице, потому как именно в это время слишком тяжело быть на улице из-за прохожих и беспризорников и только в это время возможно увидеть четкие линии и предметы все еще имеют тон».

Иногда Ван Гог, не имея денег на марки, придерживал свои письма, чтобы дорисовать рисунок и отправить все сразу. Так в письме от 2 июня 1882 года Ван Гог пишет о задержанном рисунке «Амбар для разделывания рыбы». Он рассказывает о поездке, в которую он отправился вместе с Син, чтобы его сделать. Винсент переживает одно из самых счастливых времен в своей жизни и делится этим с братом: «Мы с Син поехали в дюны, чтобы я мог сделать рисунок, и пробыли там с раннего утра и до самого вечера, как истинная богема. Мы взяли с собой хлеб и небольшой мешочек с кофе, нам даже удалось достать горячую воду у женщины-углекопа из Схевенингена. В такой обстановке эта горячая вода и женщины-углекопы выглядели неопишимо занятно. А в пять утра, когда я уже был в магазине, свой кофе пришли выпить дворники.

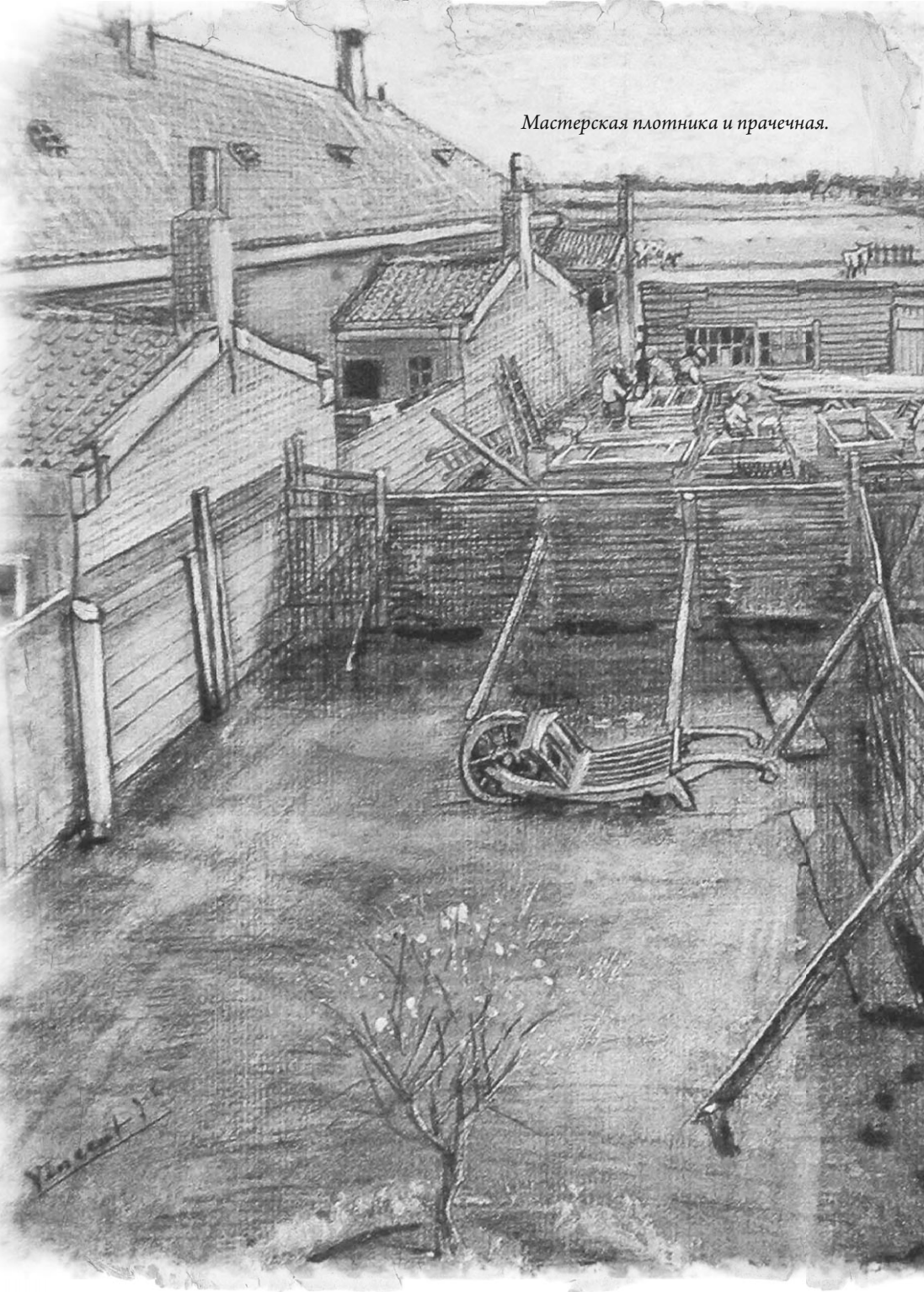
Дом матери Син.





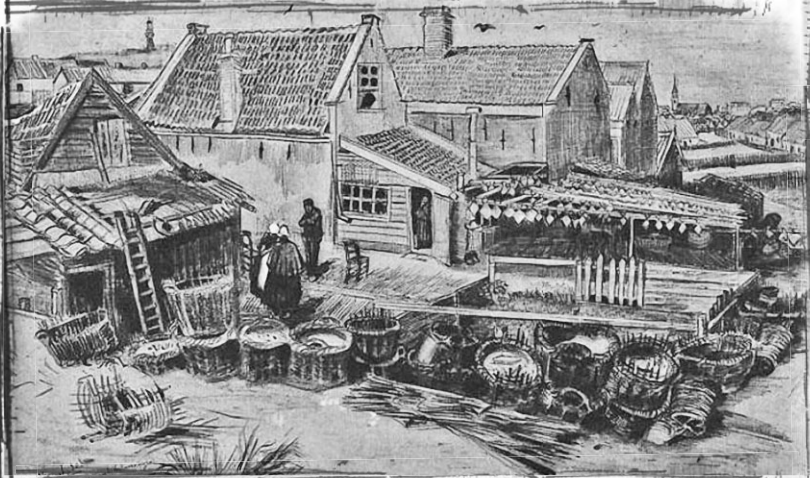
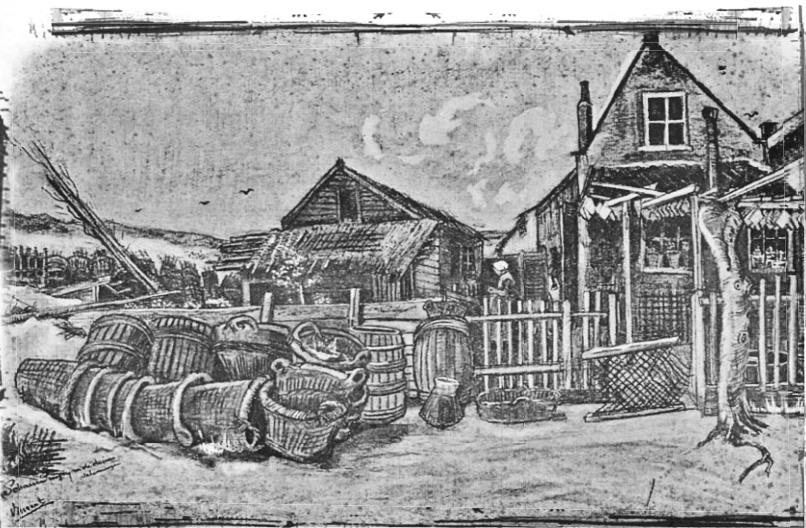
Задний двор матери Сын.

Мастерская плотника и прачечная.

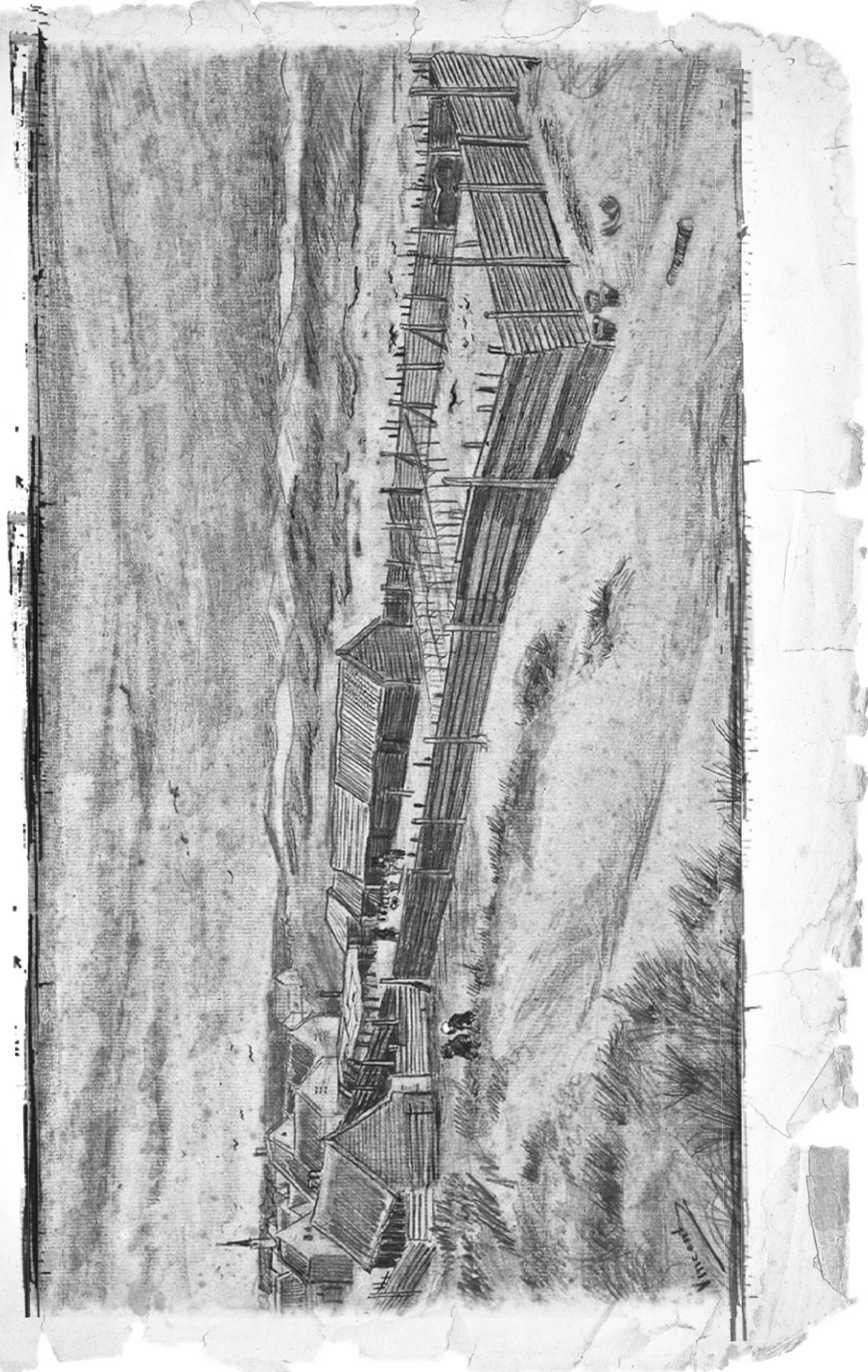




Какой интересный сюжет для рисунка, старина!!! Конечно, позы, в которых должны стоять разные фигуры потребуют от меня много усилий, но в сердце горит желание сделать это». Меж тем, брату и его отцу церковнослужителю связь Винсента с падшей женщиной видится не столь радужной. Беспокоясь о том, на кого именно уходят средства, пересылаемые им, Тео начинает призывать брата к здравому смыслу и пытается отговорить от связи с порочной женщиной.



Двор для разделывания рыбы.



Гаага, 1 и 2 июня 1882 г.

...Хотелось бы мне, чтоб ты узнал Син¹. Но ты так далеко, а вместе с тем нельзя так описать человека, чтобы ты его достаточно хорошо узнал. Все же попытаюсь.

Помнишь ли ты нянюку, которая жила когда-то у нас в доме в Зундerte, – Лиин Херман? Син, если только память мне не изменяет, представляется мне такого же рода женщиной. Тип ее лица приблизительно напоминает лицо ангела в «Распятии» Ланделя. Ты знаешь, о чем я говорю, – о коленопреклоненной фигурке. Репродукция с нее имеется в одном из изданий Гупиля. Но конечно, она – не вполне такая, я говорю это, только чтобы дать некоторое представление о линии ее лица. У нее была легкая оспа, и поэтому она собой не хороша, но линии ее тела просты и не лишены грации.

Что я ценю в ней, так это то, что она не кокетничает со мной, а тихо идет своим путем, обладает в большой степени доброй волей, преклоняется перед обстоятельствами и способна к учению, так что может мне помогать в моей работе и в тысяче других вещей. А то, что она уже не молода, не глупа и не кокетлива, это, видишь ли, как раз и есть то, что дает мне возможность быть с ней вместе. Ее здоровье было очень плохо, и этой зимой она была очень слаба. Однако выражается она отвратительно, она часто говорит такие вещи и такие слова, которые никогда бы, например, не сказала наша иначе воспитанная сестрица Виллемина. Это, однако, больше не мешает мне. Я предпочитаю, чтобы она скверно выражалась, но была добра, чем если б она была деликатна на словах и в то же время бессердечна...

Отец часто говорил, что мое воспитание и проч. ему обошлось дороже других. Вот почему в будущем, например, в случае женитьбы, я ни о чем не буду его просить, даже если б это была старая чашка или блюдечко. У Син и у меня есть все самое насущное. Единственно, без чего мы не можем обойтись, пока я сам лишен заработка, это без 150 франков от тебя на квартиру, хлеб, башмаки, материал для рисования, одним словом, на текущие расходы.

¹ Син – уменьшительное от Христины. (Прим. перев.)

Я не прошу ничего, ни старой чашки, ни даже блюдечка. Я желаю только одной вещи, — чтобы мне дали возможность так любить и так заботиться о моей бедной, слабой, замученной Син, как мне это позволяет моя нищета, и пусть никто не предпринимает шагов, чтоб нас разлучить, нам помешать или причинить нам неприятность. Никто ничего не дал ради нее или для того, чтобы избавить ее от тягот; она была одинока, брошена, как ненужная тряпка, а я поднял ее и отдал ей всю любовь, всю нежность, все заботы, на которые был способен. Она почувствовала это, стала крепче, или, лучше сказать, становится крепче. Ты ведь знаешь старую басню или аллегория: жил некогда бедняк в городе, и у него ничего не было, кроме единственной овцы, которую он купил и выкармливал, пока она не выросла. Овца ела из его рта, пила из его кружки, спала у него на коленях и была у него как бы дочерью.

В том же городе жил и богач, имевший стада овец и быков, и вот он отобрал у бедняка его овцу и зарезал.

Так вот, если бы, например, Терстех мог поступить так, как ему хочется, он бы взял у меня Син и столкнул ее в ту прежнюю проклятую жизнь, которую она всегда презирала...

Vincent

67

Гаага, 8 июня 1882 г.

Городская больница, 4 класс, зал 6, № 9.
Броуверсграхт¹.

Дорогой Тео! Если ты приедешь сюда приблизительно в конце июня, ты застанешь меня, надеюсь, за работой; а сейчас я в больнице, где, однако, побуду только четырнадцать дней².

¹ 7 июня 1882 года Ван Гог поступил в больницу, пациентом которой также был Георг Брейтнер, голландский художник и фотограф.

² В действительности Ван Гог пробыл в больнице дольше, до 1 июля 1882 года.

Уже в течение трех недель я сильно страдал от бессонницы и лихорадки и чувствовал боли при испускании мочи. <Оказалось, что у меня очень легкий случай того, что известно как «триппер»¹>. Теперь я должен смиренно лежать в постели, глотать много хинина, делать себе время от времени впрыскивания, — словом, все обстоит так невинно, что тебе нет надобности из-за этого беспокоиться².

...В дни посещений ко мне заходит Син, которая следит за моей мастерской...

Vincent

68

Гаага, 9 июня 1882 г.

...У меня с собой книги по перспективе и несколько томов Диккенса, среди них Эдвин Друд; в Диккенсе тоже много перспективы. Черт возьми, вот художник! Нет человека, который мог бы то, что он может.

Надеюсь, то, что я так спокойно лежу, окажет хорошее влияние на мое рисование; бывает часто, что лучше видишь вещи, когда некоторое время не можешь над ними работать. Потом, так сказать, обретаешь все опять новым и свежим.

Вид из окна больницы в моих глазах превосходен: верфи, лодки с картофелем, зады домов, которые ломаются, рабочие, кусок сада, а на следующем, более удаленном плане — набережная с рядом деревьев и фонарей и запутанный двор с прилегающим садиком, а затем все эти крыши. Все получается с птичьего полета. Но вечером, и особенно утром, все выглядит благодаря световому эффекту так таинственно, как у Рейсдаля или Вермеера. Я не могу

¹ Гонорея.

² Винсент заблуждался по поводу несерьезности своей болезни. Оказавшись в больнице 7 июня, он вышел из нее лишь спустя месяц. Все это время ему приходилось проходить весьма болезненную процедуру: исследование мочевого пузыря катетером.

этого нарисовать и не буду в состоянии, пока так слаб. Однако, несмотря на запрещение, я все же не в состоянии не глядеть на это по вечерам.

И в зале здесь так же много интересного, как в зале третьего класса на вокзале; но я не могу рисовать...

Vincent

69

Гаага, 22 июня 1882.

...Будь я в порядке, и если бы я мог устроиться так, как нужно, — с каким удовольствием я сделал бы здесь в залах несколько этюдов. Я теперь лежу в другом зале, с постелями или койками без занавесей. Вечером в особенности, или ночью здесь получаются своеобразные эффекты. Врач как раз такой, какой мне больше всего нравится; в нем есть многое от рембрандтовских голов: прекрасный лоб и очень симпатичное выражение лица. Я надеюсь из него кое-что извлечь. Теперь я буду обращаться с моделями, как он с больными, — буду попросту хватать их и без разговора сажать в ту позу, какая нужна. Удивительно, какое у этого человека исключительное терпение, когда он сам натирает, мажет и всячески возится с больными, лучше всякого санитаря. И как он умеет рассеивать сомнения и сажать людишек как раз в то положение, какое нужно! Тут есть также старик, который был бы превосходен для фигуры святого Иеронима. Худое, длинное, жилистое, коричневое, морщинистое тело с превосходно выраженными сочленениями; можно впасть в меланхолию от желания иметь его моделью.

Мне кажется, что врач здесь, в этом классе, много проще обходится с больными, чем в более дорогом. Тем лучше!

Здесь, как видно, не так уж бояться причинить боль, как в высших залах. Здесь, например, они очень быстро, без особых «формальностей» и комплиментов, вводят катетер в пузырь. Что же, по-моему, тем лучше! Повторяю, здесь не менее интересно, чем на станции в зале третьего класса.

Если бы только я мог работать...

Гаага, 1 июля 1882 г.

Дорогой Тео!

Уже несколько часов, как я в своей мастерской и вот пишу тебе. Не могу тебе выразить, как прекрасно чувствовать себя выздоравливающим, и какими прекрасными мне казались все вещи по дороге из больницы. И свет сильнее, и пространство шире, и все фигуры кажутся больше и значительнее.

Есть при этом все же и некоторое «но», так как уже в ближайший вторник я опять должен буду отправиться к доктору и рассказать ему о моих делах. Он меня уже предупредил, что мне придется, вероятно, провести еще дней четырнадцать, может быть, больше, может быть, меньше, в больнице...

...<Должно быть я забыл рассказать тебе о самом неожиданном визите в больницу г-на Терстеха. В некотором смысле, это доставило мне большое удовольствие, несмотря на то, что мы не говорили чем-то особенном, но это и не требовалось. Мне показалось это очень добрым поступком. Несколько дней после приходил еще Итерсен¹, который волновал меня много меньше...>

Vincent

Гаага, 2 июля 1882 г.

Дорогой Тео!

Как я тебе вчера писал, я был в Лейдене. Син вчера родила. У нее были очень трудные роды, но, слава богу, она осталась жива, равно как и очень милый мальчик. Ее мать, ее дочь и я отправились к ней вместе. Ты не можешь

¹ Сотрудник галереи «Гупиль» в Гааге.

себе представить, в каком напряжении мы были, когда спрашивали о ней в больнице, не зная, что мы в конце концов услышим.

Мы были страшно рады, услышав: «Родила этой ночью, но вы не должны с ней много говорить». Не легко забуду я это «вы не должны с ней много говорить»; это значило: «ты не можешь еще с ней говорить»; но могло также прозвучать: «Ты уже никогда не будешь с ней говорить». Тео, я так был счастлив, когда ее увидел! Она лежала у самого окна выходившего в сад, весь в солнце и в зелени, и от истощения находилась как бы в забытии, между сном и бодрствованием; но потом она подняла взор и увидала нас всех; к тому же мы случайно пришли двенадцать часов спустя после того, что произошло, а это единственный час в неделю, когда разрешено ее посещать. Она повеселела и была в эту минуту, во всяком случае, в полном сознании и обо всем спрашивала...

Vincent

72

Гаага, 6 июля 1882 г.

...<Теперь я не считаю излишнем снова сказать тебе, хоть это и трудно выразить, что я чувствую к Син. Когда я с ней, я ощущаю себя *дома*, ощущаю с ней *домашний очаг*, который мы создали вместе. Это невероятно глубокое чувство, серьезное и не без темных теней ее и моего достаточно мрачного прошлого... будто на самом деле что-то мрачное продолжает угрожать нам, из-за чего наша жизнь должна быть постоянной борьбой. И в то же время я чувствую великое успокоение и ясность, и жизнерадостность при мысли о ней и о пути, лежащем предо мной.>

...Син вначале была для меня только близким, несчастным, как и я сам, человеком. Хотя я тогда не был в отчаянии, однако, находился в таком настроении, что хотелось служить ей опорой, а этим я ободрял и себя, укрепляя свою стойкость.

Но постепенно между нею и мною возникло нечто другое, *явная потребность друг в друге*, — так что мы, я и она, уже не могли обойтись друг без друга

и чем дальше, тем больше жизнь одного внедрялась в жизнь другого, — и это была *любовь*. То, что происходит между мной и Син, это — действительность, не мечта, а реальность.

То обстоятельство, что мои мысли и моя работа получили крепкую опору и нашли определение, — я считаю за великое благословение. Возможно, что к Кее Фос я испытывал больше страсти, и она во многих отношениях была для меня более притягательна; но следует ли отсюда, что любовь к Син менее искренна? Поистине, нет! Обстоятельства для этого слишком серьезны, все зиждется на поступках и на реальности, и так было с самого начала, как только я ее встретил.

Видишь, каков результат! Когда ты приедешь, ты не застанешь меня в унынии и меланхолии, но попадешь в обстановку, где господствует мир, и по меньшей мере найдешь веселое настроение, молодую мастерскую, молодое домашнее хозяйство в полной деятельности, — не мистическую и таинственную мастерскую, но мастерскую, всеми корнями вросшую в самую глубину жизни. Мастерскую с колыбелью и детским судном; мастерскую, где ничто не замерло, но все побуждает и настраивает, подбадривает к деятельности.

Для меня ясно как день: нужно чувствовать то, что делаешь, нужно жить в действительности, нужно жить в семье, когда хочешь интимно воспроизводить жизнь семьи, мать с ребенком, прачку, швею и прочее того же порядка. Благодаря упорной работе, рука постепенно начинает повиноваться чувству. Если бы я, однако, захотел подавить это чувство, стремление иметь свой домашний быт, это было бы самоубийство. Вот почему я говорю: «Вперед!» не взирая на темные тучи, заботы, трудности, созданные, к сожалению, вмешательством и сплетнями людей...

Не думай, что я считаю самого себя совершенством или воображаю, что не виноват в том, что многие считают меня человеком со скверным характером. Часто я нестерпимо труден, меланхоличен, раздражителен; я испытываю нужду в сочувствии с какой-то алчностью и жаждой, а не находя его, становлюсь равнодушным и резким, подливая этим масло в огонь. Я не люблю общества... Обхождение с людьми, разговор с ними зачастую мне трудны и мучительны. Но знаешь ли, откуда это? Попросту от моей нервно-

сти! Я нестерпимо тонко чувствую, и в физическом и в моральном смысле. Я, если можно так выразиться, заработал это, заработал в те годы, когда жил в таком убожестве. Спроси врача – он сразу все поймет! Спроси его, могло ли быть иначе? Не являются ли эти ночи, проведенные на холодной улице, наруже, эта боязнь остаться без хлеба, постоянное напряжение (так как, в сущности, я был без места), склока с друзьями и с семьей – не было ли все это, по меньшей мере на три четверти, причиной моих странностей и моего дурного настроения, и не этому ли следует приписать те неприятные припадки подавленности, которые я иногда испытываю?

Но ни ты, ни кто-нибудь другой, кто взял бы на себя труд задуматься над этим, не станет, полагаю, меня осуждать и считать невыносимым. Я борюсь с этим, но это не меняет мой темперамент. И если у меня есть скверные стороны, то, черт возьми, есть и хорошие, – и разве не следует и их также принимать во внимание?...

Vincent

73

Гаага, 6–7 июля 1882 г.

...Мастерская выглядит, мне кажется, самобытно – гладкие светлокоричневые обои, вымытый пол, все выстрогано и выглажено, все в чистоте.

Конечно, – этюды по стенам, мольберт с каждой стороны и большой рабочий стол простого дерева. К мастерской примыкает род алькова, где стоят рисовальные доски, папки, банки, полки и проч. т. п. Тут же лежат иллюстрации. В углу шкаф со всеми горшками, бутылками и, кроме того, книгами. Потом жилая комната со столом, несколькими кухонными стульями, керосинкой, большим соломенным креслом для хозяйки в углу у окна, выходящего на известную тебе по рисункам верфь. Рядом – маленькая железная колыбель с зелеными занавесками. Я не могу на нее смотреть без волнения. Сильное, мощное чувство охватывает человека, когда он сидит рядом с женщиной, которую любит, и возле ребенка в колыбели... Я повесил над ней большую гра-

вию Рембрандта: две женщины у колыбели, одна читает при свече библию, между тем как большие падающие тени погружают всю комнату в глубокую полутьму.

Кроме того, я повесил тут и еще другие, наиболее ценные вещи: «Христос-утешитель» Шеффера, фотографию с «Сеятеля» Боутона, «Землекопы» Милле, «Кустарник» Рейсдаля, роскошную большую гравюру на дереве Херкомера и Холла и «Бедняков» Дегру....

Vincent

74

Гаага, 15–16 июля 1882 г.

... Что мастерская и домашнее хозяйство сливаются, нисколько не вредит, особенно, когда дело идет о фигурах. Я хорошо помню внутренность мастерской Остаде – маленькие рисунки пером, вероятно, – уголки его собственного дома, которые вполне доказывают, что мастерская Остаде была, видимо, мало похожа на те мастерские, в которых видишь восточное оружие, вазы, персидские ковры и проч. Говоря об искусстве, скажу, что я иногда чувствую охоту снова заняться живописью.

Как только Син поправится, она опять начнет мне позировать. Уверяю тебя, у нее достаточно хорошая фигура.

Что она вполне усвоила позирование и годится для него, это ты и сам видишь, между прочим, по «Скорби» и по другим имеющимся у тебя рисункам.

Есть у меня еще различные рисунки обнаженной натуры, которые ты еще не видал. Как только она поправится, я обязательно буду продолжать делать их; это многому учит.

Если бы мне в самом деле пришлось на значительное время отказаться от работы на воздухе и если бы эта работа, чего я не ожидаю, стала для меня из-за нездоровья невозможной, то и дома во всяком случае найдется достаточно материала, чтобы не сидеть без дела...

Vincent

Гаага, 18 июля 1882 г.

Дорогой Тео! На этот раз мне придется тебе рассказать о посещении господина Т. Он явился сегодня утром и видел Син и детей. Я думал, что он сделает приветливое лицо, хотя бы по отношению к молодой матери, которая только четырнадцать дней назад встала с постели. Но он не мог снизить даже до этого.

Дорогой Тео! Он говорил со мной таким языком, ты можешь, наверное, догадаться:

«Что означает эта женщина и этот ребенок?»

«Как это мне пришлось в голову жить с женщиной, которая, ко всему прочему, имеет еще и детей?»

«Это так же нелепо, как если б ты проехался по городу в своем собственном экипаже». На что я ответил, что это совершенно другое дело.

«Да в порядке ли у тебя голова? Такие вещи могут родиться в нездоровом теле и больной голове».

Я ему ответил, что еще недавно был вполне успокоен людьми более компетентными, чем он, именно врачами в больнице, как в отношении моего сложения, так и в отношении способности моей головы выносить напряжение.

И таким-то образом, перескакивая с одного предмета на другой, он упомянул и моего отца и, подумай только, даже дядю из Принзенхаге!!! <Что тот займется. Напишет.>

Дорогой Тео! Ради Син, а также ради самого себя, я был очень сдержан. Я не был возбужден и отвечал на его нескромные, по моему мнению, вопросы коротко и сухо, — может быть, чересчур мягко. Но я предпочел лучше говорить мягким тоном, чем рассвирепеть.

Постепенно он успокоился.

...Я считаю, что он способен своим непрошеным вмешательством внести в жизнь всевозможные несчастья, вызвать беспокойство и дома,

и в Принзенхаге (а в Принзенхаге абсолютно нет никакого дела до всего этого) и нарушить равновесие всего этого хлама. Разве нельзя это предупредить?? Все уладилось дома, и кто знает, не испортит ли он все опять.

Не могу тебе выразить, брат, насколько от этого зависит все мое будущее.

Человек может выдержать один раз, когда его унижают и оскорбляют в любви, в делах и планах. Но это же не может повторяться! Вот я поправился, или поправляюсь душой и телом, так же, как и Син; однако, если нас опять начнут, так сказать, бить по голове, это может стать роковым...

Vincent

76

Гаага, 21 июля 1882 г.

...Сегодня я условился сам с собой считать, что мое нездоровье, или, лучше сказать, остатки его больше не существуют. Достаточно времени пропало даром, работа должна продолжаться. Итак, здоров я или нет, но я снова принимаюсь за рисование, регулярно с утра до вечера. Не хочу, чтобы мне опять сказали: «Да ведь это старые рисунки»¹.

Сегодня я рисовал детскую люльку, внеся в рисунок несколько штрихов цветом.

Кроме того, я занят еще таким же рисунком луга, как тот, который я тебе послал последний раз².

Руки у меня стали что-то слишком уж белыми, но что я могу с этим поделать?

Снова отправляюсь работать на вольном воздухе, и если мне, может быть, станет нехорошо, я этим буду меньше огорчен, чем если и дальше стану воздерживаться от работы. Искусство ревниво, оно не допускает, чтобы нездоровье считалось выше его, – так вот я и отдаюсь на его волю!

¹ Отсылка к одному из замечаний Терстеха.

² Отправленный Тео рисунок – «Плотницкий цех и прачечная».

Таким образом, ты скоро, надеюсь, получишь несколько приличных рисунков. Такие люди, как я, не смеют болеть. Ты должен правильно понять то, что подразумеваю я под искусством. Чтобы достигнуть правдоподобия, нужно много и долго трудиться. То, что я поставил себе в качестве цели, — дьявольски трудно, но все-таки не думаю, чтоб я взял цель слишком высокую.

Хочу делать рисунки, которые бы захватывали некоторых людей. «Скорбь» — это скромное начало. Возможно, что и маленькие пейзажи, вроде Лаан-ван-Мирдесвоорта, Рисвикерских лугов, сушилки рыбы, тоже — малое начало.

В них по крайней мере есть нечто от моего собственного настроения. Как в фигурах, так и в ландшафте мне хотелось бы дать выражение не чему-либо сентиментальному, грустному, но — серьезной боли. В итоге мне нужно довести свою работу до того, чтобы про нее могли сказать: «Этот человек чувствует глубоко и тонко», — несмотря на мою грубость, а может быть, как раз благодаря ей.

Сейчас в моих словах все это звучит пока еще претенциозно, но это как раз и есть основание, побуждающее меня тратить на это свои силы.

Что я такое в глазах большинства? — Ничтожество, либо чудака, либо неприятный человек, некто, кто не имеет никакого положения в людском обществе и не будет его иметь. Ничтожество из ничтожеств!

Ладно, — предположим, все это так и есть! Но тогда я хотел бы все-таки показать всей работой, что заключается в сердце такого чудака, такого Никто.

В этом и состоит мое самолюбие, которое основано меньше на гневе, чем на любви (вопреки всему) и опирается больше на чувство веселости, чем на страсть.

Если я часто и испытываю возмущение, то все же внутри у меня спокойная, чистая гармония и музыка. В беднейшем домишке, в грязнейшем углу я вижу картины или рисунки и как бы в неопределенном влечении мой дух следует в этом направлении.

Все остальное происходит отсюда — чем дальше, тем сильнее; и чем больше это происходит, тем скорее глаз мой начинает различать живописное.

Искусство требует упорного труда, труда несмотря ни на что, и непрерывного наблюдения. Под упорством я подразумеваю длительную работу, а затем приверженность к своему воззрению, вопреки болтовне всяческих людей.

Надеюсь, брат, что через несколько лет, а может быть, уже в скорости, ты увидишь у меня вещи, способные тебе доставить удовлетворение за твою жертвенность.

За последнее время я особенно мало говорил с художниками. Я чувствовал себя от этого не плохо. Нужно слушать не столько голос художника, сколько голос природы. Теперь я лучше это понимаю, чем полгода назад, когда Мауве сказал мне: «Не говори мне про Дюпре, говори лучше про эти канавы на улицах или про что-нибудь в этом роде». Это, кажется, сильно сказано, но совершенно верно. Чувствовать самые вещи, самую действительность значительно важнее, чем чувствовать картины, – во всяком случае, плодотворнее, жизненнее.

Поскольку во мне есть такое большое и глубокое чувство к искусству, равно как к самой жизни, выражением которой является искусство, постольку я и ощущаю с такой остротой ту фальшь, которую видишь в людях, гоняющихся только за успехом.

Я, со своей стороны, нахожу во многих современных картинах своеобразное очарование, которого нет у старых мастеров.

В моих глазах высшим и благороднейшим выражением искусства всегда остаются вещи английских художников, например Миллеса, Херкомера, Фрэнка Холла. Мне хочется сказать относительно различия между старым и новым искусством, что новые художники, может быть, в большей мере являются мыслителями.

Рембрандт и Рейсдаль великолепны как для нас, так и для их современников, но в современных мастерах есть нечто такое, что ближе, интимнее воспринимается нами.

Когда несколько лет назад современные художники были охвачены страстью подражать старым, это было ошибкой.

Поэтому-то мне и кажется столь правильным то, что говорил старик Милле: «Мне представляется абсурдным, когда люди хотят казаться другими, чем они есть на самом деле».

Подумай, пожалуйста, если можешь, о плотном «Энгре»: кстати вот еще одна проба. Тонкая бумага у меня еще есть. На плотном «Энгре» я могу смывать акварель, а на бумаге из рулона она всегда, и не по моей вине, становится мутной. Колыбель буду рисовать с сегодняшнего наброска еще сто раз с упорством...

Vincent

77

Гаага, 23 июля 1882 г.

...Когда ты приедешь, брат, у меня будут для тебя готовы несколько акварелей. Черт возьми, в мастерской так весело работается! Ты помнишь, прошлой зимой я сказал: «Через год ты получишь акварели».

Эти тоже имеют только то значение, чтобы дать тебе понять, насколько я двинулся вперед, в смысле акварели, с корректным рисунком, перспективой и пропорциями.

Я их сделал лишь для пробы, во-первых, чтоб показать, насколько легче мне стало работать акварелью, после того как я целый год только и занимался что рисунком, и во-вторых, насколько я могу двигаться дальше, опираясь на фундаментальное или основное рисование, от которого ведь все зависит.

Это — ландшафты, с очень сложной перспективой, очень трудной по рисунку; но потому-то в них и есть настоящий голландский характер и голландское восприятие. Они похожи на то, что я послал тебе в предыдущий раз, но не так уверенны по рисунку. В них есть и цвет — нежная зелень лугов, противопоставленная красным черепичным крышам, — свет воздуха, звучащий сильнее на потушенных тонах переднего плана, — верфи с землей и влажными досками.

Т. в своем суждении о моей персоне и моем поведении всегда твердо стоит на следующем исходном пункте (это я слышал из его собственных уст): «Ах — с твоей живописью дело идет точно так же, как и со всем тем, за что ты ни принимался, — из этого ровно ничего не выходит»...

Пока он будет мешать мне в работе, я совершенно его забуду... Нет, мне представляется много веселее (ибо искусство действительно входит в мою плоть и кровь) сидеть со своим хламом совершенно спокойно на лугу или на дюнах, или работать в своей мастерской с модели, не обращая на него по меньшей мере никакого внимания.

Что, однако, интересно, это то, что и ты на этих днях прочел «Чрево Парижа»¹. Я также читал его и, кроме того, «Нана». Послушай, Золя – ведь это, в сущности, Бальзак II.

Бальзак I описывает общество 1815–1848 годов, Золя же начинает там, где кончает Бальзак, и доходит до Седана, или, вернее, до сегодняшнего дня.

Я считаю его замечательным. Но вот что еще хочу я тебя спросить: что думаешь ты о мадам Франсуа, поднимающей бедного Флорента, который лежит в бесчувствии прямо на дороге, несмотря на то, что огородник кричит ей: «Пусть его лежит, пьяница! Нет у нас времени поднимать людей, валяющихся по канавам» и проч.? Фигура мадам Франсуа, на всем протяжении книги, стоит на заднем плане рынка, как контраст со зверским эгоизмом других женщин, – стоит так спокойно, достойно и симпатично.

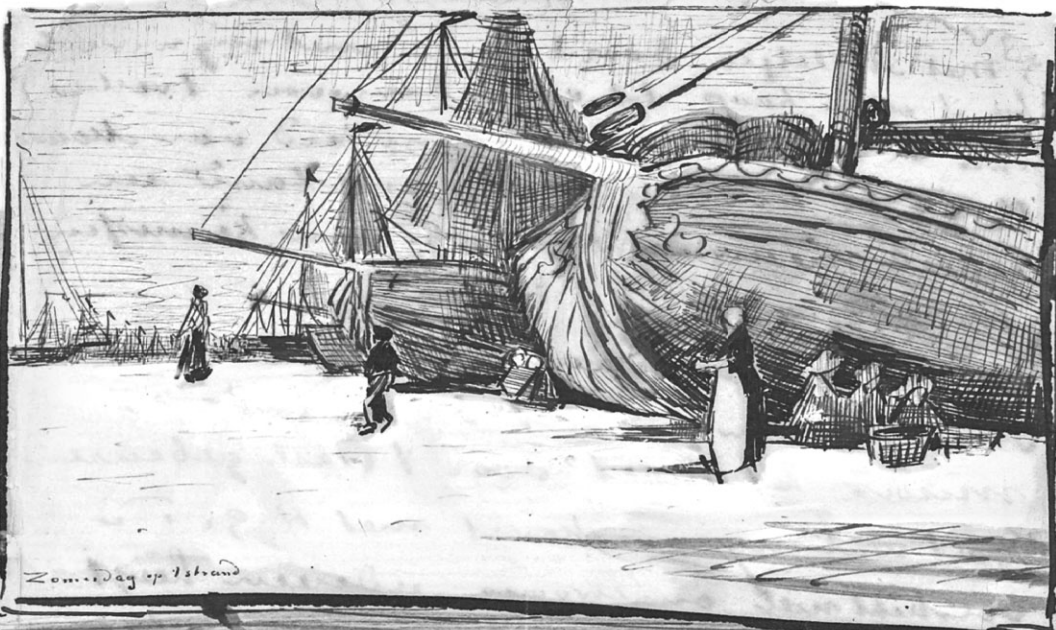
Видишь ли, Тео, я, со своей стороны, нахожу, что мадам Франсуа поступила истинно гуманно, и в отношении Син я поступал и буду поступать так, как, думаю, поступил бы любой человек вроде мадам Франсуа с Флорентом.

Видишь ли, гуманность, это – соль жизни, без нее я бы ничего не дал за жизнь. Баста! На то, что говорил Т., и попросту на весь этот спор и шум я обращаю так же мало внимания, как и мадам Франсуа, когда орали мужики-огородники: «Пусть его валяется, нет у нас времени»!

К тому же скоро наступит время, когда Син станет сама зарабатывать себе хлеб позированием. Она ведь позировала для моего первоначального рисунка «Скорби», а я нахожу его лучшим из того, что я вообще сделал.

Через какой-нибудь год мы будем выпускать рисунки регулярно, – обещаю это тебе. Знай, – если я люблю ландшафты, то еще больше любви чув-

¹ Роман Эмиля Золя.



Рыбацкие лодки на берегу и крыши.

Рисунки к письму
от 26 июля 1882.



Ryöngtöcke Wailanden

ствую к фигуре. Это однако самое трудное, и мне придется заплатить за это большим изучением, работой, а также временем...

До сих пор, к моему удовольствию, я еще не болел. Ты только представь себе, что я утром часа в 4 уже сижу у нижнего окна, занятый, с помощью перспективной рамы, изучением лугов и двора со столярной мастерской, а в это время зажигают, чтобы сварить кофе, очаги во дворе, и первый рабочий бредет на верфь.

Над красными черепичными крышами появляется стайка белых голубей, летающая между черными, дымящимися трубами. Вдали за ними, миля за милей, тянется бесконечно легкая, нежно-зеленая страна лугов, и – серый воздух, такой тихий, мирный, как у Коро или ван Гойена.

Вид на гребни крыш и на их водостоки, в которых растет трава; утром, очень рано, первые признаки пробуждающейся жизни – летающие птицы, труба, которая дымит вон там, и маленькая фигурка, бредущая совсем внизу в глубине – все это и является сюжетом моей акварели¹. Надеюсь, она тебе понравится.

Будет ли мне потом хорошо, все зависит, думается, от моей работы, больше чем от чего бы то ни было.

Пока я держусь на ногах, я буду бороться, как умею, в тишине, а не как-нибудь иначе, так что я теперь весело гляжу из моего оконца на вещи в природе и рисую их верно, с любовью.

Своеобразные эффекты перспективы меня интересуют больше, чем человеческие интриги. <Если бы Терстех больше понимал, что мои картины – это что-то совершенно отличное от других, он бы не поднимал такую шумиху. Но сейчас в его глазах я обманул и разочаровал Мауве. Более того, он считает, что я сделал это только благодаря деньгам от тебя. Я нахожу все это абсурдным – слишком абсурдным, чтобы придавать этому значение. Мауве и сам поймет после, что он не обманулся во мне и что я совершенно не был упрямым. Просто именно ОН САМ убедил меня рисовать на совесть, задолго до того, как я начал делать что-либо еще. Но тогда мы не поняли друг друга, потому что за этим стоял Терстех.

¹ «Крыши. Вид из мастерской».



Земля. Рисунок к письму от 26 июля 1882.

Что касается твоего письма, хочу снова сказать, что не могу ничего поделать с тем, что ты не знал о ребенке Син, потому что, когда я говорил тебе о ней, я точно упомянул и ребенка, но ты, наверное, подумал о том, который еще не появился на свет.>

Я не приписываю себе гуманных планов или идей до такой степени, чтобы утверждать, что буду вести себя так по отношению к любому человеку. Но я не стыжусь сказать – хотя отлично знаю, что слово «гуманность» на плохом счету, – что я всегда чувствовал и всегда буду чувствовать потребность любить какое-нибудь создание. Когда-то я в течение шести недель или двух месяцев ходил за несчастным обожженным углекомом, делил всю зиму мою еду со стариком и не знаю уж еще что. А вот теперь – Син. До сегодняшнего дня, однако, я не верю, что в этом есть что-то сумасшедшее или скверное. Наоборот, я чувствую в этом нечто вполне естественное и само собой разумеющееся, так что совершенно не понимаю, как люди вообще могут быть так равнодушны друг к другу...

Vincent

Гаага, 31 июля 1882 г.

Дорогой Тео!

Одно слово, чтобы только пожелать тебе доброго дня, прежде чем ты сам явишься сюда, а также чтобы подтвердить тебе получение твоего послания вместе с прилагаемым и сердечно тебя за все это поблагодарить.

Мне это было очень кстати, так как я сильно влез в работу и снова нуждаюсь то в одном, то в другом.

Относительно черного цвета в природе мы с тобой, сколько понимаю, конечно, совершенно согласны. Абсолютного черного цвета, в сущности, не существует. И тем не менее, он есть почти во всех красках так же, как и белый, и образует бесконечные по тону и по силе различные варианты серого, так что в природе, в конце концов, не видно ничего другого, кроме всех этих тонов и различий в их напряженности.

Есть только три основных цвета: красный, желтый, синий. Составные цвета это — оранжевый, зеленый, фиолетовый.

Отсюда, путем примеси черного и немного белого, получаются бесконечные вариации серого: красно-серый, желто-серый, сине-серый, оранжево-серый, фиолетово-серый.

Нельзя, например, сказать, сколько вообще существует зелено-серых тонов, они варьируют до бесконечности.

Вся химия красок не сложнее этих немногих простых основных принципов, и правильное представление об этом стоит больше, чем семьдесят различных красочных тонов, так как с тремя основными цветами, при помощи черного и белого, можно приготовить больше семидесяти тонов. Колорист тот, кто, видя цвет в натуре, умеет его совершенно свободно анализировать и, например, в состоянии сказать: «серо-зеленый здесь это желтое с черным, почти без синего, и т. д.», — и тот, кто умеет готовить на палитре эти различные в натуре серые тона. Чтобы делать наброски под открытым небом или маленький эскиз, равно как для даль-

нейшего выполнения вещи, абсолютно необходимо иметь сильно развитое чувство контура.

Это, полагаю, не дается само собой, а получается в результате наблюдения, затем при помощи исканий и упорной работы, а под конец к этому должно присоединиться еще изучение анатомии и перспективы. Рядом со мной лежит этюд ландшафта Рулофса, набросок пером, – не могу тебе сказать, как выразителен этот простой контур! В нем есть все. Другой, не менее красноречивый пример, это большая гравюра на дереве «Пастушка» Милле, которую ты мне показал в прошлом году, которая навсегда осталась у меня в памяти; затем, например, также рисунки пером Остаде и Брейгеля Старшего. Видя такие результаты, я чувствую самым убедительнейшим образом, как велико значение контура, и ты знаешь также, что я прилагаю много труда, чтобы усовершенствоваться в этом деле, о чем свидетельствует моя «Скорбь». Однако, когда ты придешь в мою мастерскую, то увидишь, что у меня, кроме поисков контура, определенно есть также чувство тона и что я отнюдь не отказываюсь от работы акварелью.

Но все это опирается прежде всего на рисунок, а из рисунка вырастает, кроме акварели, еще множество других ответвлений, которые у меня, так же точно, как и у всякого, кто работает с любовью, разовьются в свое время.

Я еще раз атаковал старую чертовку – ветлу, и кажется, в итоге получилась лучшая из моих акварелей¹. Мрачный ландшафт – это мертвое дерево возле стоячей, покрытой водорослями лужи. На заднем плане, где скрещиваются железнодорожные пути, – ответвление рейнской дороги, закопченные строения. Вдали зеленые луга, дорога, по которой возят уголь, и воздух с серыми, несущимися друг за другом облаками; из них иные со светящимися белыми краями, а там, где эти облака отделяются, – глубокая синева.

Одним словом, мне хотелось сделать так, как, думается мне, все это видит и ощущает железнодорожный сторож, в своем синем кителе и с красным флагом, когда думает: «Как сегодня пасмурно»!

¹ «Ива без ветвей».

Я работаю в эти дни с большим удовольствием, хотя действительно еще ощущаю последствия болезни...

Что касается продажи моих работ, то у меня в этом отношении нет никаких претензий, за исключением того, что меня чрезвычайно удивило бы, если с течением времени они не продавались бы так же хорошо, как работы других художников; случится ли это сейчас или позднее, оставляю это пока нерешенным; правильно работать с натуры, и притом с упорством, это, кажется мне, – верный путь.

Чувство натуры и любовь к ней рано или поздно, но всегда найдет себе сочувствие в людях, интересующихся искусством. Долг живописца – всецело углубиться в натуру и употребить весь свой интеллект для того, чтобы вложить это чувство в свою работу, так чтобы она стала понятной и другим. Работать на продажу это, конечно, неверный путь, а скорее, по-моему, обман ценителей. Настоящие художники никогда этого не делали, но завоевывали себе ту симпатию, которую они рано или поздно получали, своей искренностью. Больше я об этом ничего не знаю, да и не думаю, чтобы мне нужно было об этом знать. Стараться найти для себя ценителей и пробудить в них любовь к своим вещам, это – нечто другое и, конечно, позволительное.

...Когда я вижу, как много художников берутся здесь со своими картинами и акварелями, но никак не могут выбиться в люди, то я думаю: «Друг мой, застопорилось у тебя дело с рисунком». Я нисколько не жалею, что остановился, дойдя до акварели и масляной живописи. Я наверняка знаю, что догоню, если только буду ковыряться дальше, до тех пор, пока рука моя не перестанет дрожать при рисовании и перспективе; однако, когда я вижу, как komponуют и рисуют из головы молодые художники и затем опять-таки из головы мажут как попало, держат намазанное на расстоянии, с глубокомысленной, мрачной миной, раздумывая о том, на что, собственно, эта мазня в итоге оказалась похожа, а после пытаются из этой мазни сделать что-нибудь, опять-таки из головы, – тогда мне иногда становится больно. Ведь это, думаю я, чертовски скучно и невыносимо.

А ведь эти господа спрашивают меня доверительно, не без некоторой покровительственной мины: начал ли я писать красками?

Случается и со мной, что я сижу и балуюсь, так сказать, – мараю что-нибудь на клочке бумаги; но я придаю этому не больше значения, чем тряпке или деревянному башмаку...

Мне представляется, что здешние художники имеют обыкновение рассуждать таким образом: они считают, что нужно делать то-то и то-то, а кто этого не делает или делает не сразу, или не так точно, или возражает что-нибудь, о таком делается вывод: «Итак, ты, значит, хочешь знать это лучше меня?»

Таким-то образом неожиданно попадаешь минут на пять в резкие отношения друг к другу, да еще в такое положение, что ни та ни другая сторона двинуться не могут ни взад, ни вперед. Наименее отвратительный исход в данном случае – тот, когда у одного из двух хватает присутствия духа промолчать и каким-нибудь образом, под каким-либо предлогом немедленно очистить поле. Почти хочется сказать: «Черт возьми, оказывается, и художники уже составляют семью, то есть неудачное соединение личностей с противоположными интересами, причем каждый держится иного мнения, нежели другие, и объединение двух или нескольких людей оказывается возможным только тогда, когда дело идет о том, чтобы помешать в чем-нибудь кому-либо из собратьев»...

Приписка.

Вот каково, приблизительно, впечатление от ветлы. В самой акварели, однако, нет черного, разве только в заглушенном виде. Там, где на этом наброске черное темнее всего, там в акварели лежат самые сильные, по глубине, коричневые, серые тона...

Vincent

79

Гаага, 5 августа 1882 г.

<Дорогой Тео!

Все еще находясь под впечатлением от твоего визита и более чем обрадованный, что могу продолжить рисовать с новыми силами, пишу тебе пару строк.

Мне хотелось проводить тебя на следующее утро на поезд, но я подумал, что и так злоупотребил твоим временем, и будет невежливым просить тебя о еще одном утре.>

Я чрезвычайно благодарен тебе за то, что ты все-таки побывал здесь, – превосходно, что у меня есть теперь уверенность относительно целого года урегулированной работы, без неприятностей; а то, что ты мне дал, открыло мне, сверх того, еще новые горизонты в живописании...

Расскажу тебе, какие вещи я себе приобрел.

Во-первых, – приличный ящик с влажными акварельными красками, в плитках и в тюбиках, далее ящик с овальной крышкой, которая в раскрытом виде служит палитрой; в нем же есть место по крайней мере для шести кистей.

Это – материал очень ценный и, в сущности, абсолютно необходимый при работе на открытом воздухе; однако, вместе с тем – это и солидный расход, который я, про себя, откладывал на будущее, работая пока отдельными плитками и блюдечками, очень неудобными в тех случаях, когда приходилось брать их с собой, да еще притом вместе с другим багажом. Прекрасное приобретение, которого хватит надолго! Одновременно я взял акварельных красок про запас и обновил и дополнил мои кисти.

Таким образом, у меня есть все, что необходимо для настоящей живописи. Краски в больших тюбах, которые обходятся много дешевле, чем малые, но ты сам понимаешь, что в масле и в акварели я должен ограничиться простейшими красками: охрой красной и желтой, коричневой, кобальтом и прусской синей, неаполитанской желтой, терра-ди-сиеной, черной и белой, а кроме того, немного кармина, сепии, киновари, ультрамарина, гуммигутта в маленьких тюбиках. От приобретения же тех красок, которые можно сделать самому, я воздержался. Думаю, это – практичная палитра со здоровыми красками. Ультрамарин, кармин и прочее тому подобное прибавляются только тогда, когда это уже совершенно необходимо.

Я начну с малых вещей, но надеюсь поупражняться этой зимой на больших эскизах углем в расчете на то, чтоб потом иметь возможность писать в большом формате. Для этого-то я и заказываю себе новую и, надеюсь, луч-

te beginnen met kleine dingen - maar
 wel hoop ik nog dezen zomer ~~aanpak~~
 my te oefenen met houtskool voor
 grootere schetsen met het oog om later
 te schilderen en wat ruimer formeel -
 en 't is daarvoor dat ik weer een meubel en
 hoop ik beter perspectief raam laat maken
 dat in ongelijken grond b. v. wel vast
 staat met twee stelen



Схевенингенский пляж.
 Вид с перспективой.

b. v. op deze manier
 Dat wat we zamen op Schevening sagen.
 Zand - Zee - lucht - is iets dat
 ik zeer zeker van mijn leeren wel eens hoop
 uit te drukken.
 Natuurlijk heb ik niet alles wat gij mij
 gegeven hebt u eens uitgelezen - of het
 dat moet ik wel zeggen de prizen van een - ander
 mij weer gedrukt tegenwilt - en als men nagaat
 meer dingen nu dus zijn dan openbaring wel schijnt.

шую перспективную раму, которая, например, могла бы стоять и на неровной почве дюн, на двух ножках по этому вот образцу.

То, что мы с тобой видели в Шевенингене, песок, море и воздух – как раз и является тем, что я с полной охотой надеюсь выразить.

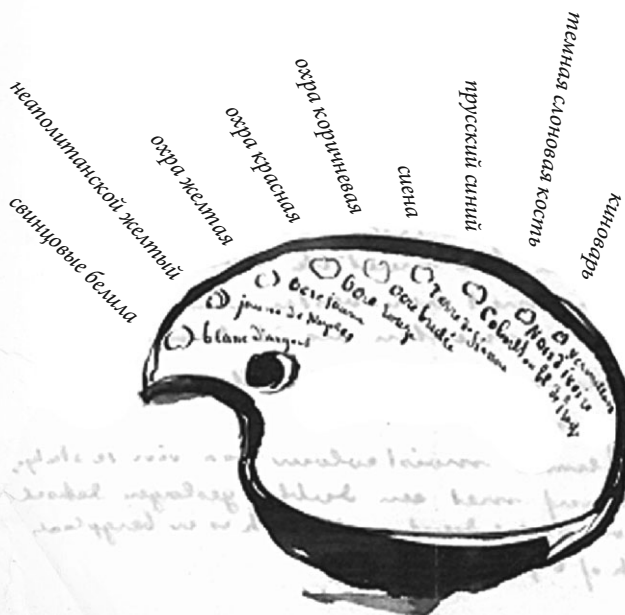
...Я придаю большое значение хорошему материалу и люблю, когда моя мастерская хорошо выглядит, без древностей или ковров и драпировок, но благодаря этюдкам на стенах и хорошим инструментам.

Это со временем образуется в итоге работы...

Вчера в полдень я был на развале, в бумажной торговле Шнульдена на Ланне. Знаешь, что я там нашел? Двойную бумагу Энгр под названием бумага торшон; этот сорт еще зернистее, чем твой. Его там целая партия – старый, отлежавшийся, очень хороший. Я пока взял полтетради, но позднее я всегда смогу найти его там.

Та бумага, что ты привез, приятнее для краски и хороша, например, для этюдов канав и почвы. Я очень рад, что нашел эту новую партию...

Vincent



Палитра Ван Гога.

Гаага, 6 августа 1882 г.

Дорогой Тео!

В моем прошлом письме ты нашел маленький набросок упомянутой перспективной рамы. Я сейчас только что от кузнеца, сделавшего железные наконечники на ножках и железные углы к раме.

Рама состоит из двух длинных ножек; рама по высоте или по ширине прикрепляется к ним деревянными колышками. Таким образом, будь то на берегу, на лугу или на поле, можно всюду получить вид как бы через окно.

Вертикали и горизонтали рамы так же, как диагонали и крестовина, или же деления на квадраты, — дают определенно и точно опорные пункты, при помощи которых можно делать верный рисунок, передающий крупные линии и пропорции.

Так, по крайней мере, бывает в том случае, когда ты обладаешь чувством перспективы, представлением об ее принципах, о том, что и почему; тогда кажущееся изменение направления масс и плоскостей дает изменение в величинах. Без знания рама ничему не поможет, и смотря через нее, можешь дойти только до головокружения.

Я думаю, ты вполне чувствуешь, какая роскошная вещь этот прицел, если его направить на море, на зеленое поле, или зимой, на покрытую снегом равнину, или осенью, на причудливые переплеты тонких и толстых стволов и ветвей, или на бурю.

Она дает возможность, — при большом и при постоянном упражнении, — каждому рисовать молниеносно, а когда готов рисунок, писать молниеносно.

По существу, это ведь абсолютно необходимо для живописи: воздух, почва, море — все это должно быть захвачено кистью или, лучше сказать, чтобы все это выразить одним рисунком, нужно чувствовать и знать обращение с кистью. Думаю с уверенностью, что, если я некоторое время буду писать красками, это окажет большое влияние на мой рисунок. В январе я это уже

пробовал, но потом снова перестал. Основанием к этому, кроме всего прочего, послужила моя тогдашняя неуверенность в рисунке. Но прошло полгода, целиком посвященного рисованию, и вот я с новыми силами принимаюсь за это опять. Рама действительно стала прекрасным инструментом, — жаль, что ты ее ни разу не видал. Стоит она мне довольно много — однако я велел сделать ее настолько крепкой, что она не скоро износится. В понедельник начну делать при ее помощи большие рисунки углем и писать маленькие этюды; если оба эти дела удадутся мне, тогда, надеюсь, за ними последуют и еще лучше написанные вещи.

Что я себе еще приобрел, это — крепкие теплые штаны, а так как перед твоим приездом я как раз купил еще пару здоровых башмаков, то теперь я вооружен против ветра и непогоды.

Вместе с тем у меня есть решительное намерение изучить, посредством ландшафтной живописи, некоторые вещи в технике, которые, чувствую, мне необходимы для фигур, а именно — различные материалы, тон и цвет, — одним словом, дать выражение целому, массе предмета.

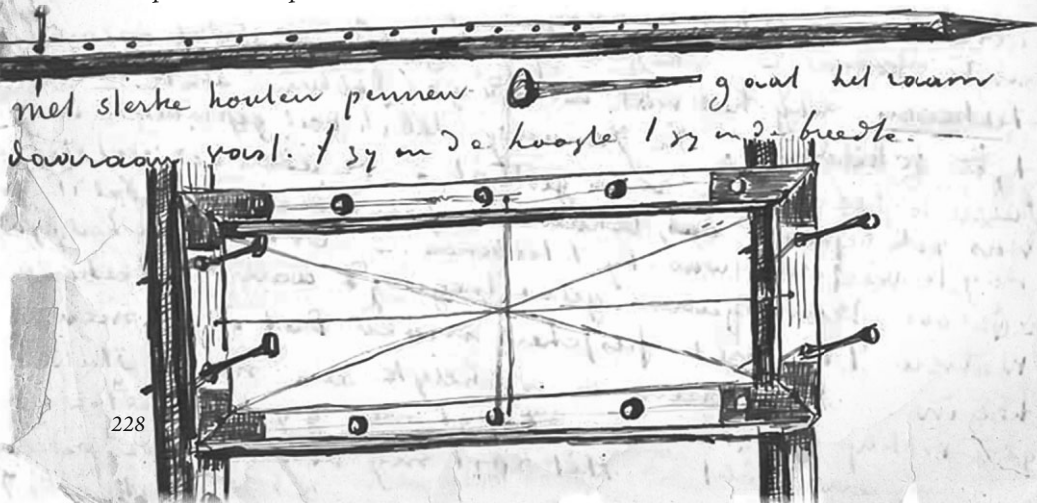
Твое прибытие побудило меня перейти к этому; но еще и раньше не было дня, чтобы я об этом не думал. Я, может быть, тогда надолго ограничился бы черным, белым и контуром, но теперь <нет пути обратно>.

До свидания, дорогой мой, еще раз сердечное рукопожатие.

Всегда твой

Vincent

Перспективная рама.



Гаага, 11 августа 1882 г.

.... Тебе, может быть, интересно знать, как у меня пошло дело. Я очень хотел бы, чтобы ты мог побыть часок в моей мастерской; это было бы наилучшим способом показать тебе, как идут у меня дела. Но раз это недостижимо, то скажу тебе, что у меня есть уже три написанных этюда. Один – ряд подстриженных ив на лугу (за Гинсбрюке), другой – этюд дороги, совсем неподалеку от меня, а сегодня я еще раз был на огороде в Лаане у Миирдесвоорта и там нашел кусок картофельного поля. Мужчина в синей куртке и женщина занимались копкой картофеля, и я поместил эти фигуры в этюд.

Картофельное поле представляло из себя песчаную почву, еще наполовину покрытую рядами высохших стеблей с зелеными сорняками между ними. Вдали – темная зелень и несколько крыш¹.



Поле с собирателями картофеля

¹ Описанные картины неизвестны.

Этюд этот я писал с наибольшим удовольствием.

Должен тебе сказать, что живопись вовсе не кажется мне уже такой непривычной, как ты, может быть, думаешь. Наоборот, она мне особенно мила. Это – сильное средство выражения, и вместе с тем при помощи ее можно дать выражение и нежным вещам, – заставить звучать бархатный серый или зеленый тон вместе с более грубыми тонами.

Этюды эти средней величины, пожалуй, – несколько больше, чем крышка обыкновенного ящика для красок. Работаю я не на крышке, но прикрепив бумагу для живописи кнопками к подрамнику, на котором натянуто полотно. Это легче нести.

Прежде чем начать писать вещи большей величины, я буду рисовать их в больших размерах или, если мне удастся найти способ, – а я буду искать его, – то сделаю, что называется живопись гризалью¹.

Если не беречь краски, дело обойдется дорого.

...Вот тебе маленький набросок Лаана у Мирдесвоорта. Эти огороды обладают какой-то старо-голландской прелестью, которая всегда меня привлекает.

Что ж, спокойно ночи, уже слишком поздно. Жму руку,

Всегда твой Vincent

Я принялся за «Приход» Золя.

Когда я кончил это письмо, мне показалось, что в нем чего-то нехватает.

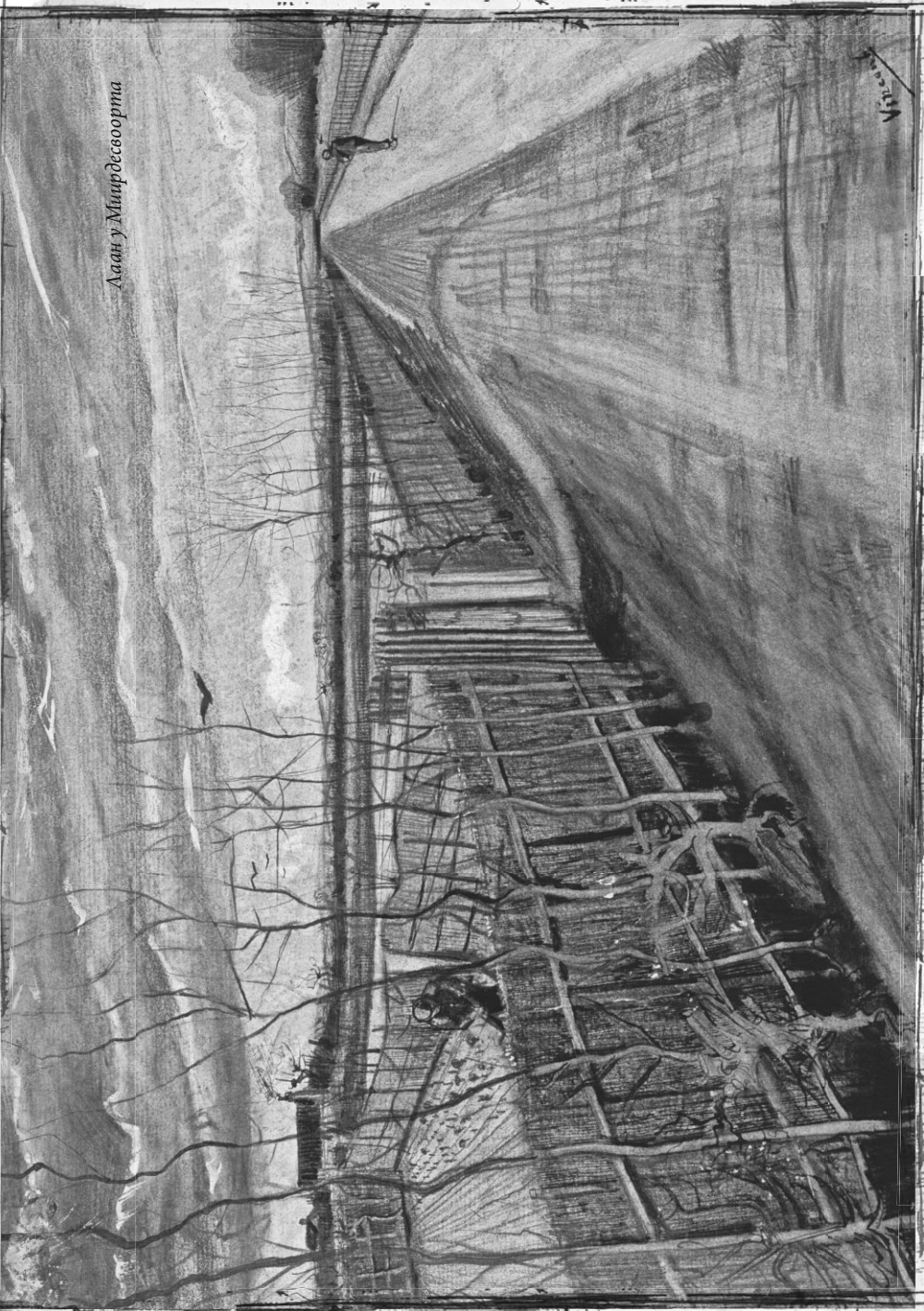
Я решил, что должен постараться написать тебе о том, что я взялся за тот кусок земли, моря и воздуха, который мы с тобой видели в Шевенингене. Поэтому, задержав письмо, я отправился сегодня утром на берег моря и вот только что возвратился оттуда с довольно большим этюдом берега, моря, воздуха, нескольких лодок и двух фигур на берегу²...



¹ Серым тоном.

² «Рыбачьи лодки на берегу».

Асан у Миңдесвопта



Гаага, 15 августа 1882 г.

Дорогой Тео!

Ты не должен сердиться на меня за то, что я опять тебе пишу, – это только для того, чтобы сказать тебе, что у меня особенная страсть к живописи.

Прошлую субботу я принялся за вещь, о которой уже часто мечтал. Это вид на зеленые луга с копнами сена. Через них идет дорога, рядом с ней – канава, а на горизонте, в середине картины, заходит огненно-красное солнце¹.

Я не могу наскоро нарисовать этот эффект, но вот тебе композиция.

Вопрос был, прежде всего, в цвете и тоне: градация красочной шкалы воздуха, сперва лиловый туман, в нем красное солнце, полузакрытое темно-фиолетовым облаком со светящимся красным тонким краем. У солнца рефлексy из киновари, а на них полоса желтого цвета, становящегося сперва зеленым, а выше голубоватым; затем тут и там лиловые и серые облака, принимающие солнечные рефлексy.

Почва – нечто вроде ковра из синего, серого, коричневого цветов, полных оттенков и проблесков, и вода в канаве блестит на этом тонированном грунте.

Это нечто такое, что мог бы написать, например, Эмиль Бретон.

Кроме того, я написал еще жирным слоем кусок дюн. Об этих двух вещах, о маленькой марине и картофельном поле, о них не скажут, – знаю это наверняка, – что это первые написанные мной этюды.

Сказать тебе правду, – меня это немного поразило; мне казалось, что первые вещи будут ни на что не похожи, а потом только станут лучше; так я думал, – но, хоть я сам об этом говорю, в действительности они чего-то стоят, и это меня несколько удивляет.

Мне кажется, это произошло оттого, что, прежде чем начать их писать, я долго рисовал и изучал перспективу, чтобы суметь в дальнейшем схватить всякий предмет, какой вижу...

¹ Упомянутый пейзаж неизвестен.

En aan den horizon medden in 't schilberg



't K Rouw 't effekt onmogelyk zoo in de haast

Зеленые луга с копнами сена

С тех пор как я купил краски и принадлежности, я столько возился и работал, что в данное время чувствую смертельную усталость от семи написанных этюдов.

...Как тебе известно, здесь открылась выставка. На ней есть работа Мауве, которую я нахожу прекрасной, — женщина у ткацкого станка, наверное из Дренте. Есть прекрасные вещи Израэльса... Очень поучительно видеть нечто подобное; видишь, сколько еще надо учиться. И все же при писании, хочу тебе сказать, я чувствую, как через посредство цвета у меня проявляются вещи, которых раньше не было, именно, элементы широты и силы. Пока я тебе еще ничего не пошлю, но ты должен знать, — я полон гордости и верю, что дела пока что идут гладко.

Прошло как раз около двух лет с тех пор, как я начал рисовать в Боринаже...

Vincent

83

Гаага, 20 августа 1882 г.

...На этой неделе я сделал в роще несколько довольно больших этюдов, попытавшись двинуть их вперед и проработать больше, чем прежние. Тот,

который я считаю наиболее удавшимся, представляет собой не что иное, как кусок почвы, — белый, черный и коричневый песок после проливного дождя. Земляные глыбы при этом получают в разных местах больше света и более выразительны.

Пока я рисовал этот кусок, налетела гроза, с приличествующим ливнем, продолжавшимся по крайней мере час. Однако я был настолько увлечен, что несмотря ни на что остался на посту и старался только найти себе, по возможности, убежище за толстым деревом. Когда же гроза прошла и вороны снова начали вылетать, я не пожалел, что выждал: такой роскошный глубокий тон приняла почва леса после дождя. Начав до грозы вещь с низким горизонтом, то-есть стоя на коленях, я должен был и теперь валяться на коленях в грязи. Такие довольно часто повторяющиеся в разных формах приключения делают, думается, не бесполезным иметь на себе обыкновенный рабочий костюм, который нельзя было бы испортить. На этот раз результат был тот, что я все же мог вернуться в мастерскую с этим этюдом почвы, хотя Мауве, когда мы с ним как-то раз говорили о таком же его собственном этюде, справедливо выразился, что не так-то легко рисовать глыбы земли, и притом так, чтобы в них чувствовалась глубина.

Другой этюд из рощи изображает большие зеленые буковые стволы, поднимающиеся с земли, покрытой высохшей листвой, на которой, фигурка девушки в белом¹.

Здорово трудно было передать это в свете, дать воздух между стволами, стоящими в разных отдалениях, и найти места и надлежащие толщины этих стволов, при всем перспективном их изменении. Сделать так, чтобы можно было ходить и дышать среди них — и чтоб лес благоухал!

...В общем, за эти четырнадцать дней я писал, так сказать, с раннего утра до позднего вечера, и если так продолжать дело дальше, — пока я ничего не в состоянии продать, это обошлось бы мне дорого.

...На этих днях я читал довольно меланхолическую книгу: «Письма и дневник» Жерарда Бильдерса.

¹ «Девочка в лесу».

Он умер приблизительно в том возрасте, когда я только начинал работать, и читая его, я не жалею, что начал поздно. Конечно, он был несчастен и часто оставался непонятым, но вместе с тем я нахожу в нем большую слабость, а в характере его нечто болезненное.

Это – своего рода история растения, которое поднялось слишком рано, не выдержало морозов и завяло, захваченное ими ночью до самых корней.

...Что мне в нем не нравится, это то, что он во время занятия живописью жалуется на страшную скуку и лень и жалуется на это так, будто он сам в этом ничего изменить не в состоянии, а между тем он вечно находится в одном и том же, чересчур для него узком, маленьком кругу друзей и развлечений, ведя образ жизни, который садится ему же самому на шею.

В общем – это симпатичный для меня образ, но жизнь старика Милле, или Т. Руссо, или Добиньи я все-таки читаю с большей охотой.

Когда читаешь книгу Сенсье о Милле, становишься бодрым, от книги же Бильдерера чувствуешь себя несчастным. В одном из писем Милле упомянуто множество трудностей, однако: «я, все-таки, сделал то-то и то-то», и всегда при этом он имеет в виду и еще разные вещи, которые также собирается выполнить во что бы то ни стало. У Бильдерера же слишком уж часто повторяется: «На этой неделе у меня был приступ тоски, мазал красками, был в театре, или в концерте, откуда возвратился еще более несчастным».

...Как бы талантливо ни высказывалось все это, не могу этому сочувствовать и больше уважаю семейные заботы Милле, когда он говорит: «Нужен все ж таки и суп для детей», не поминая ни про развлечения, ни про манильские сигары.

Вот что я хочу сказать: Бильдерс по своему мировоззрению был романтиком, он не превозмог своих утраченных иллюзий, я же, наоборот, считаю для себя преимуществом то, что я тогда только начал работать, когда все иллюзии уже были позади. Чтоб возместить ущерб, я должен напряженно работать; когда все иллюзии утрачены, работа – потребность и одна из немногих оставшихся радостей. Работа дает, таким образом, покой и душевное равновесие...

Vincent

Гаага, 26 августа 1882 г.

Как только я получил твое письмо, я тотчас же купил на 7 гульденов красок, чтобы возместить недостающие и снова иметь некоторый запас. У нас тут в течение всей недели был сильный ветер и дождь, и я часто ходил в Схевенинген, чтобы приглядеться к ним. Оттуда принес две марины.

На одной осталось довольно много песку, а вторую, которую я писал как раз во время бури, когда море подошло к самым дюнам, я вынужден был очистить два раза от толстого слоя песку, покрывшего всю вещь. Дуло так сильно, что я едва держался на ногах и от песочной пыли еле мог видеть. Несмотря на это, я все же попытался запечатлеть этот вид, а именно: после того как в маленьком домике за дюной я все это счистил, я опять быстро написал и снова отправился на место, чтобы проверить написанное, так что у меня теперь об этом есть несколько памяток¹.

Другой памяткой, однако, является то, что я снова простудился, со всеми теми последствиями, которые тебе известны и которые меня вынуждают остаться на несколько дней дома.

За это время я написал несколько этюдов с фигур – посылаю тебе два маленьких наброска.

Писание фигур меня очень увлекает, но я должен сперва достигнуть большей зрелости, должен больше изучить сам прием работы, то, что обычно называется «Кухней живописи». Вначале придется много счищать и зачастую начинать сызнова, но чувствую, что при этом я больше учусь, и это дает мне новый свежий взгляд на вещи.

Когда ты будешь снова мне что-нибудь посылать, нужно будет добыть хорошие хорьковые кисти, которые, как я замечаю, являются, в сущности, рисовальными кистями, – чтоб рисовать краской руку или профиль. Они

¹ Морской пейзаж, написанный во время бури, неизвестен. Вторая картина – «Вид на море у Схевенингена».

нужны также и для рисунка ветвей и проч. Лионские кисти, как бы они ни были тонки, все-таки делают чересчур широкие штрихи...

Кроме того, хотел еще сказать, что я вполне согласен с тобой относительно ряда вещей в твоём письме, прежде всего относительно того, что и отец, и мать, при всех «за» и «против», — все же такие люди, каких в наше время трудно найти, и чем дальше, тем труднее. Думается, что новое поколение отнюдь не лучше их, — тем больше их нужно ценить.

Со своей стороны, я ценю их, однако, опасаясь, что успокоение, которое ты дал им, снова расстроится, особенно в том случае, если они опять меня увидят. Они никогда не поймут, что такое живопись, никогда не поймут, что фигурка землекопа, борозда вспаханной земли, кусочек суши, море, воздух являются серьезными, трудными и вместе с тем прекрасными мотивами и что на самом деле стоит посвятить свою жизнь передаче заключенной в этих вещах поэзии. И когда они впоследствии увидят еще больше, чем сейчас, как я мучаюсь и страдаю за своей работой, когда они увидят, как я неоднократно стираю и меняю, строго сравниваю с натурой и потом опять меняю настолько, что в итоге они не в состоянии будут отличить пятно от фигурки, — тогда все это навсегда разочарует их. Они не в силах будут уразуметь, что живопись не дается так, сразу, и они будут неизменно приходить к мысли, что «просто он этого не умеет, а настоящий художник работал бы совсем другим способом»...

В этот нет ничего удивительного. Это не их вина — они не научились видеть, как этому научился ты и я; они интересуются другими вещами, нежели мы, а мы те же вещи видим не теми глазами, и они пробуждают в нас не те мысли, что у них.

...Они, может быть, смотрят на мою работу, как на «писание масляной краской». И вот, скажем, дело дойдет до этого. Увы! Я боюсь, что они будут разочарованы, увидев в этой живописи одни только цветные кляксы. Мало того, они считают рисование своего рода «подготовительным упражнением», — выражение, к которому я с давних пор чувствую невыразимое отвращение и которое я нахожу до последней степени неверным. Когда же они увидят меня за тем же делом, что и прежде, они подумают, что я нахожусь все еще при этом «подготовительном упражнении».

Но в конце концов постараемся сделать все, что только возможно, для их успокоения.

То, что ты мне рассказываешь об их новой обстановке, чрезвычайно интересует меня. Конечно, я охотно бы написал такую маленькую, старую церковь, с кладбищем, песчаными могилами и деревянными крестами. Надеюсь, что это когда-нибудь и случится.

Ты пишешь мне далее о кусочке поля и сосновой роще, совсем поблизости, а я вот чувствую непрестанную тоску по пустырям и по сосновому лесу, с их своеобразными посетителями: женщиной, собирающей хворост, мужичком, добывающим песок, — одним словом, нечто простое, заключающее в себе нечто великое, как море.

Все хожу с мыслью: когда-нибудь, когда к этому представится случай и позволят обстоятельства, поселиться где-нибудь совсем в деревне, хотя у меня и сейчас есть изобилие мотивов: парк, берег, совсем близко Рисвикерские луга — буквально на каждом шагу по мотиву.

Vincent

85

Гаага, 3 сентября 1882 г.

...Замечательно, что нам с тобой очень часто приходят в голову одни и те же мысли. Вчера вечером, например, я возвратился из рощи с одним этюдом и как раз на этой неделе, работая над этим этюдом, крепко задумался над вопросом о глубине и цвете, и охотно побеседовал бы с тобой об этом при случае, особенно применительно к написанному этюду, — вдруг в своем письме сегодня утром ты случайно говоришь о том, что тебя поразили на Монмартре сильно выраженные цвета, которые, однако, находятся, вместе с тем, во взаимной гармонии. ... Начну с того, что пошлю тебе маленький набросок мотива и скажу, о чем идет дело¹.

¹ Приложенный набросок неизвестен.

Вид на пляж в Схевенинге



Роща становится уже совсем осенней, – в ней такие красочные эффекты, которые я редко вижу на голландских картинах. Вчера я был занят куском чуть поднимающейся лесной почвы, покрытой засохшей и сгнившей буквой листвой. Почва была светлого и темного коричневого цвета, особенно от теней, падавших от деревьев и бросавших полосы, полусмытые, приглушенные или, наоборот, более сильные. Дело шло о том, – и это оказалось очень трудным, – чтобы выявить глубину цвета, удивительную силу и крепость почвы, и вот только в процессе писания заметил я, сколько еще было света в темных местах. Сохранить свет и вместе с тем глубину и напряженность цвета! Нельзя себе представить ковра, более роскошного, чем этот глубокий коричнево-красный тон, расплавленный в несколько смягченном стволами пламени осеннего солнца.

Из этой почвы растут молодые буквые стволы, которые одной своей стороной ловят свет и светятся зеленым тоном, теневая же сторона их – теплого, сильного черно-зеленого тона. За стволами, за коричнево-красной почвой, проблескивает воздух, страшно нежный, теплый, серо-голубого тона – почти не голубого. А там еще туманная опушка зелени и сплетения стволов и желтоватой листвы. Как темные массы таинственных теней, бродят несколько фигур собирателей хвороста. Белый чепец женщины, наклонившейся, чтоб поднять засохший сучок, заговорит вдруг на глубокой красно-коричневой почве. Там куртка поймала свет, тень упала, темный силуэт какого-то парня появляется наверху у опушки. Белый чепец, платок, плечо, бюст женщины вырисовываются в воздухе. Огромными терракотами кажутся эти большие, полные поэзии фигуры в сумрачной, глубокой тени...

Писать это было мучением. На передачу почвы пошло полтора больших тюбика белил, и несмотря на это, почва – очень темная; затем – понадобилась красная, желтая, коричневая охра, черная краска, терра-сиена, бистр; в результате получилось красно-коричневое, которое, однако, дает шкалу от бистра, глубокого, винно-красного до бледного, желтоватого, розоватого. Тут же еще и мох, и полоска свежей травы, которая ловит свет и сильно светится; это страшно трудно передать. В итоге получился, наконец, эскиз,

относительно которого я утверждаю, что он, вопреки любой болтовне, имеет определенное значение, нечто выражает.

Еще во время работы над ним я сказал себе: — не уйду, пока в нем не появится кое-что от осеннего вечера, нечто таинственное, исполненное серьезности.

Я должен был, все же, писать быстро, так как эффект долго не держится; фигуры выведены несколькими сильными мазками, широкой кистью, в один присест. Меня поразило, как крепко сидели стволы на заднем плане; я начал было писать их кистью, но поскольку почва уже была у меня покрыта толстым слоем краски, то мазок вязнул в ней, не давая никакого впечатления. Тогда я выдавил эти стволы и корни прямо из тюбика — и потом отмоделировал их немного кистью. И вот — они стоят в земле, растут из нее, крепко входят в нее корнями.

Я рад, до известной степени, что не учился живописи. Тогда, может быть, я научился бы как-то обходить эти эффекты; теперь же я говорю: нет, это как раз то, что мне нужно, — если это невозможно, — пусть так! Но все же я хочу попробовать, хотя и не знаю, как это делается.

Каким образом я передаю это красками, я и сам не знаю; я сажусь с чистым подрамником перед тем местом, которое меня привлекает, смотрю на то, что у меня перед глазами, — и говорю себе: на чистом подрамнике что-нибудь да должно появиться, возвращаясь домой недовольный, ставлю, подрамник в сторону, затем, отдохнув немного, смотрю на него с некоторой робостью, опять остаюсь недовольным, ибо у меня еще слишком свежа в памяти роскошная натура, чтобы быть этим удовлетворенным; и все же я вижу уже в моей работе отсвет того, что меня в ней захватило, — вижу, что природа говорила со мной, поведала мне нечто такое, что я записал скорописью. В моей скорописи могут быть слова, которые нельзя расшифровать, ошибки и пустоты, но все-таки в ней имеется и какая-то доля того, что мне рассказывали лес, берег или фигура. И язык этот — не вялый и не пошлый язык, несвойственный самой природе, не язык, созданный при помощи наперед заученной манеры или какой-нибудь системы...

Как видишь, изо всех сил я погружаюсь в живопись, погружаюсь в краску. До сих пор я от этого воздерживался и не жалею об этом. Если б я не рисовал, то не был бы в состоянии почувствовать и сделать фигуру, подобную неготовой терракоте. Теперь же я мчусь изо всех сил: живопись должна идти вперед со всей энергией, какая только в нас есть...

Обрати внимание, что в маленькой марине есть светлый легкий эффект, а в роще – более мрачное, строгое настроение. Я рад, что выявлено и то, и другое...

Vincent

86

Гаага, 9 сентября 1882 г.

Дорогой Тео!

<Хочу написать тебе пару слов и поздравить с 10 сентября¹.

Не помню, говорил ли тебе, что получил письмо от Вил², в котором она весьма очаровательно описывает загородный Ньюэнен.> Кажется, там действительно хорошо.

Я просил ее сообщить мне еще кое-что про ткачей, которые очень меня интересуют. В свое время я видел их в Па-де-Кале, – необычайно красиво!

Пока, однако, мне не к чему еще писать ткачей, хотя, надеюсь, рано или поздно я доберусь до них.

<В осени меня особенно привлекают две вещи. Иногда ощущается легкая меланхолия в этих падающих листьях, мягком свете, в туманных очертаниях вещей, в элегантности стройных деревьев. Затем меня точно так же привлекает грубоватая, суровая сторона – резкие световые эффекты, как, например, на землекопе³, покрывшемся потом под полуден-

¹ 10 сентября 1882 года матери Ван Гога исполнилось 63 года.

² Виллемина Якоба ван Гог.

³ Ван Гог ссылается на картину «Человек с палкой и лопатой, нагнувшийся».



Девочка в лесу

ным солнцем. Прилагаю несколько набросков этюдов, сделанных мной на этой неделе.¹

...Я надеюсь, что через рисование мне удастся лучше чувствовать свет, и так в моих картинах тоже появится что-то совершенно иное.

...Вот еще один набросок из рощи. Я написал по нему большой этюд². Я настолько сильно ощущаю в себе силу творить, что точно знаю – придет время, когда я буду создавать что-то хорошее, скажем, ежедневно, и буду делать это регулярно.

В настоящее время и дня не проходит, чтобы я не сделал парочку вещей, но это пока не совсем то, чего я действительно желаю.

Да, иногда мне кажется, что я очень скоро стану продуктивным – мне не стоит удивляться, если это случится одним прекрасным днем. У меня есть идея, что в любом случае рисование каким-то образом разбудит нечто во мне. Вот, например, набросок картофельного рынка в Ноордвале³.

¹ Наброски неизвестны.

² Набросок по «Девочке в лесу».

³ Набросок неизвестен.

Vincent



Опушка леса после дождя

Суматоха рабочих мужчин и женщин, корзины, выгруженные с баржей – это очень интересное зрелище.

Это те вещи, которые я бы хотел зарисовывать или писать страстно. Жизнь и движение такой сцены и людские типы...>

Vincent

Винсент рисует в письме лес после дождя. Дождь, по мнению Винсента, всегда оказывал большое влияние на природу, особенно к вечеру, наполняя лес великолепными видами. Раскрашенный в бронзу падающих листьев, разбросанных то тут, то там, лес являл собой потрясающее зрелище для художника. Рисуя опушку, ему очень хотелось, прогуляться по таким вот осенним лесам вместе с Тео. Яркость красок осеннего леса вдохновила Винсента на несколько красочных акварелей, как «Девочка в лесу» и «Тополиная аллея осенью» (см. вклейку – прим. ред).

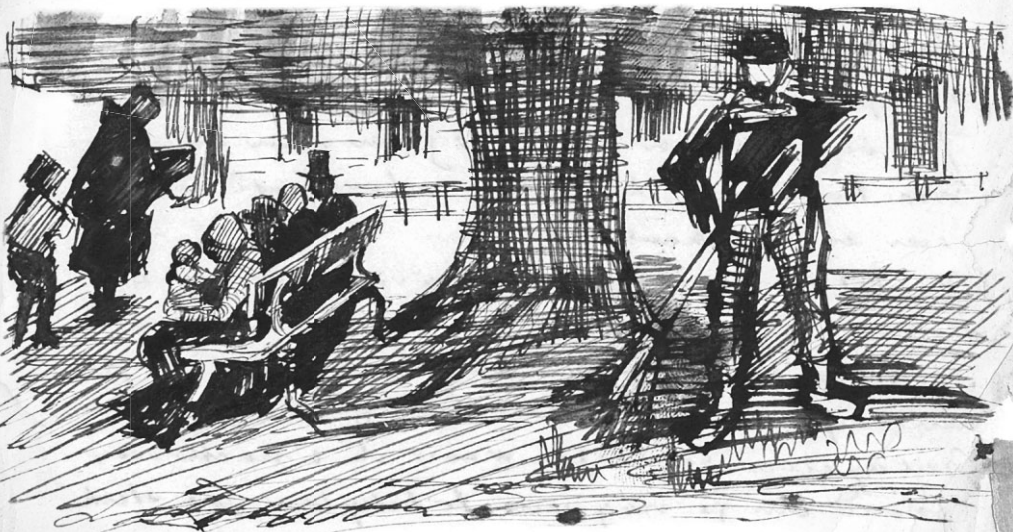
Гаага, 11 сентября 1882 г.

...Ты, вероятно, помнишь, что во время своего пребывания здесь, ты говорил о том, чтобы я постарался при случае изготовить для тебя небольшой рисунок, того рода, какие обычно называются «продажными». Ты не должен все же сердиться на меня за то, что я не знаю толком, какой, собственно, рисунок может быть отнесен к этой категории и какой – нет. Раньше мне казалось, что я понимаю это, теперь же я, поистине, ежедневно замечаю, что ошибаюсь.

Как бы то ни было, надеюсь, что эта маленькая скамейка¹, если и не пригодится для продажи, все же покажет тебе, что я не возражаю против мотивов, в которых есть что-нибудь занимательное и приятное и которые в этом качестве скорей могут себе найти ценителя, чем вещи с более мрачным настроением...

Vincent

¹ Вероятно, – «Скамья с четырьмя людьми и ребенком».



Четверо на скамейке – набросок той акварели, о которой Винсент упоминает в письме.

Гаага, 17 сентября 1882 г.

Дорогой Тео,

На этих днях я был еще несколько раз в Шевенингене и как-то вечером видел сцену прибытия парусника.

У памятника стоит деревянная будка, где на вышке сидит парень. Как только судно приблизилось и стало видно, он вышел с большим синим флагом в сопровождении целого цветника детей, не доходивших ему до колен. Для них, видно, было большим удовольствием видеть этого человека с флагом, и наверное, они были убеждены, что таким образом и они содействуют прибытию судна.

Спустя несколько минут после того, как он помахал флагом, появился на лошади другой человек, который должен был достать якорь. Затем, для встречи прибывших, к этой группе присоединились различные мужчины и женщины, а также матери с младенцами.

Когда судно подошло достаточно близко, человек на лошади выехал в море и возвратился с якорем. После этого парни в высоких, непромокаемых сапогах, перетасили на спинах прибывших на берег; прибытие каждого встречалось здоровенным шумом приветствий.

Когда высадка кончилась вся банда отправилась домой, как стадо овец или как караван, над которым мощной тенью возвышался человек на верблюде, то есть я хочу сказать, на лошади.

Само собой разумеется, я попытался как можно внимательнее зарисовать все эти происшествия.

Кое-что из этого я написал также красками, а именно ту маленькую группу, которую я здесь для тебя нацарапал¹...

По прилагаемому наброску ты видишь, чего я ищю.

Как трудно, однако, внести сюда жизнь и движение, расставить фигуры по местам и отделить их друг от друга. Это великий вопрос: разобраться

¹ Ни набросок, ни картина этой группы людей на берегу не известны.

в фигурах толпы, — эти группы и фигуры составляют одно целое и в то же время вырисовываются головами и плечами одни поверх других; на переднем плане крепко выделяются ноги ближних фигур, а выше — куртки и штаны опять образуют род путаницы, в которой, однако, есть много рисунка.

А вправо и влево, смотря по положению точки зрения, есть большее протяжение или сокращение строя. Что касается композиции, то все сцены с фигурами, будь то базар, прибытие судна, толпа в народной столовой или в зале ожидания на вокзале, будь то богадельня, или ссудная касса, или группы людей, гуляющих и болтающих на берегу, — все они базируются на том же принципе овечьего стада, — и все это сводится к вопросу о свете, тени и перспективе...

Ты видишь по этому наброску, что я начал то, о чем говорил в прошлом письме, — а именно, что я непрестанно пытаюсь зарисовать сцены с рабочими и рыбаками так, как я их вижу. Я рисую или пишу их красками и думаю, что именно это является сюжетом, которые смогут найти себе применение в иллюстрациях, если только я набью себе руку. Ясно, что типы должны быть разработаны еще больше.

Прибытие судна у меня зарисовано по меньшей мере в десяти видах, тоже — поднятие якоря. Рисунок с этого я послал тебе в прошлом письме...

Vincent

89

Гаага, 18 сентября 1882 г.

...Послать тебе при случае написанный этюд — что ж, ничего не имею против! Но прежде чем я это сделаю, хочу с тобой кое о чем уговориться.

У человека вроде Мауве — да и у каждого художника — есть, конечно, своя особенная красочная шкала, но никто не обладает ею с первого же дня. В этюдах, написанных на воздухе даже живописцами, более опытными, чем я, она не так-то сразу бросается в глаза...

Со мною же дело обстоит так, что картина, например, которую я недавно принес домой, совершенно другая по цвету, чем первая и вторая, с которых я начал; поэтому то, что я тебе сейчас мог бы прислать, не должно еще давать тебе повода для заключения относительно моего колорита; и если я, со своей стороны, хочу еще подождать с посылкой тебе этих этюдов, пока все это не станет более зрелым, — то только потому, что, думаю, я буду изменяться очень часто и в отношении цвета и в отношении композиции.

Это — первое; второе же то, что этюды, которые делаются на воздухе, есть нечто иное, нежели картины, которые предназначены для общего лицезрения; картины, создающиеся из этюдов, могут, на мой взгляд, и даже должны сильно отличаться от последних; в картинах художник больше выражает свою личную идею, в этюде же заключено только его намерение проанализировать кусок натуры или художник делает его для того, чтобы проверить свою мысль или концепцию, или для того, чтобы уяснить себе определенную мысль.

Этюды, таким образом, предназначаются скорей для мастерской, чем для продажи, и их не следовало бы рассматривать с той же точки зрения, как и картины... Писание этюдов я считаю как бы посевом, писание же картины это — жатва.

Полагаю, что мысль людей здоровее, когда она возникает из прямого контакта с вещами, нежели тогда, когда люди смотрят на вещи с готовым намерением найти в них то или другое.

Так же обстоит дело и с колоритом. Есть цвета, которые сами собой хорошо подходят друг к другу, — и я стараюсь передать их так, или такими, какими я их вижу, прежде чем начинаю работать над ними для того, чтобы передать их такими, какими я их чувствую.

А все-таки чувство — великая вещь, и без него нечего не сделаешь. Иногда я испытываю желание дожить до времени жатвы, то есть до того времени, когда я в итоге изучения настолько вберу в себя природу, что смогу сам при помощи картины выразить нечто свое. Однако анализ вещей вовсе не представляет для меня какой-нибудь тяжести, или чего-либо такого, что я делал бы без охоты.

Группа людей на пляже
у возвращающейся рыбацкой лодки



Уже поздно. Сплю я теперь плохо, видно, от роскошной осенней природы, которая неотступно занимает меня, и от заботы о том, чтобы чем-нибудь от нее поживиться.

Мне все-таки хотелось бы спать в положенное время, и я делаю для этого все, что могу, так как становлюсь нервным от бессоницы, но ничто не помогает.

Vincent



Сиротские дети возвращаются с прогулки

Наброски в письме – примеры фигур, над которыми усиленно работает Винсент в это время. «Когда ты здесь был, мы говорили о тех рисунках, которые я собирался послать тебе, и о той скамейке, что я уже выслал. Я прилагаю пару набросков, чтобы показать, что я продолжаю работать в этом жанре. Сейчас я рисую акварель со «стадом сирот и их духовным пастухом» – который скорее всего не сделает эту работу более годной для продажи.

Я хотел показать, что фигуры, в которых прослеживается характер, не всегда такие сами по себе и что я испытываю большое удовольствие, преодолевая это препятствие.



Пожилый мужчина
с зонтом, вид сзади

Рисунок этого пожилого мужчины Ван Гог отослал Тео 23 сентября 1882 года, а сделал как и прочие подобные фигуры, когда находился в Геесте. Какое-то время нищие старики и старухи из домов для престарелых становятся его постоянными моделями. Легендарное «N199» указывает на номер, который пожилые мужчины и женщины содержавшиеся в доме для престарелых были обязаны носить на видном месте. Ван Гог так же нарисовал этот номер на правом рукаве старика, благодаря которому стало возможно установить личность модели.

90

Гаага, 1 октября 1882 г.

...За последние дни я почти ничем другим не занимался, кроме акварели. Прилагаю маленький набросок с большой акварели¹. Может быть, ты помнишь контору Государственной лотереи Моормана... Я проходил там как-то дождливым утром, когда толпа народа стояла, ожидая получения лотерейных билетов. В большинстве случаев это были старые женщины – та категория людей, о которых никогда не знаешь, что вообще они делают или чем живут, а вместе с тем как будто страшно суетятся и мучаются, дабы удержаться в жизни.

Конечно, с поверхностной точки зрения, в этой кучке людей, по-видимому, очень заинтересованной в «сегодняшнем розыгрыше», есть нечто смеш-

¹ Набросок сделан по картине «Бедняки и деньги».

ное и для тебя, и для меня, поскольку ведь нам с тобой лотерея совершенно безразлична.

Однако эта кучка людей – и выражение ее ожидания – захватила меня, и пока я над ней работал, она приобрела для меня более глубокое значение, чем первое мгновение. Мне кажется, что она становится значительнее тогда, когда в этом видишь бедняков и деньги.

Так, впрочем, бывает и со всякими группами фигур; нужно сперва продумать их, прежде чем поймешь, что перед тобой находится. Любопытство и иллюзия в отношении лотереи кажутся нам более или менее детскими, но они становятся серьезными, когда подумаешь о возмущении против нищеты и о своего рода усилиях погибающих, которые делают эти несчастные, когда думают найти спасение в лотерейном билете, оплаченном пищей, оторванной от рта.

Как бы то ни было, я начал делать из этого большую акварель.

«Я также работаю над картиной со скамьей¹, которую я увидел в церквушке в районе Геест, куда ходят нищие (здесь их многозначительно называют СИРОТСКИМИ мужчинами и сиротскими женщинами). С тем, как продвигаются сейчас дела, будучи снова поглощенным рисованием, иногда мне кажется, что нет ничего приятнее рисования...»



De is een stuk uit dat broek van hem. en zo nu

Зарисовка кусочка акварели с головами посетителей церкви, на церковных скамьях

¹ «Церковная скамья с прихожанами».

Бедняки и деньги

HEDEN
T-R-E-K-K-I-N-G
Staatslotery

HOOG PREZEN



Гаага, 15 октября 1882 г.

...На днях я видел большую гравюру на дереве, — она есть и в моей коллекции — с картины Ролля: «Стачка углекопов»...

Картина изображает двор возле копей с группой мужчин, женщин и детей, повидимому, штурмовавших здание. Они стоят и сидят вокруг опрокинутой тачки; их сдерживают конные жандармы. Один парень еще бросает камень, но женщина старается схватить его за руку. Характеристика превосходна. Картина сыро и грубо зарисована, наверное, так же и написана, в соответствии с характером мотива.

Это — не Кнаус или Вотье — вещь сделана, так сказать, со страстью, почти без деталей, все в ней массивно и упрощенно, и все же в ней много стиля. <В ней много экспрессии, настроения и чувства, а движения фигур — разнообразные действия — изображены мастерски. Я был сильно поражен ей, как и Раппард, которому я тоже отправил одно копию...>

Случайно у меня еще оказалась гравюра на дереве английского рисовальщика Эмсли, изображающая рабочих, идущих в шахту, чтобы спасти товарищей; женщины стоят в ожидании. За такие мотивы берутся редко. Что касается картины Ролля, я сам когда-то до конца пережил такую сцену. <Что мне действительно нравится в его картине — она в целом изображает си-



Пожилые мужчина
и женщина вид сзади

туацию очень правдиво, даже несмотря на то, что кому-то покажется, что в ней мало деталей. Это напомнило мне слова Коро: «Есть картины, в которых нет ничего, и все же все в них». Во всей ней есть что-то величественное и классическое, как в хорошей исторической живописи,¹ — в композиции и линиях, — и это такое качество, которое всегда было и останется редким.»

Vincent

Осенняя погода сказывалась благоприятно на занятиях рисованием Винсента. Благодаря дождям небо и раскрашенные осенними тонами улицы отображались в лужах. В результате Винсент сделал несколько больших акварелей. Набросок одной из них Винсент сделал в письме от 22 октября 1882 года.

92

Гаага, 22 октября 1882 г.

...Что такое рисование? Каким образом добиваются цели? Это — умение пробиваться, через невидимую железную стену, которая как бы стоит между тем, что чувствуешь, и тем, что можешь. Как же проникнуть через эту стену, ибо биться об нее совершенно бесполезно. Надо, по-моему, ее подкапывать,



*Пляж с прогуливающимися людьми
и странствующими лодками*

подтачивать медленно и терпеливо. Но как можно не престанно, не отрываясь и не отвлекаясь, заниматься этой работой, если не продумать ее и не устроить свою жизнь на определенных принципах? Но то же, что происходит в художественных, то происходит

¹ Жанр живописи, сюжетами которой являются мифологические, библейские и евангельские сцены.

и в других вещах. И великое не есть результат случайности – нет, его нужно очень крепко захотеть. Что составляет в людях первооснову, и должны ли дела вести к принципам или принципы к делам, – это кажется мне так же неопределимым и имеет, по-моему, такую же ценность, как вопрос о том, что существовало раньше: курица или яйцо? Наоборот, развитие в себе силы мышления и воли я считаю делом положительным и важным... У нас с тобой та общая особенность, что оба мы любим смотреть за кулисы или, иначе говоря, у нас обоих есть склонность к анализу вещей.

Это, думается, как раз есть то качество, которым надо обладать для живописи. При живописании и рисовании эта сила должна быть напряжена. И если даже какая-то доля ее существует в нас от природы – это есть у меня, это есть и у тебя; и возможно, что мы обязаны этим нашим юношеским годам в Брабанте и среде, которая значительно сильнее, чем это обычно бывает, обучила нас уменью думать, – то все же в основном художественное восприятие развивается сравнительно поздно и созревает только от работы...

Vincent

93

Гаага, 29 октября 1882 г.

...<Сегодня утром, когда я наконец добрался до разбора своих рисунков, а именно этюдов с моделей, сделанных после твоего визита (не беря в расчет более ранние этюды, что я рисовал в своем альбоме), я обнаружил, что их более сотни.>

...Хотелось бы тебя спросить, есть ли в продаже какие-нибудь дешевые листы Домье, и если есть, то какие. Я всегда считал его невероятно одаренным, но за последнее время я начинаю догадываться, что он еще значительнее, чем я думал. Если ты знаешь о нем что-нибудь особенное или если тебе известны среди его рисунков какие-нибудь выдающиеся вещи, напиши мне, если можешь, об этом.

В прежние времена, правда, я видел его карикатуры, но потому-то, вероятно, я и составил себе о нем неверное представление. Его фигуры всегда производили на меня особенное впечатление, но думается, что мне известна только малая часть его работы и что, например, карриатура не принадлежит к лучшим из них... Вспоминаю, что ты как-то сказал, что считаешь Домье лучше Гаварни, тогда как я защищал Гаварни и говорил тебе о книге, прочитанной мной о Гаварни; она есть у тебя. Теперь же я должен сказать, что хотя я и поныне такого же высокого мнения о Гаварни, как и раньше, но тем не менее начинаю понимать, что знаю только самую малую часть работы Домье и что как раз среди той части его работ, которой я не знаю, имеются вещи (как бы высоко ни ценил я то, что мне известно), способные заинтересовать меня больше всего. Я могу ошибиться, но в памяти смутно брезжит, будто ты мне говорил о больших рисунках народных типов; я бы очень хотел их видеть...

Vincent

94

Гаага, 1 ноября 1882 г.

...Если бы художники принялись сообща за дело и позаботились о том, чтобы их произведения (которые, полагаю, все-таки созданы ведь для народа, а это я при всех условиях как раз и считаю благороднейшей целью для каждого художника) дошли до рук этого народа и были бы доступны каждому, то получились бы те же результаты, которых достиг «График» в первые годы выхода.

...Вот как отвечают здесь в Голландии многие живописцы на вопрос о том, что такое гравюра на дереве: «Это — такие вещи, какие лежат в «Южно-голландском кафе»¹.

Они следовательно относят гравюру к числу водочных изделий, а создателей ее, вероятно, — к пьяницам. А что говорят торговцы? Представим себе,

¹ «Южно-голландское кафе», больше известное как Het Zuid, открылось в 1882 году и было важным местом встречи голландских художников и поэтов.

что я отправился бы к кому-нибудь из них с той собранной мною сотней листов: так вот, я опасаясь, что в лучшем случае я бы услышал следующее: «Неужели вы полагали, что эти вещи имеют какую-нибудь цену?»

Моя любовь и уважение к великим рисовальщикам эпохи Гаварни, равно как и к современным, тем больше увеличиваются, чем больше узнаю я их произведения, в особенности же в силу того, что я сам прилагаю все усилия, чтобы сделать что-либо такое, что видишь каждый день на улицах.

Если я ценю Херкомера, Филдеса, Холла и прочих основателей «Графики» так сильно, что они мне симпатичнее сейчас и всегда будут симпатичнее, чем Гаварни и Домье, – это происходит оттого, что последние смотрели на человеческое общество прежде всего с иронией, тогда как первые, в единогласии с такими людьми, как Милле, Бретон, Дегру и Израэльс, брали такие же правдивые мотивы, как Гаварни и Домье, но вместе с тем содержащие в себе какое-то благородство и более серьезное чувство. Это, думается, должно быть прежде всего.

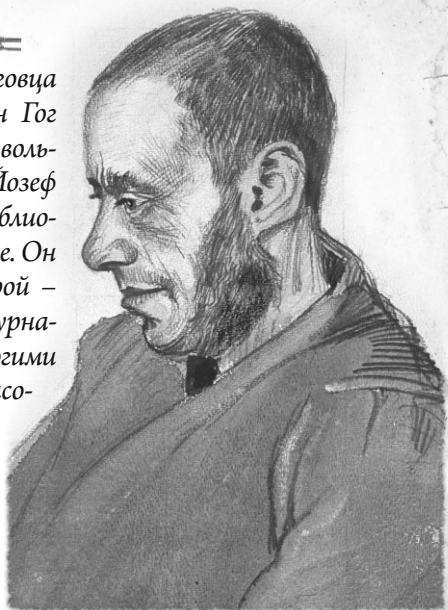
Художник не обязан быть священником или проповедником, но у него прежде всего должно быть теплое отношение к людям, и я считаю, например, очень благородным то, что не проходит зимы, чтобы «График» чего-нибудь не предпринял, дабы вызвать сочувствие к беднякам. <К примеру, у меня есть копия Вудвиля, изображающая раздачу торфяных билетов в Ирландии, другая – Стениленда под названием «Помоги помощникам!», изображающая различные больничные сцены, где ощущалась нехватка средств, «Рождество» Геркомера, «Бездомный и голодный» Филдса и пр. Я нахожу их даже более красивыми, чем рисунки Берталла или кого-то еще из «Элегантной жизни» или иных «элегантностей».

Возможно, письмо покажется тебе скучным, но все снова прояснилось в моей голове. Я собрал 100 или около того этюдов, и когда закончил работу, на меня накатила легкая меланхолия: «Что есть хорошее?» – но потом сильные слова Геркомера, призывающего людей не расслабляться, говорящего, что как никогда важно возложить руку свою на плут, настолько помогли мне, что я подумал кратко рассказать тебе суть его слов.

Жму руку,
Всегда твой

Vincent

Портрет Йозефа Блока – книготорговца еврейского происхождения, которого Ван Гог нарисовал в то утро. Братья Блок были довольно известными в Гааге людьми. Первый – Йозеф Блок, был известен как заведующий «библиотеки под открытым небом» в Бинненхофе. Он держал палатку и книжную лавку. Вторым – Давид был владельцем магазина. Торгуя журналами и литературой, Йозеф сошелся со многими художниками. Винсент очень хотел нарисовать всех членов его семьи, так как считал их настоящими «типажами». Для Винсента было нелегкой задачей находить свои типажи, поэтому он дорожил теми, которых удавалось отыскать.



Йозеф Блок

95

Гаага, 5 ноября 1882 г.

Дорогой Тео!

Твое письмо и его содержание были мне как нельзя более кстати.

То, о чем ты говоришь, это вопрос, который, может быть, надлежит обсудить не раз. Приходится согласиться, что многое новое, в котором мы сперва усматривали движение вперед, на самом деле содержит меньше доброкачественного, чем старое; вследствие этого скоро начинает чувствоваться потребность в сильных людях, которые могли бы вновь поправить дело. Так как речами сам я мало могу его изменить, то мне кажется довольно бесполезным писать о нем. И все-таки со своей стороны я не могу согласиться с твоей мыслью, когда ты говоришь: «Для меня ясно по ходу дел, что желаемое изменение наступит». Подумай только, сколько великих людей уже умерло, или... не надолго останутся с нами. Милле, Брион, Тройон,

Руссо, Добиньи, Коро – и скольких еще – уже нет. Возьми, говорю я, еще более старые имена: Лейса, Гаварни, Дегру (называю только некоторых), далее – Энгра, Делакруа и Жерико. Подумай только, как старо уже современное искусство.

До Милле и Жюля Бретона, по-моему, было все же постоянное движение вперед; что касается того, чтобы превзойти этих людей, – не стоит даже говорить об этом!

...Итак, в области искусства вершина достигнута. Вполне возможно, что в грядущие годы мы увидим еще какие-нибудь хорошие вещи, но выше того, что мы уже видели, – не будет!

И я, со своей стороны, боюсь, что в ближайшие годы поднимется своего рода паника – после Милле мы страшно сдали – слово декадентство, которое сейчас бежит по устам или выговаривается в приукрашенном виде (смотри Геркомера), прозвучит тогда, как набатный колокол.

...Довольно об этом. Я считаю тебя человеком, хорошо разбирающимся в великих людях, и считаю замечательным, что слышу от тебя время от времени вещи, мне неизвестные, – например то, что ты пишешь о Домье.

Из коллекции портретов депутатов и проч., из изобретений третьего сословия и революции мне неизвестно ничего, ни одного листа. Если мне и не удалось их увидеть самому, то все же личность Домье от твоего описания стала в моем представлении значительнее. Решительно, предпочитаю слышать о таких людях, чем, например, о Салоне.

Теперь относительно того, что ты пишешь мне о *Vie moderne* или, лучше, о том сорте бумаги, которую тебе обещал Бюго. Это как раз очень меня интересует.

Если я правильно понимаю, бумага эта такова, что когда на ней делают рисунок (вероятно, автографическими чернилами), то рисунок этот – таким, как он есть, без посредничества другого рисовальщика, гравера или литографа, – может быть перенесен на камень, так что с него можно изготовить неограниченное количество оттисков. Значит, получается факсимиле первоначального рисунка. Если это так на самом деле, тогда будь добр, сообщи мне все сведения, какие только ты можешь узнать относительно того,

как можно работать на этой бумаге, и постарайся снабдить меня ею, хотя бы в небольшом количестве, дабы я мог сделать несколько проб...

96

Гаага, 7 ноября 1882 г.

Дорогой Тео!

В ожидании твоей информации я уже сделал с помощью печатника Шмюльдерса одну литографию, причем имею удовольствие послать тебе самый первый оттиск¹!

Эту литографию я нарисовал на куске специально приготовленной бумаги. Вероятно, это та самая, о которой говорил тебе Бюго...

За пять гульденов я могу получить сто оттисков, а прибавив еще немного, — и самый камень в собственность.

Каково твое мнение, — стоит ли дело труда? Мне страшно хотелось бы сделать в этом роде побольше.

Например, — серию в тридцать фигур.

Но сперва я должен знать твое мнение относительно печатания и проч.

Прежде всего сообщи мне все сведения, какие ты в состоянии получить о самом способе. На чем нужно работать автографическими чернилами и проч... Однако пришла модель — уборщик улиц... значит, будь здоров.

¹ Известны четыре оттиска «Старика»



Старик с палкой

...Мне страшно жаль, что я не знал этого способа раньше. Когда я был в Брюсселе, я пытался найти там занятие у литографов, но мне всюду отказывали. Я просил там хоть какой-нибудь, безразлично какой, работы, так как все дело для меня заключалось в том, чтобы кое-что уразуметь в литографии и, прежде, всего, обучиться ей. Но им такие были не нужны.

Симонно и Тувей были, по крайней мере, хоть в отсутствии. Они говорили, что от тех молодых людей, которых они хотели обучить, они видели мало радости и дела шли так вяло, что наличных работников было вполне достаточно. Я говорил там о листах Дегру и Ропса, но они отвечали: «Да, однако, таких рисовальщиков в настоящее время уже нет». От того, что я слышал от разных лиц там и в других предприятиях, сложилось впечатление, будто литография находится в полном упадке.

Однако открытие этой новой бумаги все же доказывает, что она готова, кажется, снова возникнуть.

Сколько прекрасного было создано при помощи литографии – Шарлэ, Раффо, Лемюд, – не считая других, о которых мы недавно говорили; вчера вечером я снова с удовольствием рассматривал Гаварни.

...<Я только что нарисовал двух землекопов. Если такой формат слишком большой, хотя я так не думаю, я смог бы, особенно после того, как узнаю, как стирать что-либо с этой бумаги, уменьшить рисунки до $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{3}$ этого размер, не теряя четкости – а именно, используя сетку:>



Землекоп

Vincent

Гаага, 22 ноября 1882 г.

Дорогой Тео!

Вместе с этим письмом ты получишь и первую пробу литографию «Землекоп» и литографию «Старик, пьющий кофе».

Мне бы очень хотелось услышать как можно скорее, какое впечатление они на тебя произвели. Я собираюсь их еще отретушировать на камне и хотел бы знать о них твое мнение.

Рисунки были лучше — особенно старался я над землекопом. При переносе его на камень и при печатании пропали, однако, разные вещи.

Тем не менее я считаю, что в этой печати есть нечто свежее и непринужденное, что меня примиряет несколько с утерей кое-каких вещей, которые были в рисунке.

Рисунки были сделаны только литографским мелом, но глубокие места усилены автографическими чернилами.

И вот камень принял только часть чернил, и неизвестно в точности, в чем тут дело, — скорее всего в воде, которой я их покрыл.

Во всяком случае я заметил, что там, где камень принял чернила, получился глубокий черный тон, с которым впоследствии я еще думаю попытаться счастья.

Когда у печатника будет время, мы хотим при печатании положить еще тон сверху. — Кроме того, испробуем разные сорта бумаги и различные краски.



Старик пьющий кофе



Надеюсь, эти два камня, после ретуширования их прямо с этюдов, которые у меня еще целы и которые сделаны непосредственно с модели, – станут еще лучше.

Наконец-то и я дождался до того, что у меня был художник, а именно ван дер Вилле, заговоривший со мной на улице и зашедший ко мне.

Надеюсь, что он тоже испробует этот литографский способ. Мне хотелось бы, чтобы он сделал в этом виде два плуга – по написанным им этюдам (утренний и вечерний мотив), – а также запряжку с волами, в поле...

Vincent

98

Гаага, 24 ноября 1882 г.

...Надеюсь, ты получил маленький сверток, где был «Землекоп». Вчера и сегодня я нарисовал две фигуры со старика, сидящего, опершись локтями на колени и положив голову на руки.

Когда-то я сделал такой же рисунок со Шнитемакера и долго хранил его, собираясь сделать еще один, получше.

Возможно, я сделаю с него литографию. До чего все-таки прекрасен такой вот старый рабочий, в потертом бомбазиновом костюме, с лысой головой.

«На этой неделе мне было исключительно приятно увидеть картину де Бока, которая показалась мне намного-намного лучше той, над которой он работал этой весной.

Хижина в дюнах с аллеей деревьев напротив нее. Задний план – мрачный и богатый по тону, с прекрасным светлым небом позади. В ней было что-то величественное и живое.

Я сказал, что нельзя бросать камни, живя в стеклянном доме. Я опасаясь, Тео, что выйдет так, что многие, пожертвовавшие старым в угоду новому, сильно об этом пожалеют. Особенно в отношении искусства.>

Vincent



Утомленный,
у входа в вечность

Гаага, 27 ноября 1882 г.

Дорогой Тео!

Вчера я, наконец, добрался до книги Мюрже, а именно, до «Водопийц».

В ней есть отголоски эпохи «Богемы» (хотя действительность тех времен в этой книге как бы припрятана), и поэтому она меня интересует; однако, на мой взгляд, ей недостает искренности и простоты.

Возможно, что те его книги, где нет типов художников, лучше этой. Кажется, вообще писателям не очень везет с типами художников, в том числе и Бальзаку; — его художники довольно неинтересны. Не лучше и у Золя с его Клодом Лотье.

В свою очередь, существует мало хорошо нарисованных или написанных типов писателей. Художники в этом отношении также впадают в условности и делают из писателя человека, сидящего перед столом, заваленного бумагами, — и больше ничего, а то и того меньше, — дается господин в воротничке, с лицом без определенного выражения.

Есть картина Мейссонье, которую я считаю прекрасной: фигура, видная сзади, нагнулась вперед; ноги, сколько помнится, поставлены на перекадину мольберта; не видно ничего, кроме высоко поднятых колен, спины, затылка и части головы, да еще кисти руки с карандашом или еще с чем-то таким. Но это вышло у парня хорошо, в фигуре есть напряженное внимание, прямо как в одной известной фигуре Рембрандта: человек сидит, читает, тоже скрючившись, опираясь головой на кулак, и все это передано так, что сразу чувствуешь, как он сросся с книгой.

Возьми портрет Виктора Гюго, сделанный Бонна, — прекрасно, на редкость прекрасно! Но еще прекраснее я считаю Виктора Гюго, описанного словами самим Виктором Гюго, — коротко:

Et moi je me taisais —

Tel que l'on voit se taire un coq sur la bruylère¹.

¹ И я замолк, как замолкает глухарь.

...Есть портрет Милле, написанный самим Милле. Я считаю его прекрасным; ничего, кроме головы в какой-то пастушеской шапке, но взгляд, этот взгляд с полусомкнутыми глазами, напряженное зрение живописца, — как замечательно это здесь выражено, а кроме того, нечто, осмелюсь сказать, петушиное!..

Сегодня утром действительно было особенно хорошо, и мне было полезно сделать, наконец, далекую прогулку, так как из-за литографирования я в течение этой недели вовсе не выходил на воздух.

Что касается литографии старика, то надеюсь получить пробный отпечаток.

...Мне кажется, художник — счастливец, так как, когда ему хоть сколько-нибудь удастся передать то, что он видит, он находится в гармонии с природой.

А это уже много, ибо таким образом знаешь, что тебе нужно делать, материал — обильный, и Карлейль справедливо говорит: «Благословен тот, кто нашел свое дело».

Если в этой работе есть, как у Милле, Дюпре, Израэльса и проч., нечто, что ставит себе целью принести мир, а именно, вознести «сердца горе!», когда это вдвойне отрадно, тогда пребываешь меньше в одиночестве и думаешь: вот сижу я здесь, правда, один, — но в то время как я сижу и молчу, мое произведение беседует, может быть, с кем-нибудь из моих друзей, и тот, кто его видит, не станет меня укорять в бездушии...

Но, верь мне, что недовольство плохой работой, неудачные вещи, трудности техники могут довести до меланхолии. Уверяю тебя, что когда я думаю о Милле, Израэльсе, Бретоне, Дегру и многих других, о Геркомере и проч., то могу дойти до страшного отчаяния: о том, что они представляют собой, узнаешь только тогда, когда сам работаешь. И вот нужно подавить в себе отчаяние и меланхолию, нужно быть терпеливым по отношению к самому себе, не для того, чтоб пребывать в покое, но для того, чтобы, невзирая на тысячи недостатков и ошибок и несмотря на неуверенность в том, что их удастся превозмочь, продолжать терзаться дальше: вот причина того, почему художник в известном смысле все же несчастливец.

Борьба с самим собой – совершенствование самого себя – необходимость вечно обновлять свою энергию... – и все это еще отягощено материальными трудностями.

...Подобные вещи для некоторых художников невыносимы или, по меньшей мере, почти невыносимы. Если хочешь быть честным, и ты в самом деле честен и работаешь прямо, как носильщик, – то не хватает средств, приходится бросать работу – не видишь возможности ее выполнить, – если не вложишь в нее всего того, что от нее получил. Появляется чувство вины, невыполнения долга, невыполнения обещания, и вот ты уже не в состоянии быть таким честным, как мог бы быть, если бы работа оплачивалась надлежащей, разумной ценой. Боишься иметь друзей, боишься двигаться, хочешь издали крикнуть человеку, как в прежние времена это делали прокаженные: «Не подходи ко мне, так как приближение ко мне приносит горе и вред!» И с этой лавиной забот в сердце нужно работать со спокойной, обыденной миной, не дрогнув глазом, принимать участие в ежедневной жизни, возиться с моделями, с человеком, собирающим квартирную плату и вообще со всякой шушерой.

Чтоб продолжать работу, нужно хладнокровно держать руку на руле, а другой рукой заботиться, как бы не причинить вреда другим. А тут еще налетают бури, происходят вещи, которых вообще нельзя предусмотреть, и не знаешь больше, что делать, и чувствуешь каждый момент, что вот разобьешься о скалы!

Нельзя выдавать себя за человека, полезного другим или имеющего в голове нечто такое, что само говорит за себя, – нет, наоборот, надо предвидеть, что все кончится дефицитом. И все-таки, все-таки... чувствуешь в себе бурлящую силу: ты призван выполнить дело, и оно должно быть выполнено.

Хотелось бы сказать, как люди 1793 года: мы должны сделать то-то и то-то, сперва должны пасть эти, потом те, это – наш долг, это – само собой разумеется – и кончено!

А не время ли объединиться и поднять голос? Или, может быть, по случаю того, что многие заснули и не хотели бы быть разбуженными, луч-

ше ограничить себя вещами, с которыми можешь совладать сам, о которых забота сам, и сам отвечаешь, – а те, кто спит, пусть продолжают безмятежно спать?..

Vincent

100

Гаага, 1 декабря 1882 г.

...Само собой разумеется, что с рисованием, камнем, бумагой и печатью сопряжены расходы. Но они сравнительно невелики. Такие листы, как, например, мой последний, посланный тебе¹, равно как и новый, изготовленный мной вчера², были бы, например, пригодны к изданию для народа, что как раз очень нужно – и здесь, в Голландии, больше, чем где бы то ни было.

На такое назначение, как рисование и печатание серии из тридцати листов рабочих типов, – можно ли на это отважиться или нет? Эти вещи настолько важны, что нужно спросить себя, – отвечает ли выполнение такого дела нашему праву и долгу или у нас этого права нет?

Прекрасные мотивы имеются в изобилии: «Сеятель», «Землекоп», «Дровосек», «Пахарь», «Прачка», «Старики из богадельни», да и «Детскую колыбель» также как-нибудь возьмем. Будь я богатый человек, я бы помедлил с решением и сказал бы: «Вперед и скорее!».

Но вопрос здесь в ином: должно ли, следует ли, можно ли вовлечь в дело и других людей, которые нужны и без которых нельзя его сделать, причем сомнительно, чтоб дело принесло им какой-нибудь доход...

Мне кажется, необходимо сделать следующее: так как полезно и необходимо, чтоб изготовлялись, печатались и распространялись голландские рисунки, предназначенные для рабочих жилищ и крестьянских домов, одним

1

«У врат вечности».

2

«Рабочий, сидящий на корзине, режущий хлеб».



Сеятель с корзинкой

словом, для каждого рабочего, то некие люди обязуются сделать со своей стороны все возможное, чтобы отдать этому лучшие свои силы.

Это объединение не имеет права разойтись, пока дело не выполнено, и оно должно стараться привести его в исполнение настолько хорошо и практично, насколько это только можно.

Цена каждого листа не должна превышать десять, максимум пятнадцать центов.

Издание должно начаться, как только будет нарисована и оттиснута серия в тридцать листов и будут покрыты связанные с этим расходы на камни, печать и бумагу.

Эти тридцать листов должны выйти одновременно, но будут продаваться в отдельности. Все вместе, в полотняном переплете, они составят одно целое. При них будет краткий текст — не о картинах, которые должны говорить сами за себя, но для того, чтобы коротко и ясно объяснить, как и для чего они сделаны и т. д.

Смысл этого объединения таков.

Если одни только рисовальщики возьмут на себя дело, тогда им придется нести и труды, и расходы, и начинание, таким образом, погибнет уже на полдороге; поэтому тяготы должны быть поделены, чтобы каждый получил свою долю; которую он был бы в состоянии нести, и дело, таким образом, могло бы быть доведено до конца.

То, что будет получено от продажи, должно прежде всего послужить для выплаты тем, кто внес деньги вперед, а в даль-

нейшем – в качестве вознаграждения, – в равной мере каждому из рисовальщиков, кто доставил рисунки.

Когда то и другое будет оплачено, то остаток пойдет на новое издание, для продолжения дела.

Люди, основавшие это дело, смотрят на свою работу в нем как на долг. Поскольку личная прибыль не является целью, постольку ни те, кто дал деньги, ни рисовальщики, ни вообще те, кто каким-либо образом сотрудничал, не имеют права требовать обратно того, что они вложили, если бы дело, например, не оправдалось и вложения пропали; если же дело, сверх ожидания, удастся, тогда они могут требовать больше того, что ими было внесено.

В последнем случае прибыль идет на продолжение предприятия, а в первом – предпринимателям, при всех условиях, остаются камни. Первые же семьсот оттисков каждого камня при любом обороте дела принадлежат не объединению, а народу, и если дело лопнет, то распространяются бесплатно...

Мне хотелось бы, чтобы в этом объединении все были равными, чтоб не было бы ни устава, ни председателя, и т. п.; чтобы было лишь краткое положение, устанавливающее дело, и когда это положение будет окончательно разработано, изменения в нем могли бы быть сделаны только тогда, когда с ними согласятся все подписавшие его участники дела...

Нужно такое объединение, которое действует, а не болтает: действует точно и быстро, без потери времени, смотря на все это, как на дело благотворительности, а не как на издательское предприятие...

101

Vincent

Гаага, 4-9 декабря 1882 г.

...Я часто вижу вещи, которые мне кажутся прекрасными и которые, кроме того, невольно заставляют признаваться: никогда не видал я еще, чтоб это или то было так вот написано. Однако чтобы написать это, я вы-

Сеятель с сумкой



нужден был бы оставить в стороне другие дела. Хотелось бы узнать при случае, согласен ли ты со мною в том, что в пейзаже еще не произнесена последнее слово; что Бретон, например, дал настроение (он, между прочим, продолжает работать в этом направлении), представляющее только начало чего-то нового, но оно не достигло еще полной своей силы и понято только немногими.

У многих пейзажистов нет того интимного знания природы, какое есть у людей, которые с детских лет с чувством смотрели на поля...

В самом деле, в области пейзажа начинают давать себя знать громадные пустоты, и мне хотелось бы по этому случаю применить здесь выражение Геркомера: «Толкователи позорят своей ловкостью достоинство собственной профессии».

И мне кажется, публика скоро начнет говорить: «Спаси нас от надуманных комбинаций и возврати нам простое поле».

Как приятно иногда посмотреть на хорошего Руссо, на картину, над которой он помучился, дабы быть правдивым и честным; как приятно думать о таких людях, как ван Гойен, Кром или Мишель. Как прекрасен какой-нибудь Исаак Остаде или Рейсдаль. Хочу ли я, чтобы мы к ним возвратились, или чтоб им подражали? Отнюдь нет, но надо во всяком случае, чтоб остались у нас честность, наивность и верность.

Знаешь ли ты, что нам очень и очень необходимо, чтоб в искусстве были честные люди. Я не утверждаю, что таких нет, но ты сам чувствуешь, что я имею в виду, и знаешь так же хорошо, как и я, что множество из тех людей, что пишут, являются исключительными лжецами.

«Честность выше всего»: это можно применить и здесь так же, как и басно о зайце и черепахе или об андерсеновском гадком утенке.

Возьми хотя бы Эдвина Эдвардса, гравера: почему его работы так удивительно хороши, почему он по справедливости занял в Англии высшее положение среди лучших? Потому что то, к чему он стремился, было честным и верным. Я бы предпочел скорее быть Дюпре, чем Эдвардсом, но все-таки надо иметь величайшее уважение к искренности; она держится там, где другие вещи оказываются пустой соломой.

Идеалом для меня являются: «Поля зимой» Бернье в Люксембурге. Тут же и Лавиель, резчик по дереву и живописец. Я видел его «Ночь под рождество», она-то мне как раз и вспоминается. Тут же и Мадам Коллар – например, яблочный сад, с белой лошадью.

Здесь же, наконец, Шентрейль и Гетальс. Я не раз искал кого-нибудь, с кем можно было бы сравнить чудные вещи Гетальса и, поверь мне, только с вещами Шентрейля; но в общем я знаю мало работ Шентрейля и Гетальса.

Неверное, понимание стремлений великих пейзажистов – по большей части и есть причина зла.

Все-таки мне думается, и ты согласишься со мной: надо считать установленным, что иной пейзажист, с которым хоть сколько-нибудь можно считаться, дал бы лучшие и более сильные работы, если б знал хоть половину того, чем обладаешь ты в области здоровых представлений, например о поле, – представлений, свойственных тебе от природы.

...«Ловко», как здесь говорят! Много возятся с этим словом, но я, со своей стороны, не знаю, что оно, в сущности, значит, и слышал, как его применяют к самым незначительным вещам. – Неужели же ловкость есть то, что должно спасти искусство?

Я бы скорей поверил, что дело пойдет лучше, если бы было больше людей вроде Эд. Фрера или Эмиля Бретона, нежели тогда, когда появляются ловкачи Больдини и Фортун. Таких, как Фрер и Бретон, не хватает, и по ним тоскуют; влияние же, которое оказали Больдини и Фортун, фатально, что, однако, не мешает нам их уважать...

Vincent

102

Гаага, 10 декабря 1882 г.

...Сегодня я еще работал над старыми рисунками из Эттена, так как видел здесь, в поле, ветлы в том же безлистном состоянии, как и в те времена,

и мне вспомнилось то, что я видел в прошлом году. У меня часто возникает желание сделать пейзажи, чтобы несколько освежиться и т. д., равно как хочется совершать далекие прогулки; я вижу во всей природе, например в деревьях, выражение и, так сказать, душу. У ряда ветл есть порой нечто общее с процессией стариков из богадельни.

Молодая рожь может иметь в себе нечто невыразимо чистое, нежное, пробуждающее в нас такое же умиление, как, например, выражение спящего младенца.

Затоптанная у края дороги трава производит впечатление чего-то утомленного и запыленного, подобно рабочему кварталу. Когда на днях шел снег, я видел маленькую группу кочерыжек, совсем замороженную, и она мне напомнила группу женщин, стоящих ранним утром, в своих тонких кофтах и старых платках, у лавчонки, где продается кипятилок и горячие уголья.

Возвращаясь к фигурам, которые я хотел бы литографировать, — полагаю, что самое трудное, — это найти тридцать фигур, которые могли бы составить нечто целое, — для этого придется сделать их много больше тридцати.

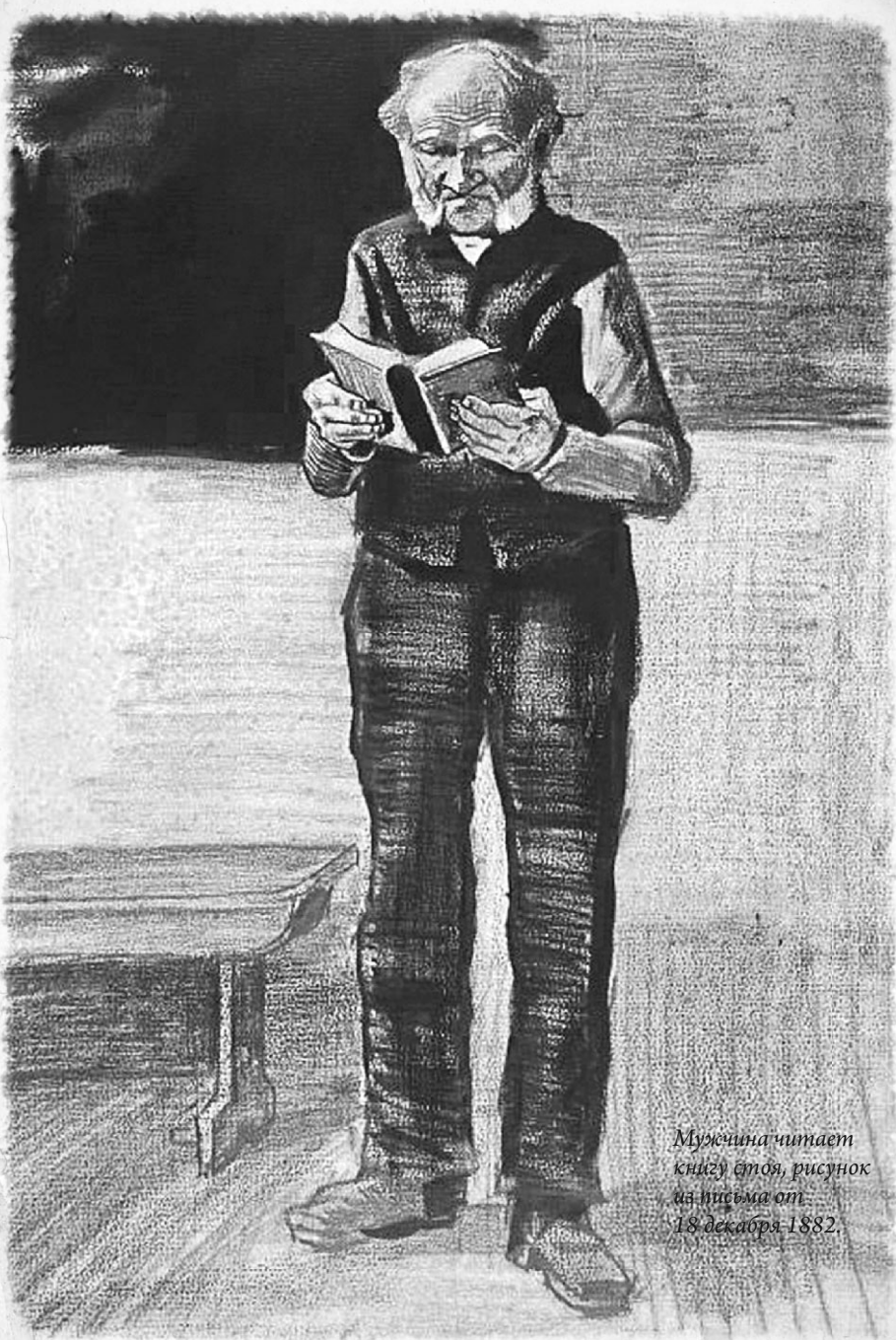
Только тогда, когда они будут у меня, наступит очередь для следующего шага, для репродуцирования; тогда, может быть, оно будет легче, чем если приступить к репродуцированию сейчас же, еще не имея целого.

...<Как много хорошего принесет тому, кто находится в мрачном состоянии, прогулка по пустынному пляжу и взгляд в серо-зеленые глаза моря, с длинными, белыми линиями волн. И все же, если ощутится нужда в чем-то великом, в чем-то бесконечном, в чем можно узреть бога, нет необходимости в долгих поисках. Мне показалось, что я видел нечто — более глубокое, бесконечное и вечное, чем сам океан — во взгляде младенца, когда он просыпается утром и гукает или улыбается от того, что увидел солнце, освещающее его колыбель. Если и есть «небесный свет», то он может быть найден здесь.>

Адье, дорогой, жму руку.

Всегда твой

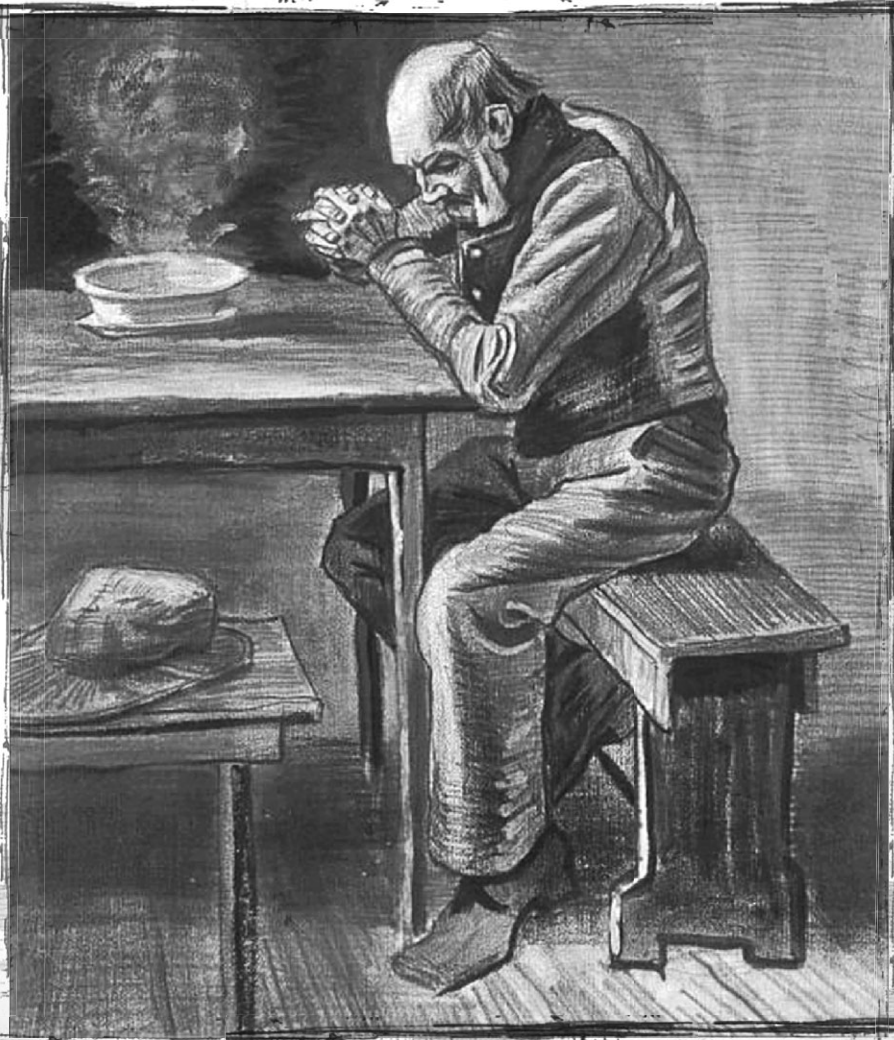
Vincent



Мужчина читает
книгу стоя, рисунок
из письма от
18 декабря 1882.

Молящийся перед
трапезой, рисунок
из письма от
18 декабря 1882.

Винсент рисует еще два рисунка 18 декабря 1882 года: один – мужчина, читающий Библию, второй – мужчина, читающий молитву перед обедом. В письме он делится своими соображениями, что оба – выполнены в одном настроении и называет их своего рода копиями того рисунка мужчины, который держит голову в руках (см. письмо 98 – Прим. Ред.).





«Сиротский» мужчина в цилиндре. По номеру на рукаве, можно догадаться, что моделью для этого рисунка послужил один из постояльцев дома для престарелых в Геесте.

103

Гаага, 1–2 января 1883 г.

Дорогой Тео!

Сегодня канун нового года, и мне очень хочется еще перекинуться с тобой словечком. <Когда я писал тебе последнее письмо, я говорил о больших головках, над которыми работаю. Я проводил в то время эксперимент, первыми результатами которого могу теперь с тобой поделиться, так как позавчера, вчера и сегодня у меня были модели для двух рисунков.>

Когда я работал над литографиями, меня поразило, как необыкновенно приятно работать литографским мелом, и я решил начать им несколько рисунков. У него, правда, есть недостаток, который тебе, конечно, ясен: мел нельзя, так как он жирный, стереть обычным способом, и когда работаешь по бумаге, то теряешь даже единственное средство, которым можно что-нибудь удалить с камня, а именно скребок (шабер); его нельзя сильно применять на бумаге, ибо он ее портит.

Я, однако, попал на мысль делать рисунок сперва плотничьим карандашом, а затем прорабатывать его вглубь и поверх карандаша литографским мелом. Поскольку материал жирен, он держится на карандаше, что не удастся или плохо удастся, с обыкновенным мелом...

Итак, я прорисовал рисунок карандашом настолько, насколько это было можно. Затем, закрепив его молоком, я сделал его матовым... А затем уже, снова, поверх его, я стал рисовать литографским мелом и там, где было больше всего глубины, усилил его кистью или пером при помощи черной копоти; светлые же места проработал белой кроющей краской.

Таким способом я нарисовал сидящего и читающего старика, причем свет падает ему на лысую голову, на руку и на книгу¹.

И сделал еще другого, раненого, у которого голова повязана платком. У модели, служившей мне для этого, в самом деле была рана на голове и повязка на левом глазу. Это ни дать ни взять голова солдата старой гвардии при отступлении из России².

Когда я сравниваю эти обе головы с другими, мною сделанными, то заметна большая разница в силе выражения.

...Пишу тебе обо всем этом, дабы ты знал, что я душой и телом стараюсь все сделать добротным и полезным.

То, что обычно именуется Black and White («черное и белое»), есть, в сущности, живопись черным – живопись постольку, поскольку и в рису-

¹ Описанный рисунок точно не установлен.

² Скорее всего, речь идет о рисунке «Голова мужчины с трубкой и повязкой на глазе».



*Пожилый мужчина в парадном
костюме с повязкой на глазу*

*Голова мужчины с трубкой
и повязкой на глазу*

нок нужно было бы вносить ту глубину эффектов и богатство тональных оттенков, которые должны быть в живописи.

Недавно ты вполне правильно утверждал, что у каждого колориста есть своя красочная шкала.

То же самое и с «черным и белым»; в сущности это одно и то же, — нужно идти от сильных светов к самым глубоким теням, и притом с помощью простейших средств.

Некоторые рисовальщики обладают нервными приемами работы, и это приводит к тому, что их техника как бы приобретает своеобразное звучание

скрипки, например Лемюд, Домье, Лансон; другие же, например Гаварни и Бодмер, больше напоминают рояль, Милле, может быть, – торжественный орган. Тебе тоже так кажется...

Vincent

104

Гаага, 3 января 1883 г.

<Дорогой Тео!

Написал тебе вчера, но собираюсь писать и сегодня, дабы сообщить, что твое письмо дошло, и поблагодарить тебя за него, а также сказать, что то, что ты пишешь, очень воодушевляет меня.

Я был немного обеспокоен тем, что из-за того, что ты видел в последнее время так мало моих работ, ты мог подумать, что я начал давать слабину.

На самом деле я упорно трудился в последнее время и занимаюсь различными вещами, в которых я уже начинаю понимать, как справиться с ними, но все еще не в той мере, как мне хотелось бы.

В последнем письме я сказал, что экспериментирую с черным и белым цветами с литографского мела.

Ты слишком высоко оцениваешь меня в последнем письме, но такая твоя оценка дает мне еще одну причину становится достойным этого. Что касается моей мысли, что, по моему мнению, я достиг кое-какого прогресса благодаря этим экспериментам, может быть, что я сам не могу хорошенько оценить собственную работу. Возможно, это шаг вперед, а может и нет. Поделись своим мнением, основываясь на двух этюдах, которые я нарисовал пару дней назад и отправляю тебе.>

Если я ищу более сильных способов, нежели те, которыми я теперь работаю, то потому, что стремлюсь в известной мере сравняться с английскими репродукциями, которые выполнены описанным тобой приемом, – что же касается глубины черного, то я ориентируюсь на те черные наброски, какие Бюго сделал на бумажной пробе...

В отношении же настроения мне хотелось бы знать, что ты об этом думаешь, так как сам я, как уже говорил, не могу судить, богаче ли оно прежнего или нет.

Для меня же самого дело обстоит так, что этюды, и эти, и другие им подобные, даже когда они не закончены и многое в них выполнено небрежно, мне приятнее, чем рисунки, имеющие определенный сюжет, и это потому, что они мне служат живым напоминанием о самой природе.

Ты поймешь мою мысль: в обыкновенных этюдах есть нечто от самой жизни, и тот, кто их делает, ценит в них больше, чем себя самого, природу, которая заключена в них, и поэтому предпочитает эти этюды тому, что он потом из них сделает.

Другое дело, когда из многих этюдов, как их конечный результат, получается нечто новое, именно тип, образующийся из многих индивидуально-стей. Это – наивысшее в искусстве, в этом зачастую искусство стоит выше природы. Так, например, в «Сеятеле» Милле больше души, чем в обыкновенном сеятеле на поле.

Так вот, мне хочется знать, не заставит ли мой опыт замолчать твои возражения против карандаша.

Это несколько «голов из народа», и я хочу из множества таких вещей образовать нечто цельное...

У меня их еще нет, но я охочусь за ними, борюсь за них.

Хочу чего-то серьезного, чего то свежего – того, в чем должна быть душа!

Вперед, вперед...

Vincent

105

Гаага, 10 января 1883 г.

...То, что ты нашел «настоящей» голову старика, доставило мне большую радость, да и сама модель на редкость «настоящая»; у меня есть с нее еще рисунки. Сегодня я сделал рисунок литографским мелом. Затем я вы-

Голова моряка с бородой и задывленной (непротомокаемая шляпа у моряков). В это время Винсент усиленно трудился над головами людей. Об этой он упоминает в письме Антону Виттару от 18 января 1883 года.



плеснул на рисунок целое ведро воды и стал в этой мокроте моделировать кисточкой.

Этим способом при удаче получаются очень тонкие тона, но это опасная манера, которая может и не выйти. Когда же дело идет счастливо, то в результате достигаются тонкие тона черного...

Было бы очень, очень желательно, чтобы я получил хоть какой-нибудь заработок; неужели это совершенно невозможно? Боюсь тебя об этом просить, так как ты мне писал о разных вещах, и к тому же я и сам понимаю, что у тебя много забот, которые я уважаю и которым сочувствую. Но со мной дело обстоит так, что как раз моя постоянная работа довела меня до трудного состояния, и когда я получаю деньги, то половину из них должен тотчас отдавать...

Vincent

106

Гаага, 27 января 1883 г.

Дорогой Тео!

Чем больше я думаю о тебе, тем глубже становится во мне впечатления, произведенное твоим последним письмом.

В общем (за исключением различия, существующего между двумя известными особами)¹, мы пережили с тобой одно и то же — ты, как и я, встретил на холодной, бессердечной мостовой мрачный, печальный образ женщины, и ни ты, ни я не прошли мимо него, но остановились и последовали влечению человеческого сердца.

В такой встрече есть нечто от видения — по крайней мере, когда оглядываешься назад, то видишь бледное лицо, грустный взор как в "Есее homo" («Се человек») на темном фоне, в тот момент, когда все остальное исчезает.

¹ Ван-Гог намекает здесь на свои отношения к Христине и на любовь Тео к будущей жене последнего. — *Прим. перев.*

Позднее, конечно, все становится иным – однако первое впечатление остается незабываемым. Под одной из английских женских фигурок (у Патерсона) есть наименование: “Delórosa”, («Скорбящая»); оно выражает почти то же самое...

Vincent

107

Гаага, 8 февраля 1883 г.

Я нашел лист Домье: «Те, кто видели драму» и «Те, кто видели водевиль». Мне все больше и больше хочется изучать Домье. В нем есть нечто основательное и выдержанное: он и занимателен, и в то же время полон чувства и страсти. Иногда мне кажется, что я нахожу у него – например в его пьяницах и, вероятно, также в баррикаде, которой я не знаю, – такую страсть, которая может сравниться только с раскаленным добела железом.

То же есть, например, в некоторых головах Франца Хальса. Все там так серьезно, что сначала кажется холодным, но после того как взглядываешься некоторое время, – поражаешься, как человек, который, повидимому, работает с таким напряжением и настолько полно захвачен натурой, может в то же время обладать таким присутствием духа, может работать столь твердой рукой. В набросках и рисунках Дегру я нашел также нечто подобное. Может быть, и Лермит такой же раскаленный, а также Мендель.

Между прочим, у Бальзака и Золя, например в «Отце Горио», есть места, где страстность в словах доведена до степени такого накала.

Я уже думал о том, чтобы сделать попытку работать совершенно по-другому, а именно – с большей силой, с большей смелостью.

Но не знаю еще, не должен ли я прежде всего поработать исключительно над фигурой и притом непременно с модели.

...У нас было несколько настоящих весенних дней, например, последний понедельник, которым я страшно наслаждался. Смена времен года – это нечто такое, что народ воспринимает особенно сильно.

В таких кварталах, как, например, Геест... зима всегда жуткое и тяжелое время, а весна — освобождение. Когда обратишь на это внимание, то видишь, что весенний день нечто вроде благовестия.

Трогательно видеть, сколько серых, завядавших лиц выходит в такой день. Видишь людей, которые ничего определенного не делают, но хотят только убедить-ся, что пришла весна. И иногда разные люди, от которых нельзя было бы этого ожидать, толпятся на рынке, там, где стоит продавец крокусов, подснежников, нарциссов и других луковичных растений. Какой-нибудь пергаментоликий пи-сец из министерства, даже он — при подснежнике. Это, по-моему, прекрасно.

Мне кажется, что бедняки и художники обладают одним и тем же воспри-ятием погоды и смены времен года

Само собой разумеется, это чувствуют все, но для зажиточных сословий это не такое уж большое событие, во всяком случае, это в общем мало что меняет в их самочувствии.

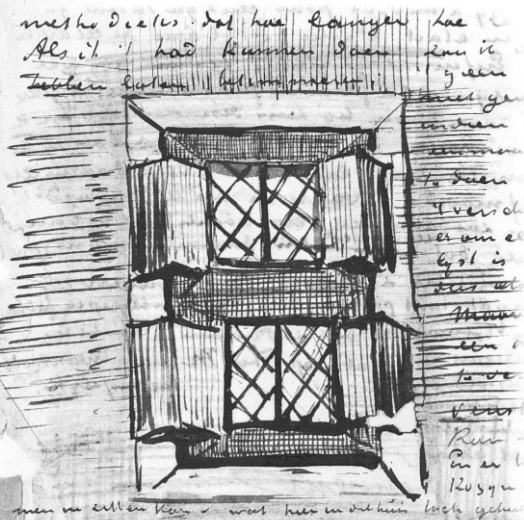
Красивым показалось мне выражение одного чернорабочего: «Я стра-даю зимой от холода, как озимое зерно»...

Vincent

108

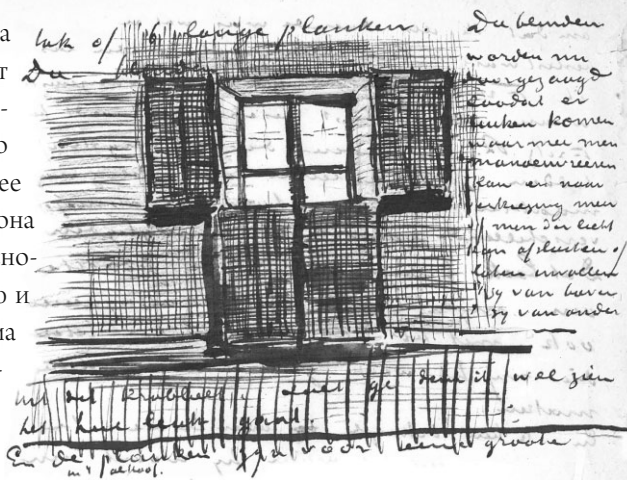
Гаага, 11 февраля 1883 г.

...Мне иногда жалко, что женщина, с которой я живу, не может ничего понять ни в кни-гах, ни в искусстве. Но то об-стоятельство, что я к ней так привязан (хотя она решительно не в состоянии ничего разуме-ть в этих вещах), разве не служит доказательством того, что меж-ду нами есть искренность? Кто



Окна из студии со ставнями

знает, — не научится ли она этому позднее и не станет ли это тогда лишним звеном между нами? Однако теперь, видишь ли, голова ее полна детьми. Через детей она как раз входит в соприкосновение с действительностью и таким образом, учится сама по себе. Книги, действительность, а также искусство — для меня одно и то же. Я счел бы скучным того человека, который находился бы вне действительности...



Если бы я не искал искусства в действительности, я счел бы жизнь чепухой или вообще чем-то в этом роде. Мне очень хотелось бы, чтобы дела шли иначе, но я доволен и тем, что есть. Надеюсь начать на этой неделе опять регулярно работать. Я так сильно чувствую, что должен трудиться вдвойне, чтоб догнать то, что я начал слишком поздно; и чувство того, что и в отношении моего возраста я отстал от других, — не дает мне покоя...

Vincent

Книга немецкого писателя Фрица Ройтера натолкнула Винсента на мысль усовершенствовать свои жилищные условия, чтобы сделать процесс работы более комфортным. Съездив к своему домовладельцу, к которому он навещался по необходимости, он не без труда добыл старые деревянные ставни и доски. Приехав домой, он прикрепил ставни к трем окнам и, таким образом, мог с их помощью регулировать свет. Их рисунок он делает в письме к брату от 21 января 1883 года. Доски же он установил в большом шкафу, куда он теперь мог помещать свои рисунки, книги, и разного рода одежду, которую он использовал при работе с моделями.

2 марта 1883 года Винсент выслал Тео акварель, над которой работал много месяцев подряд. В связи с этим, он привел пару высказываний об акварелях: «Есть что-то дьявольское в акварелях» и «Да, я работаю над этой акварелью всего два часа, но на то, чтобы сделать ее за два часа ушли годы» – Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер. А затем поделился своими соображениями о самом важном в процессе: «Но основа, это прежде всего знание фигуры. Чтобы ты мог в любой момент с легкостью нарисовать мужчин, женщин и детей в движении, каким бы сложным это движение ни было. Я работаю преимущественно над этим, потому как только так можно прийти к моей цели».



Фигуры в движении

Конверт, в котором было отправлено письмо было полностью изрисовано. С одной стороны был рисунок «Взрослые и ребенок в снегу», на его обороте значилась надпись: «В прошлом году ты купил очень большие куски мела – это именно то, что имел в виду: от того, что они больше к ним не нужен держатель».



Взрослые и ребенок в снегу

Гага, 23 февраля 1883 г.

...Весна здесь делает большие успехи.

Я сижу в данную минуту в ужасающем хаосе. Прилагаю небольшой набросок¹, нацарапанный наскоро на клочке бумаги во время вставки известных тебе ставень.

Для чего посылаю тебе в этом натуральном виде эту, в сущности, незначительную вещь?

Потому что, думаю, ты по ней увидишь, что я могу теперь устроить у себя в мастерской совсем другой свет, чем тот, слишком сильный, какой получался от трех больших окон.

Окно I дано внизу наброска частично закрытым, другие частью также; оно похоже на комнатную дверь где-нибудь в богадельне.

Окно II закрыто наверху, где сидят фигурки на окошечке.

Фон слева темный, так как окно III совсем закрыто.

Подумай только о той разнице, какая существует между тем, что есть сейчас, и резким светом, какой давали бы в настоящее время три окна без ставень, и ты поймешь, что я могу теперь работать гораздо лучше. Кроме врывающегося света, раньше был еще и большой рефлекс, нейтрализовавший все действие света.

Я часто приходил в отчаяние, когда, например, видел, что работавшая в маленьком помещении женщина и все, что было характерного и таинственного в этой фигурке, тотчас совершенно исчезали, как только все это переносилось в мастерскую.

Так, например, «Старик из богадельни» был много красивее в темном проходе, чем в моей мастерской.

Это было страшно досадно; пространство трех окон было слишком велико, чтоб можно было бы смягчить свет занавесками или картоном. Теперь я начинаю от этого освобождаться.

¹ Набросок неизвестен.

...Итак, освещение мастерской у меня, до известной степени, в руках, и когда я увижу фигурку в каком-нибудь другом доме, я могу ее поместить в такое же положение у себя, если только замечу, каково освещение, и устрою такой же свет у себя, соответственно тому, как велико было количество света, падал ли он на фигуру спереди, сзади, справа, слева, сверху или снизу.

...Но позже, когда будет старый тес, я, может быть, устрою и маленькую каморку внизу. Там можно будет устроить живописный и настоящий уголок; но это — дело второе.

Итак, мастерская теперь в десять раз лучше. <Это будет мне стоить дороже, чем я предполагал, так как пришлось внести столько изменений в старые ставни.

Держу пари, ты можешь представить, что студия абсолютно преобразилась — и я нахожу в этом такую радость — я находился в большой рассеянности, потому что не мог устроить все как надо.

Я говорил о хороших новостях о больной¹, но думаю, что это лишь отчасти добрый знак, что она желает вернуться в свою страну, тем не менее, как ты и сказал, до тех пор, пока она не излечится, мало о чем можно говорить.

Пусть весна пойдет ей на пользу.

Что ж, дорогой, я пишу в спешке, у меня еще много дел. Я невероятно рад переменам с окнами. На время это будет эффективным.>

...Ночью мне, вероятно, будут сниться парни в зюдвестерах и в морских просмоленных куртках, на которые падает свет, создающий пикантные, выделяющие очертания, световые эффекты.

Vincent

110

Гаага, 3 марта 1883 г.

Дорогой Тео!

Вот маленький набросок, сделанный мной с продажи супа в народной кухне².

¹ Мари — возлюбленная Тео из Парижа.

² Набросок к акварели «Раздача супа в общественной кухне».



Продажа происходит в главном входе, где свет падает сверху, через дверь с правой стороны...

Ты понимаешь, конечно, что, заставляя у себя в мастерской позировать фигурки, я получаю их совершенно в том самом виде, как в народной кухне...

Ты видишь здесь расположение мастерской – плоскость, на которой я должен рисовать, я обвел рамкой. Теперь я, само собой разумеется, могу выискивать положение фигур так долго, так часто и так точно, как это мне угодно, придерживаясь вместе с тем, в основном, виденного... До этого изменения мастерской, я уже пытался его произвести летом, получалось то, что на фигурки падал такой холодный, нейтральный свет, что у меня не было большой охоты писать.

Как только они попадали на сильный свет, пропадали вся живописность.

Знаешь, что мне было бы еще страшно нужно – несколько тряпок коричневой, серой и проч. ткани, чтобы устроить надлежащего цвета фон.

Я чувствую к своей мастерской такую же любовь, как капитан к своему кораблю...

Vincent



111

Продажа супа в народной кухне

Гаага, 4 марта 1883 г.

Дорогой Тео!

Стало как раз темно, и я хочу тебе, ради шутки, послать рисунок, поскольку я о нем уже писал. Сегодня утром я начал акварель — мальчик и девочка при раздаче супа; в углу — еще женская фигурка¹.

¹ Акварель «Раздача супа в общественной кухне».

Эта акварель несколько несвежая, — отчасти это зависит от непригодной бумаги.

Тем не менее я увидал, насколько бесконечно лучше приспособлена теперь мастерская к работе красками, и само собой разумеется, я не остаюсь на этой первой попытке.

Так прошло утро, а день я потратил на рисунок горным мелом, — тем кусочком, какой у меня еще уцелел от этого лета. Посылая тебе этот рисунок, я считаю, что он еще недостаточно закончен, но как набросок с жизни, в нем, может быть, есть какая-то доля жизни — немного человеческого чувства. Позднее пришло что-нибудь получше.

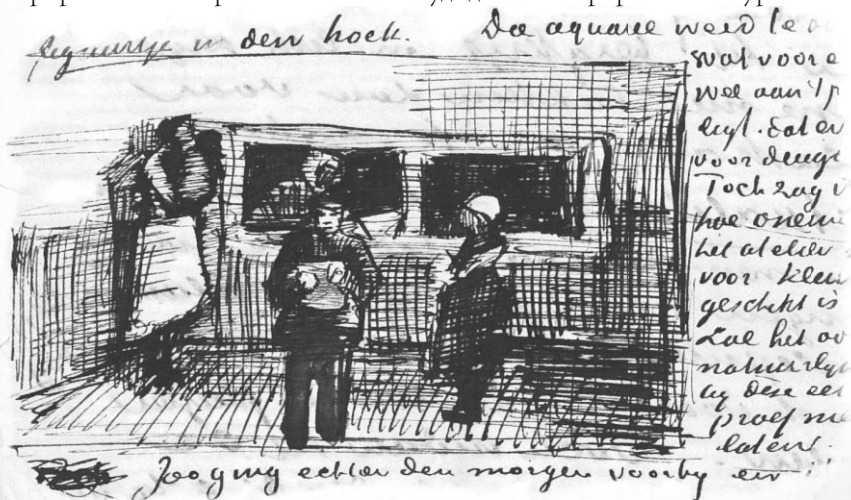
Если ты хочешь доставить мне большое удовольствие, пришли несколько кусков горного мела.

В этом горном меле есть душа и жизнь, — а в Контэ я нахожу нечто мертвенное. Две скрипки по внешности могут быть одинаковыми, но у одной в игре красивый тон, а у другой — нет.

В горном меле много звучания и тона. Готов почти сказать, что горный мел понимает то, что ты хочешь, он разумно следует за тобой и соглашается, а Контэ равнодушен и не сотрудничает с тобой.

У горного мела настоящая цыганская душа. Пришли мне его.

Кто знает, не удастся ли мне теперь, при лучшем освещении и с литографским мелом приготовить что-нибудь для иллюстрированных журналов.



Продажа супа в народной кухне





Женщина за шитьем с девочкой.

Актуальное – вот, что требуется. Но если под этим подразумевается, например, иллюминация в день рождения короля, то мне в этом мало радости, – если же этим господам угодно под актуальностью понимать сцены обыденной жизни, я не отказался бы отдать этому все мои силы.

О раздаче супа ты получишь, кроме этого первого рисунка, еще совершенно другие композиции. ...Можешь ли ты понять, видя вместе всю эту группу людей, как уютно чувствую я себя среди них.

Недавно я прочел такую фразу у Элиот: «У народа, среди которого и живу, те же заблуждения и пороки, что и у богатых, – но у него, однако, свои собственные формы этих недостатков и пороков, – и нет у него того, что называется утонченностью, при помощи которой богатые делают свои ошибки более терпимыми. Мне до этого нет никакого дела – я не охотник до таких утонченностей, однако же многим она по душе, и они чувствуют себя неуютно среди людей, не обладающих такой утонченностью». Я сам не смог бы выразить это такими словами, но я это уже и сам предчувствовал.

Как живописец я чувствую себя среди них не только уютно и удовлетворительно, но больше того: я нахожу у них характер, напоминающий мне иногда цыган, – в них по меньшей мере столько же живописного...

112

Vincent

Гаага, 18 марта 1883 г.

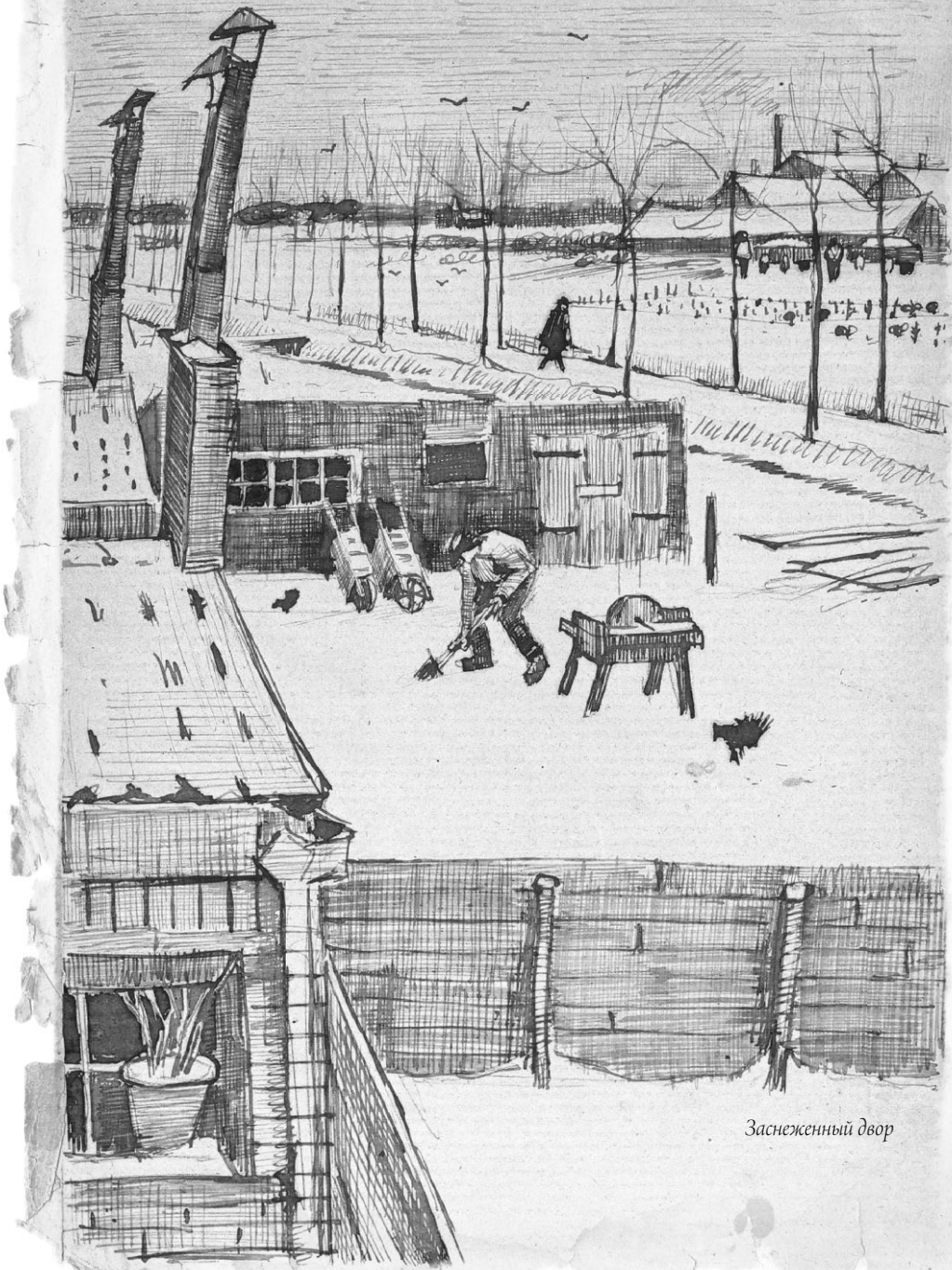
Дорогой Тео!

Ты в своих описаниях часто показывал мне Париж – теперь я хочу показать тебе виды из окна на двор, покрытый снегом.

К этому присоединяю уголок в доме¹, – два настроения одного и того же зимнего дня.

Поэзия всюду окружает нас, однако закрепить ее на бумаге – это, как видишь, далеко не так быстро делается.

¹ Не установлено, какой рисунок «уголка в доме» был изображен.



Заснеженный двор

Вот посмотри, например, маленький набросок, который я сделал во время такого мечтания.

Он изображает господина, который из-за опоздания почтовой кареты вынужден был заночевать в сельской гостинице. И вот он встал рано, и пока ему наливают стаканчик водки, дабы согреться от холода, он расплачивается с хозяйкой (женщина в крестьянском чепце); еще едва брезжит рассвет; ему надо застать почтовую карету; еще светит месяц; через окно комнаты мерцает снег; предметы дают странные, трепетные падающие тени¹.

История эта, в сущности, – ничто, и рисунок – тоже ничто, но и то, и другое даст тебе, может быть, понять, что я имею в виду, а именно: в этих днях было что-то такое, что побуждало меня закрепить это на бумаге.

Попросту – во время этого снежного настроения вся природа была сплошной выставкой «черного и белого».

В любом случае, сейчас я занимаюсь набросками; я занят одним достаточно поверхностным наброском к рисунку горным мелом – девочка у колыбели², он выполнен так же, как женщина и ребенок, о котором ты писал³. Этот природный мел – действительно странный материал. Другой набросок шкипера выполнен по рисунку, в который был добавлен нейтральный тон и сепия⁴.

Vincent

¹ Приложенный набросок, не основанный на какой-либо картине, – «Человек в деревенской гостинице».

² «Девочка на коленях у колыбели» – набросок к одноименной картине.

³ «Шьющая женщина с девочкой».

⁴ Ван Гог делал множество различных набросков рыбаков, шкиперов и т.д. Описанный набросок точно не установлен.



Девочка у колыбели

Человек в деревянной гостинице.



113

Гаага, 2 апреля 1883 г.

...Благодарю тебя за пожелания в день рождения¹; у меня случайно оказался очень хороший день, так как была превосходная модель для землекопа...

Мой идеал – работать еще с большим количеством моделей, с целой ордой бедных людей, для которых моя мастерская, в холодный день или когда у них нет работы, могла бы служить опорой и убежищем.

Они знали бы тогда, где могут заработать на огонь, пищу и питье, и на пару кружек. Сейчас это происходит в очень малом масштабе, однако надеюсь, что это еще устроится...

<Сегодня у меня снова был сирота, и мне нужно собрать все свои наброски.

На этой неделе я общался с Ван дер Вииле, и я надеюсь встретиться с ним снова чрез пару дней.

Вероятно ты тоже будешь занят в связи с открытием Салона. Думаю, ты не сможешь точно сказать, когда приедешь в Голландию, не так ли?

Всего хорошего. Пиши мне, когда выдастся минутка.>

Адье, жму руку.

Всегда твой,

Vincent

114

Гаага, 10 мая 1883 г.

До полного выздоровления моей жены должны пройти, как мне сказали профессора во время ее родов, еще годы. Это значит, что, например, ее нервная система все еще чрезвычайно раздражительна, и в ней очень сильна женская изменчивость.

¹ 30 марта 1883 г. Ван Гогу исполнилось 30 лет.

Наибольшая опасность лежит, — как ты и сам понимаешь, — в возвращении к прежним заблуждениям. Эта опасность, хотя и морального характера, находится в связи с телесным состоянием. От таких, я бы сказал, колебаний между улучшением и возвращением к прежним скверным привычкам, я испытываю непрестанные и зачастую серьезные заботы.

Она впадает в настроения, нестерпимые даже для меня, — злая, капризная, бессмысленная, — одним словом, иногда я теряю всякую надежду.

Потом она опять приходит в себя, — и тогда часто говорит мне: *я сама не знаю, что я делаю.*

Когда она поступает бессмысленно, это является часто виной ее матери, а когда ее мать ведет себя бессмысленно, виновата снова семья, стоящая позади матери. Дела сами по себе обстоят не так уж плохо, но мешают выздоровлению, подавляют и нейтрализуют хорошие влияния.

У моей жены есть своего рода ошибки и глупости, иначе и быть не может, *но это, полагаю я, еще не делает ее скверной.*

Бессмыслица, привычная неряшливость, равнодушие, недостаток охоты к работе, — о, масса вещей! — должны быть уничтожены. Все они имеют один и тот же корень: ложное воспитание, годами веденный извращенный образ жизни, зловещие влияния дурного общества. Это я тебе говорю по секрету — слышишь! — не с отчаяния, а только для того, чтобы ты понял, что все это для меня — не любовь, сотканная из лунного света и запаха роз, но нечто столь же прозаическое, как утро понедельника.

Маленькая картинка Тиссо изображает фигуру женщины в снегу, среди увядших цветов: «Путь цветов, путь слез». Да — жена моя не идет уже по пути цветов, как когда-то, когда она была моложе и делала, что хотела, следуя своим склонностям. Жизнь, полная терний, стала дорогой слез, особенно в прошлом году; но и у настоящего года есть свои тернии, будут они и в будущем, хотя при выдержке можно будет их и уничтожить.

...Я во многом еще должен измениться и как раз должен позаботиться, чтобы она видела во мне добрый пример как в отношении работы, так и в отношении терпения. Но, брат, дьявольски трудно вести себя так, чтобы указывать другому что-нибудь косвенно, — да и я тоже не всегда могу это

устроить; и вот, чтобы вызвать в ней охоту, я должен сперва перевоспитать самого себя.

Мальчик чувствует себя в общем вполне хорошо, — девочка же раньше была очень больна и заброшена.

Но мальчик — это чудо жизнерадостности; кажется, он и сейчас уже восстает против общественных учреждений и условностей. Так, поскольку мне известно, всех детей кормят чем-то вроде хлебной каши. Он, однако, отверг самым решительным образом; хотя у него и нет зубов, но он здорово грызет кусок хлеба и вообще поглощает все, что только может, и все это с постоянным смехом, криканьем и гамом; перед кашей же и прочими такими вещами он неизменно закрывает рот. Часто он сидит у меня в мастерской на полу, в углу на мешках или на чем-нибудь таком же и верещит, глядя на рисунки. В мастерской он всегда ведет себя прилично, так как глазееет по стенам. О, вообще веселый малый!..

115

Гаага, 21 мая 1883 г.

Дорогой Тео!

Я только что возвратился из Утрехта, где был у Раппарда...

<Я очень рад, что поехал к нему. Мы будем навещать друг друга намного чаще. Я обнару-



Женищина копает

жил одну его картину, женщина за пряжей, и более того, большой набросок к ней, того же размера, невероятно серьезный и вызывающий симпатию.

Кроме того, я видел картины углем – одна из них с воспитанником института для слепых, другая изображает что-то вроде кузнецы, с впечатляющими фигурами – очень хороши!...>

Я вполне уверен, что мы с ним из года в год будем дружить все сильнее и еще больше сблизимся благодаря нашей работе. У него есть маленькая акварель, – сельское кладбище, – которая мне показалась очень оригинальной и тонкой по настроению... И вот я возвратился от Раппарда полный надежды и планов, прежде всего, от того, что видел у него плоды этюдной работы, а именно комбинации из различных фигур в значительных композициях. Это имею в виду и я, но нужно время, а пока что, необходимо, не переставая, делать новые этюды с живой модели...

Vincent

116

Гаага, 5 июня 1883 г.

<Дорогой Тео!

Хотел сообщить тебе, что Ван дер Вииле видел мои работы этим вечером. Его мнение было положительным, и это доставило мне большое удовольствие. Знаешь, что я предпринял? Полный желаний заработать немного денег, если это возможно, я отправил два небольших наброска двух композиций К.М.¹ Я надеюсь, что это как-то повлияет на его готовность помочь воплотить в жизнь весь мой план, а именно создать серию рисунков работ в дюнах.

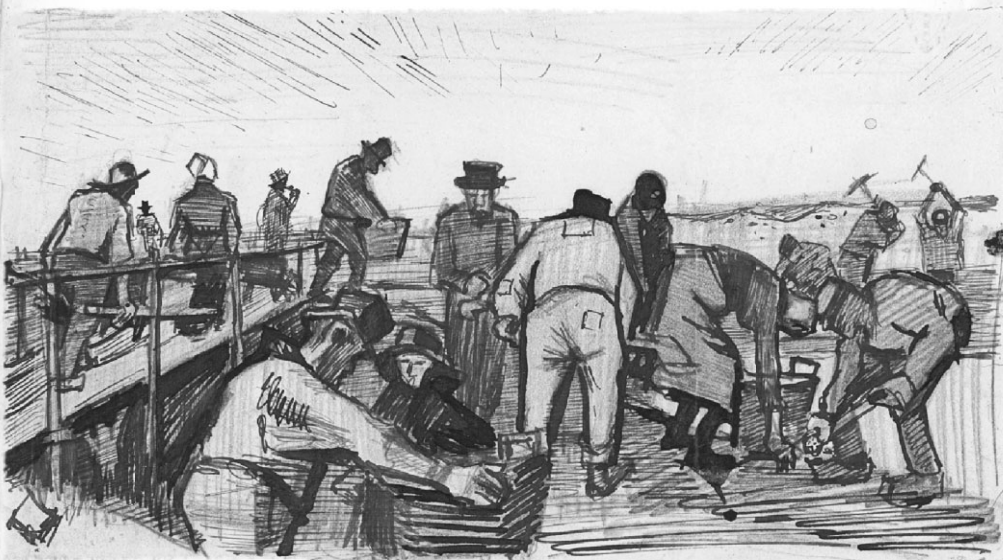
Я также подумал, что эти рисунки могут приглянуться Коттье²...>

¹ Корнелис Маринус ван Гог (дядя Кор) – дядя Винсента.

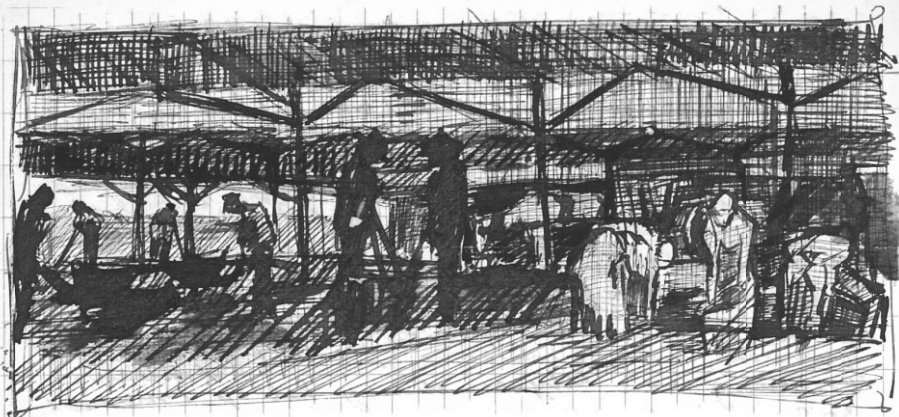
² Галерист в Лондоне.



Песчаный карьер близ Гааги



Копатели торфа в дюнах, рисунок 30 мая 1883 года.



Куча отбросов

...Сегодня утром я уже в четыре часа был на воздухе. Хочу заняться собирателями тряпья, — больше даже, я уже начал работу. Для этого рисунка мне нужны этюды с лошадями. И сегодня я сделал два наброска в конюшне рейнской железной дороги... Мотив там, около кучи отбросов, замечательный, но сложный, трудный и требующий много времени.

Все, и женщины на переднем плане, и белая лошадь в глубине, должно быть в полусвете, тогда как на пятнышке зелени лежит полоска воздуха. Группа женщин и лошадь вносят более светлые части в полутьму, а тряпичники и кучи отбросов дают более темные места.

На переднем плане валяются всевозможные сломанные и выброшенные предметы, части старых корзин, заржавленный уличный фонарь, битые горшки и проч.

Во время работы над этими рисунками во мне поднялось столько мыслей и такая охота к работе, что не знаю прямо, с чего и начать; прежде всего я решил заняться кучей отбросов...

Vincent



Старая клява

Гаага, 24 июля 1883 г.

...Мои силы истощены. Ведь это же ненормально, что я утомляюсь, пройдя такое малое расстояние, как, например, отсюда до почты, а между тем сейчас происходит со мной именно так. О, я, конечно, продолжаю работать, но надо же что-то предпринять!

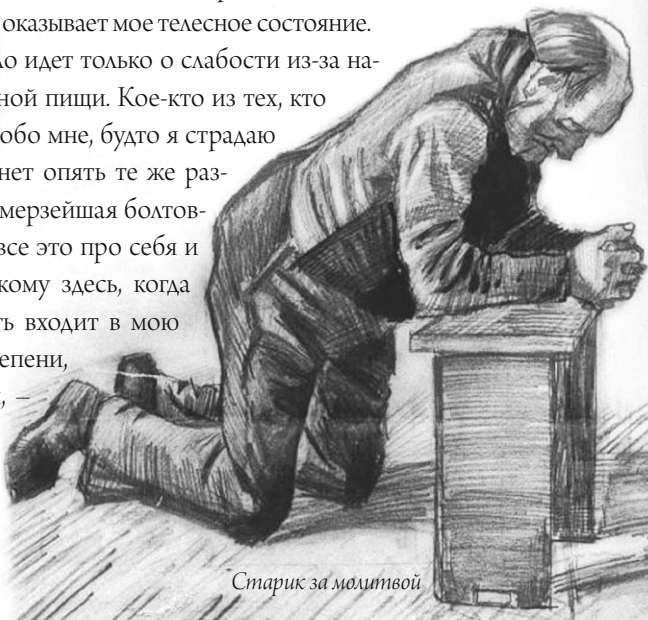
Не следует думать по этому случаю, что мое здоровье основательно или же окончательно расстроено, ибо к этому привели меня не излишества, но скудная и мало питательная пища в течение долгого времени... При данных обстоятельствах моя работа не может быть другой, чем она есть.

Если бы я смог побороть свою телесную слабость, мы попытались бы двинуться вперед; до сих пор я все откладывал возможность подкрепить себя, так как должен был заботиться о других и о своей работе.

Но теперь я больше уж не вижу исхода, нельзя ожидать успехов в работе, пока я снова не стану крепче, — за последнее время мне стало слишком ясно, какое влияние на работу оказывает мое телесное состояние.

Уверяю тебя, что дело идет только о слабости из-за напряжения и непитательной пищи. Кое-кто из тех, кто уже и без того говорил обо мне, будто я страдаю какой-то болезнью, начнет опять те же разговоры, но это была бы мерзейшая болтовня, — поэтому сохрани все это про себя и не говори об этом никому здесь, когда приедешь. Итак, сухость входит в мою работу, до известной степени, помимо моего желания, — она пропадет тотчас же, как только я окрепну...

Vincent



Старик за молитвой

Гаага, 25 июля 1883 г.

Дорогой Тео!

Сегодня утром приходит ко мне человек, починивший мне недели три тому назад лампу, у которого, кроме того, я купил кое-какую глиняную посуду, навязанную мне им же самим. Он начинает меня упрекать за то, что я недавно заплатил его соседям, а не ему, и все это производит с соответствующим шумом, проклятиями и ругательствами. Я сказал ему, что заплачу, когда получу деньги, а что сейчас у меня их нет, — но это подействовало, как масло на огонь. Я прошу его уйти; наконец, толкаю его к двери, он же, вероятно, только и хотел меня до этого довести, — хватает меня за шиворот и так швыряет об стену, что я долго остаюсь на полу.

По этому ты можешь судить, с какими «мелкими горестями» приходится бороться. Такой верзила, разумеется, сильнее меня, — и вот человек не стесняется. В таком же роде и все эти мелкие лавочники и проч., с которыми имеешь дело по части ежедневных забот. Приходят они к тебе незваными и спрашивают, не желаешь ли ты у них забрать то или другое и умоляют тебя взять что-либо, а когда ты по несчастью заставишь их ждать с расплатой дольше восьми дней, то начинается ругань и драка... Сообщаю тебе об этом случае, чтобы показать тебе, как мне необходимо хоть сколько-нибудь денег!

<Я действительно не чувствую себя окрепшим, как и говорил тебе. Сейчас все перешло в боль, которую я ощущал время от времени и раньше, меж плечей и в поясничном позвонке, и я знаю, что стоит быть осторожным, иначе уже не удастся так легко оправиться.>

...Обстоятельства за последнее время чересчур уж угнетали меня, а мой план вернуть себе прежних друзей при помощи упорной работы не удался.

Не плохо было бы, Тео, если б мы с тобой договорились об одном деле, — не говорю, чтоб об этом нужно было говорить обязательно сейчас, но обстоятельства могут стать еще мрачнее, вот почему я и хочу с тобой заключить некое условие.

Мои этюды и все работы, которые находятся в мастерской, все без исключения являются твоею собственностью. Пока еще, повторяю, об этом нет речи, но в самом близком будущем могут при случае, хотя бы за неуплату налогов, пожелать продать эти вещи. Имея в виду этот случай, мне хотелось бы перенести мои работы из дома куда-нибудь в сохранное место. Прежде всего дело идет об этюдах, лишиться которых, имея в виду будущие работы, мне было бы страшно тяжело. Все это вещи, на которые положен большой труд.

Здесь на улице нет никого, кто вносил бы налоги, и все же со всех требуют различные суммы, также и с меня. Оценочная комиссия приходила ко мне два раза; я показал им мои четыре кухонных стула, некрашенный стол и сказал, что по закону я не могу быть обложен так высоко. Если б они нашли у художника ковры, рояль, старинные вещи и проч., может быть и было бы справедливо отметить такого человека платежеспособным, — я же не могу оплатить даже моих счетов за краски: у меня нет, правда, предметов роскоши, но зато есть дети, иначе сказать, — им нечего с меня взять.

В ответ на это они мне прислали повестку, на что я не обратил внимания, а когда они снова явились ко мне, я сказал им: бесполезно присылать мне повестки, так как я попросту раскуриваю ими трубку...

Vincent

119

Гаага, 27 июля 1883г.

...<Когда я работаю, я чувствую нескончаемую уверенность в искусстве и в том, что я добьюсь успеха, но в дни физического истощения или финансовых сложностей, я все меньше ощущаю эту веру, и меня переполняют сомнения, с которыми я стараюсь справиться сразу же приступив к работе.

То же касается и моей женщины и детей. Когда я сними, и малыш ползет ко мне навстречу, с радостными звуками, во мне нет ни капли сомнения, что так и должно быть.

Этот ребенок очень часто успокаивает меня.

Когда я дома, его невозможно забрать от меня; если я за работой, он приходит потянуть меня за пиджак или забирается на мою ногу, дожидаясь, когда я возьму его к себе на колени. В студии он на все гукает, тихо сидит, часами играя с кусочком бумаги, веревкой или старой кистью. Это ребенок, который почти всегда весел; если ему удастся пронести это через всю свою жизнь, он будет умнее меня.>

Через несколько дней, если я смогу обеспечить себе более питательную пищу, чем та, что у меня была за последнее время, я, вероятно, отделаюсь от моего *сквернейшего недомогания*; однако *корень всего этого лежит глубже*, и мне хотелось бы довести дело до того, чтоб у меня был некоторый излишек здоровья и сил, что вполне достижимо, если бывать много на воздухе и иметь нечто, над чем работаешь с охотой. Факт, что мои работы в данное время *чересчур уж тощи и сухи*.

За последнее время это мне стало ясно, как день, и я несколько не сомневаюсь в том, что нужно общее и основательное изменение. Не будем отчаиваться, но будем «слепо верить»...

Vincent

120

Гаага, 1883 г.

...В течение этих дней, когда я занимался живописью, во мне пробудилось особое чувство цвета, другое и более сильное, чем то, какое я чувствовал до сих пор. Вполне возможно, что недомоганье этих дней находилось в связи с переворотом в моей работе, к которому я уже давно стремился и о котором много думал.

Я не раз пробовал работать не так сухо, но каждый раз выходило почти то же самое. И, кажется, как раз та слабость, которая обыкновенно препятствовала мне в эти дни работать, оказалась скорей благоприятной, чем мешающей.

Когда я работаю свободнее и смотрю полузакрытыми глазами, то получается, что я скорей вижу вещи в виде находящихся рядом цветowych пятен, нежели тогда, когда я старательно разглядываю отдельные куски и анализирую, как они друг к другу прилажены.

Мне очень интересно, как это пойдет дальше, и что из этого разовьется. Иногда я удивлялся, почему я не такой колорист, какого, собственно, можно было определенно ожидать при моем темпераменте, — тем не менее это до сегодняшнего дня развивалось слабо, и вот, как я уже сказал, мне теперь любопытно, что будет дальше. Что последние написанные мною этюды уже другие, — это я вижу ясно.

Насколько я помню, у тебя есть один — этюд прошлого года, — несколько стволов в лесу. Мне отнюдь не кажется, что он плох, но это еще не то, что позволяет в этюде видеть колориста. В нем есть даже верные цвета, и все же, несмотря на то, что они верны, они действуют не так, как должны были бы действовать, и хотя краски тут и там наложены сильно, впечатление они производят скудное. Если взять этюд этот в качестве примера, то думаю, что последние этюды, писанные менее пастозно, стали крепче по цвету; так как в них краски положены более беспорядочно и тона писаны одни поверх других, то все получило большую смешанность. Таким путем, например, лучше можно передать мягкость облачков и травы.

...Нужно время для этих вещей, однако же я и сейчас вижу в цвете и в тоне нечто новое.

...Что касается того промежутка времени, какой я еще имею перед собой для работы, то, думается мне, можно без преувеличения рассчитывать, что физика моя, несмотря ни на что, выдержит еще некоторое количество лет, — считай, приблизительно, от шести до десяти...

Я иду вперед, как *незнающий*, которому ведомо только одно: *в течение нескольких лет я должен выполнить определенную работу*, спешить нет необходимости, в этом нет спасения, скорее я должен продолжать трудиться со всем спокойствием и бодростью, настолько регулярно и концентрированно, настолько сжато и четко, насколько это только возможно. Мир касается меня при этом лишь постольку, поскольку у меня есть перед ним из-

вестное обязательство и долг. Из благодарности, – так как я странствовал в нем тридцать лет, – я хочу оставить воспоминание в форме рисунков или картин, сделанных мной не для того, чтобы кому-то этим понравиться, но чтоб вызвать ими искреннее человеческое чувство. Работа, таким образом, есть цель. И вот, сосредоточишься на этой мысли, и упрощается всякое дело, и нет уже больше хаоса, но наоборот все, что делаешь, становится единым устремлением.

...В эти несколько лет нечто должно быть создано, – эта идея служит мне путеводной нитью, когда я набрасываю планы моей работы...

Vincent

Mijn rug leels - Kent gy het berg krypt
Verl. jaar kreeg ik een paar / groote stukken van mijn been
mee van deze groote.



Ik wachte er mee maar sloeg er niet veel acht op en
vergat het nam. Nu deze dagen rond ik nog aan
oluk en viel het my op het jee meer was een klein om
te uit
nu maakte ik er geslaren een tekening onder
slooven a Rensden
de volkszucht
en k maal a joffer dege
teampje van
hoel wordt
onder bevel



Ik krabbel ten in 't welde eenige schiedjes om
a de keem van j wort te leken dien

Голова женщины

Гаага, 20 августа 1883 г.

Дорогой Тео!

Ты понимаешь, я хотел бы знать, прочел ли ты мое письмо. Что касается до моего мнения, то самое дешевое было бы обосноваться в деревне, что при данных обстоятельствах было бы самым разумным.

Если б можно было бы остаться при 150 франках в месяц, то мы, полагаю, могли бы почти или вполне обойтись этим.

Дорогой брат, ты видишь, для меня нет свободы передвижения...

Ты понимаешь, конечно, что если бы кто-нибудь сказал мне: сделай то-то или то-то, сделай рисунок с этого или с того, я не отказался бы это сделать, и если бы сразу не удалось, то не отказался бы даже с удовольствием повторить попытку еще несколько раз. Но об этом никто ничего не говорит, или это делается в такой неопределенной и общей форме, которая больше путает, чем помогает...

Дорогой брат, что касается одежды, то я носил то, что получал, не стремясь к другому и не заботясь об этом. Я носил и твои одежды, и одежды отца, имевшие иногда хороший покрой; но что же могу я сделать, если у нас фигуры неодинаковые.

Само собой разумеется, что когда-нибудь позже, когда я смогу, я обзаведусь одеждой получше. Надеюсь, что тогда я смогу тебе сказать: «Тео, помнишь ли ты время, когда я бегал в длинном пасторском одеянии отца» и т. д. Думается, гораздо лучше принять все это спокойно и посмеяться потом, чем сориться из-за этого сейчас...

...Если возможно, позволь мне вести мои дела так, как я вел их до сих пор. Если же этого нельзя, и ты требуешь, чтобы я сам предлагал людям мои работы, я не отказываюсь, если только ты мне это советуешь...

Мне кажется, есть разница между прежними и теперешними годами. Раньше относились и к созданию, и к оценке картины с большей страстностью. Решительно высказывались за то или другое направление, становились

на сторону той или другой партии. В этом было больше души. Теперь же, я замечаю, господствует дух каприза и пресыщения. В общем все стали безразличнее. Я еще раньше писал, что мне кажется, будто бы после Милле чувствуется сильный упадок...

Это действует на всех и на всё.

Могу тебе еще сообщить, что у меня был Раппард, смотрел мои большие рисунки и сердечно о них высказывался. Когда я ему сказал, что чувствую себя несколько ослабшим и предполагаю, что это может происходить от того, что работа что-то не идет, он, кажется, не сомневался, что так это и есть.

Мы говорили с ним о Дренте. На этих днях он опять отправляется туда и даже еще дальше, а именно в рыбацкие деревни в Тершеллинге. Я со своей стороны, особенно теперь, *после* посещения Раппарда, очень охотно отправился бы в Дренте.

Так охотно, что начал даже соображать, насколько просто или тяжело было бы произвести переезд со всем хламом... Прибыв туда, я, думается, мог бы навсегда остаться в этих равнинах и торфяных местностях; к тому же туда приезжает все больше художников и со временем там, может быть, образуется род колонии живописцев...

Vincent

122

Гаага, 2 сентября 1883 г.

Дренте, кажется мне, есть лучшее, что мы можем предпринять в интересах работы и сокращения расходов; полагаю, что и ты будешь того же мнения. Как бы ни обстояли в данный момент дела с женой, мы, если ты согласен, проведем этот план в жизнь.

Одним словом, оба мы с ней должны быть разумными и разойтись друзьями.

Она должна заставить свою семью принять детей, а сама поступить на место...

И вот мы пришли к соглашению: поскольку оба мы в нужде, а от совместной жизни все становится еще хуже, то мы должны разойтись, на время или навсегда, это уж как выйдет...

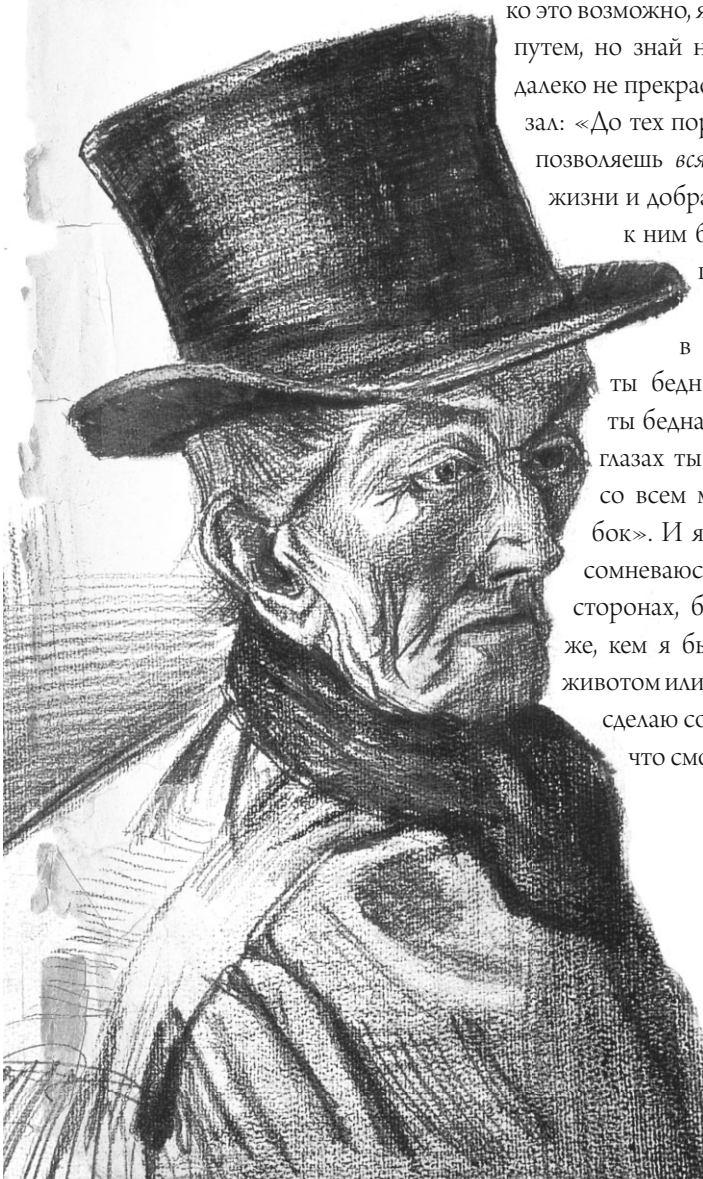
...«Я сказал ей, что, возможно, ей не удастся устроиться, ведя абсолютно правильный образ жизни, но старайся жить настолько правильно, насколько

это возможно, я тоже пойду правильным путем, но знай наперед, что я устроюсь далеко не прекрасно в этом мире. И я сказал: «До тех пор, пока я знаю, что ты не позволяешь *всякому* случиться в твоей жизни и добра к детям, как, ты знаешь,

к ним был добр я, — до тех пор, пока ты ведешь себя так, что дети все еще видят

в тебе *Мать*, даже если ты бедная служанка, даже если ты бедная проститутка, — в моих глазах ты есть и будешь *хорошей*, со всем множеством твоих ошибок». И я, несмотря на то, что не сомневаюсь в своих благообразных

сторонах, буду, надеюсь, точно тем же, кем я был, и увидев женщину с животом или в тревожном состоянии, сделаю собственные выводы и все, что смогу, если наши пути пере-



Старик в цилиндре

секутся. Я сказал: «Если бы ты была в том же положении, как когда я нашел тебя, у тебя бы был дом со мной – защита от шторма – до тех пор, пока у меня есть корка хлеба и крыша. Но сейчас, когда шторм прошел, я думаю, что ты можешь сама идти по правильному пути без меня. По крайней мере, ты должна попробовать».

«Со своей стороны, я тоже должен пойти по своему верному пути, я должен упорно работать, как и ты,» – вот, что я сказал.»

Vincent

123

Гаага, 8 сентября 1883 г.

...<Надеюсь, что все разрешится таким образом, каким видишь ты, и я тоже. Что эта женщина изменится к лучшему. И все же, я боюсь, что этого не будет, и она снова вернется на старую дорожку.

Если судить по моему глубокому знанию, она слишком слаба по духу и силе воли в частности, чтобы двигаться в нужном направлении.>

...Почему, почему эта женщина так неразумна? Она – совершенно то, что Мюссе называл: «дитя века», и когда я думаю о ее будущем, я иногда вспоминаю Мюссе. В Мюссе было нечто высокое, и в ней есть нечто такое же, хотя она и не художник. *Если бы она хоть сколько-нибудь была художником.* У нее есть дети, и будь они еще больше, чем сейчас, ее *idée fixe*, то в ней было бы нечто настоящее, пока же и это обстоит не совсем так, как должно было бы быть. И все-таки, думаю мне, ее материнская любовь, хоть и не совершенная, есть лучшее, что имеется в ее характере...

В общем, это тяжелая душевная борьба. Сердце сжимается при этом от горя сильнее, чем ты думаешь...

Vincent

Дренте, 14 сентября 1883 г.

Дорогой Тео!

Теперь, после того как я пробыл здесь несколько дней и побегал то тут, то там, могу тебе рассказать о местности, куда я прибыл.

Добавляю маленький набросок с моего первого этюда, написанного в этих местах: хижина в степи¹.

Как снаружи выглядят такие хижины в сумерках или же сейчас же после захода солнца, лучше всего могу тебе объяснить, напомнив о картине Жюлья Дюпре, принадлежащей, кажется, Месдагу, где изображены две хижины, кровли которых, поросшие мхом, вырисовываются удивительно глубоким тоном на мглистом вечернем небе.

В этих хижинах, темных, как трущобы, очень красиво. Рисунки некоторых английских художников, работавших на равнинах Ирландии, передают то, что я здесь вижу, в необычайно реалистическом роде.

Я заметил здесь замечательные фигуры, — захватывающие по какой-то покорности.

Вот, например, женщина, у которой грудь, — как все здесь, далекая от «volupté» («сладострастия») — вздымается, будто сжатая тяжким трудом настолько, что иногда, когда у такого создания болезненный вид, возбуждает сострадание, обыкновенно же — благоговение. Меланхолия, какая в общем лежит здесь на вещах, однако здорового рода, как в рисунках Милле.

Мужчины здесь, к счастью, носят короткие штаны, что более выразительно показывает форму ноги и движение.

Чтоб назвать тебе что-нибудь из того нового, что мне пришлось увидеть и почувствовать во время моих изыскательных странствований, хочу тебе рассказать, как здесь, например, черные и белые лошади, мужчины, женщины

¹ Неизвестный набросок.

и дети тянут через степь суда, груженные торфом, — совершенно так же, как голландские суда в Рисвикерском канале.

Степь богата: я видал овечьи стада и пастухов, красивее брабантских.

Печи здесь приблизительно такие же, как на «Общинной печи» Т. Руссо: они стоят в садах под яблонями или среди сельдерея и капусты. В некоторых местах есть пчелиные ульи.

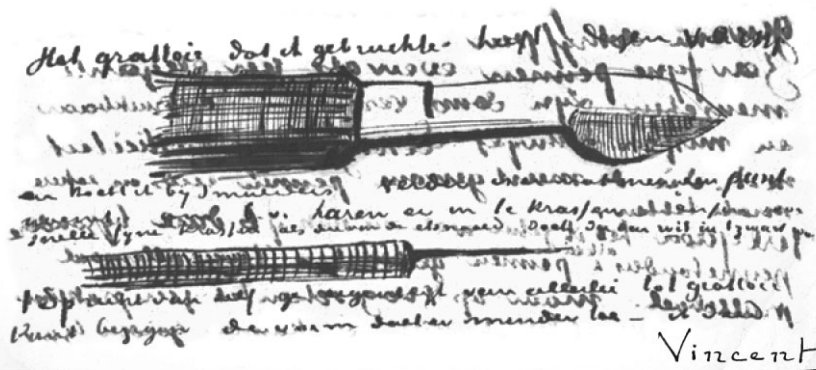
По многим фигурам видно, что им не хватает чего-то здесь. Тут, видно, не очень-то здорово, — может быть вследствие плохой питьевой воды; я видел девушек семнадцати лет, или даже моложе, у которых было нечто красивое и молодое в чертах лица; но большинство вообще рано отцветает. Это все-таки не лишает их фигуры того высокого благородного облика, каковой свойственен многим из тех, которые вблизи кажутся сильно поблекшими.

В деревне есть четыре или пять каналов — в Меппель, в Дедемсваарт, в Кенарден, в Голландш-Вельд.

Если пойти вдоль их, то увидишь здесь и там какую-нибудь замечательную старую мельницу, хутор, судовую верфь или шлюз, и повсюду непрестанная толча торфяных судов.

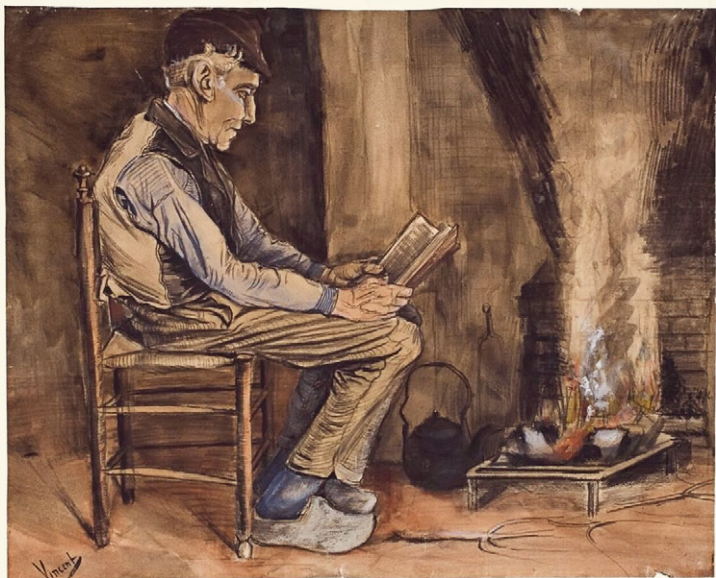
...Я иногда с большой меланхолией думаю о ней и о детях, — если бы только о них позаботились! О, можно было бы, конечно, сказать, — и это было бы правдой, — что вина лежит на женщине; но все же я боюсь, что ее несчастье больше, чем вина...

Тео, когда я вижу в степи такую женщину с ребенком на руках или у груди, глаза у меня становятся влажными. Я как бы вижу ее; слабость и беспорядочность также способствуют этому сходству...





Винсент Ван Гог, дедушка художника,
портрет сделанный Винсентом Ван Гогом-младшим, 1881 год



Мужчина, отдыхающий у очага, 1881 год



Юноша, стригущий траву серпом, 1881 год



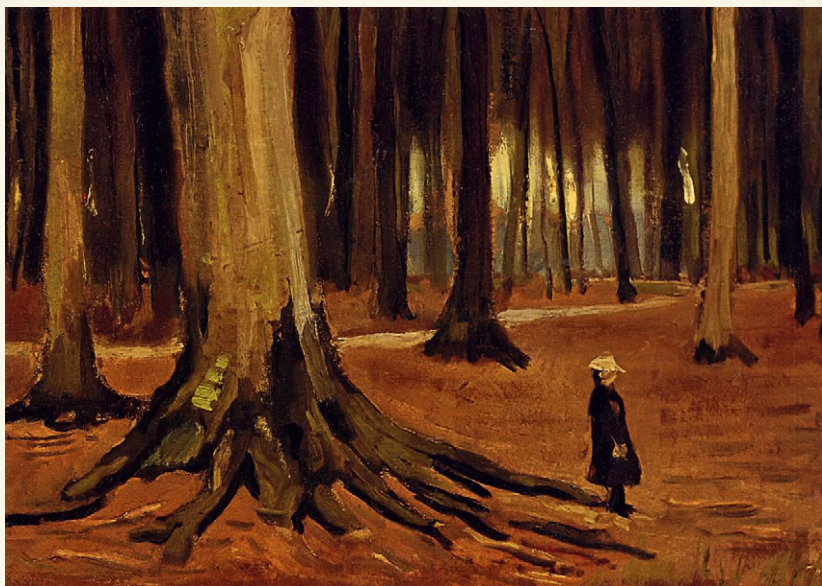
Шьющая женщина и кот, 1881 год



Пожилая женщина за шитьем, 1881 год



Сеятель с корзинкой, 1881 год



Девочка в лесу, 1882 год



Городская лотерея, 1882 год



Тополиная аллея осенью, 1882 год



Девочка за шитьем, 1881 год



Женщины-угольницы, несущие уголь, 1881 год



Угольницы в снегу, 1881 год



Зимний пейзаж: лачуга и фигура, 1881 год



Крыши, 1881 год



Натюрморт с капустой и клогами, 1881 год



Натюрморт с соломенной шляпой, 1881 год



Сарай для разделывания рыбы, 1882 год



Ветряная мельница близ Гааги, 1882 год



Пляж в Схевенингене в штиль, 1882 год



Крыши, вид из мастерской, 1882 год



Поле в Схенквеге, 1882 год



Рассадник у Схенквега, 1882 год



Птица Зимородок, Винсент Ван Гог, 1884 год



Соломенные крыши, 1884 год



Ткач у окна, 1884 год



Ткач у открытого окна, 1884 год

Научно-популярное издание

12+

Мост через бездну. Книга художника

Винсент Ван Гог
Письма к брату Тео
Раритетное издание
с эскизами и иллюстрациями

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Ведущий редактор *Маргарита Гумская*
Корректор *Елизавета Дейкина*
Разработка макета *Анна Якунина*
Подготовка иллюстративного материала
Технический редактор *Татьяна Тимошина*
Компьютерная верстка *Анны Якуниной, Алексея Филатова*

Подписано в печать 25.02.2018
Формат 60х82/16 Усл. печ. л. 18,4
Тираж экз. Заказ №
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги и брошюры

ВАН ГОГ

ПИСЬМА К БРАТУ ТЕО

«Страшно жаль, что здесь (в Голландии) нет, так сказать, никакой симпатии к искусству, вполне пригодному для народа. Если бы художники объединились для того, чтобы их искусство (которое, я полагаю, создается для народа, — по крайней мере, я считаю это высочайшей и благороднейшей задачей каждого художника) попало в руки народа и стало бы достоянием всех, это было бы равносильно тем результатам, которых достиг журнал “Графина” в первые годы своего существования».

Ставшие настоящим эпистолярным наследием, письма Винсента Ван Гога к его брату Тео до глубины души потрясают своей искренностью. За сто с лишним лет переписка двух братьев, которая длилась целых пятнадцать лет, стала не менее популярной, чем знаменитые подсолнухи художника, и была переведена на все европейские языки.

Меж тем мало кто знает, что эти бесконечные, пронзительные письма пестрили многочисленными рисунками предметов, которые видел перед собой Ван Гог. Используя оригинальные эскизы и наброски из писем, мы попытались воспроизвести то, как выглядели письма художника, который рисовал все, чего касались его гениальные глаза. Перед вами уникальное издание, каждая страница которого пронизана атмосферой, в которой жил и трудился Ван Гог. Из нее становится понятнее, каким на самом деле видел мир человек, создававший столь красочные и яркие картины.

ISBN 978-5-17-101020-1



9 785171 010201



www.ast.ru